

ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ

# СКАЗАНИЕ О ЛЮБВИ





**Х**изгил Авшалумов — один из видных представителей дагестанской прозы. Его давно знают и любят дагестанские читатели. Перу писателя Хизгила Авшалумова принадлежат многочисленные рассказы, очерки, ряд повестей.

Широко известен Хизгил Авшалумов как писатель-юморист. «В его произведениях, отмеченных лаконизмом, юмором, остротой содержания, подняты жизненные вопросы, имеющие большое значение для горских народов...— писала газета «Литература и жизнь».— Победа нового сознания над пережитками прошлого в рассказах Авшалумова получает художественное, национально своеобразное решение».

Леонид Соболев назвал такие рассказы Хизгила Авшалумова, как «Встреча у родника», «Хабар и хинкал», «Жених» бабушки Фатьмы», великолепными, а рассказ «Как я воскрес» — написанным по-твеновски. Речь в рассказах автора непринужденная, плавная, окрашенная в яркий колорит. В ней всегда есть подтекст, заставляющий задумываться, размышлять.

«Зачем же чернить бумагу, если ты не в силах словами, написанными чернилами, сделать лист белее, чем он есть?» — говорят мудрые горцы. В их словах как бы слышится наказ народа, его требовательность к писателю. Только тот достоин доверять бумаге свои мысли, кто знает жизнь своего народа, живет его радостями и печа-

лями, кто хочет поведать народу о добром, о славном, о том, что мешает человеку быть лучше, чище и красивее, кто будит в людях светлое и чистое. Автор повестей «Возмездие», «История одной женщины», «Кушак бездетности» и множества популярных среди читателей юмористических рассказов Хизгил Авшалумов относится к числу именно таких писателей.

Совершенно верно подмечено в одной из статей, посвященных творчеству писателя, что «писательскую колыбель Хизгила Авшалумова качала народная мудрость. Качала и напевала много звучных песен и поведала много добрых сказок, сложенных в чистых родниках народа. Поэтому у писателя такая сыновняя любовь к фольклору своего народа, потому и родился на страницах его книг веселый и неудачливый, смысленный и хитроумный герой из народа — Шими Дербенди».

Новеллы о хитроумном Шими Дербенди — нашем современнике, в прошлом молодом батраке, а ныне — старейшем колхознике, человеке, олицетворяющем собой жизненный опыт народа, его лукавую мудрость, юмор, — читаются и воспринимаются как народные новеллы. В этом, на наш взгляд, одна из замечательных особенностей и достоинство этих новелл. Хорошо зная природу и особенности народной новеллы и мастерски используя форму этого одного из интересных жанров народного творчества, автор создает свои самобытные сюжеты и новый самобытный образ.

«От кривого дерева не бывает прямой тени», — говорят в народе. Выпрямление характера, борьба с различными пороками и недостатками, стремление видеть человека благородным, чистым, добрым — вот главное направление рассказов и новелл Хизгила Авшалумова, вошедших в эту книгу.

Юмор Авшалумова не злой, не желчный. Он борется с человеческими пороками и слабостями более сильным оружием — мягким и светлым, добродушным и доверительным смехом. Без окрика и грубого упрека он заставляет устыдиться тех, кто еще не избавлен от недуга прошлого.

Значительная часть новелл была напечатана в журнале «Наш современник» и некоторые из них переведены на английский, немецкий, испанский и польский языки.

Тем, что Хизгил Авшалумов стал писателем, он во многом обязан среде, где родился и вырос, неповторимой по красоте родной природе. Детство и юность писателя прошли в маленьком селении Нюгди, которое находится в тридцати пяти километрах к югу от крепостных стен древнего Дербента. Селение испокон веков славилось своими сказителями и ащугами. Отец будущего писателя — неграмотный крестьянин, но отличный знаток устного народного творчества — часто рассказывал сыну сказки и легенды, которые заменяли мальчику книги.

Отчий край, чудесные краски родной, близкой ему с детства природы, простые, хорошо знакомые ему люди — все это стало темой его произведений.

Писать Хизгил Авшалумов начал еще в тридцатые годы, печатался в татской республиканской газете «Захметкеш». А вскоре его, сельского парня, рядового колхозника, приглашают работать в редакцию этой газеты. Несколько лет перед войной он работал в Институте истории, языка и литературы, собрал и издал первый сборник татского фольклора, был ответственным секретарем Союза писателей Дагестана.

С первого дня войны писатель ушел в армию, служил заместителем командира кавалерийского сабельного эскадрона, был дважды тяжело ранен. После войны работал военным корреспондентом. Демобилизовавшись из армии, Хизгил Авшалумов вернулся в родной Дагестан и поступил на работу в редакцию республиканской газеты «Дагестанская правда». За годы работы в газете он изъездил и исходил почти все районы республики. И это помогало ему черпать материал из гущи народной жизни, насыщенной богатыми событиями, а нередко и забавными приключениями. И часто, раскрывая газету «Дагестанская правда», читатели испытывали радость, находя над остроумными заглавиями веселых рассказов имя уже полюбившегося им Хизгила Авшалумова.

В настоящее время автор этой книги — секретарь Союза писателей Дагестана.

Хизгил Авшалумов не только прозаик, но и драматург. Его пьесы и телевизионные сценарии всегда вызывают большой интерес у дагестанского зрителя.

Заслуги писателя перед многонациональной дагестанской литературой высоко оценены правительством. Хизгил Авшалумов лауреат республиканской премии

имени Сулеймана Стальского, заслуженный работник культуры Дагестана, награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Дагестана.

Народный поэт Дагестана лауреат Ленинской премии Расул Гамзатов назвал Хизгила Авшалумова «интересным и наблюдательным писателем». Читая произведения этого человека, прожившего трудную жизнь, невольно думаешь: откуда у него такой добрый, искренний смех? Ответом на этот вопрос могут быть слова самого автора книги о себе:

«Некоторые, читая мои «веселые рассказы», думают, что я и впрямь — веселый человек, интересный собеседник, остроумный шутник. А на самом деле в жизни я человек скучноватый, мрачноватый, малоразговорчивый, неостроумный. Сам удивляюсь: почему меня тянет писать веселые вещи? Может, это от того, что при всех недостатках моего характера я люблю людей, и люблю куда больше, чем это кажется на первый взгляд...»



*Ахмедхан Абу-Бакар,*  
народный писатель Дагестана

*Доброй памяти моих родителей — матери Биче и отца Довида — посвящаю эту книгу*



**НОВЕЛЛЫ  
О ХИТРОУМНОМ  
ШИМИ  
ДЕРБЕНДИ**





ПОЗДОРОВАВШИСЬ  
С ВОДКОЙ,  
ПРОЩАЙСЯ С УМОМ

**О**днажды Шими Дербенди, получив солидный аванс в счет своих трудодней, в самом приподнятом настроении спешил на закате домой. Но когда он проходил мимо винницы, ему встретились двое случайных знакомых, любителей выпить и повеселиться за чужой счет. Они пристали к Шими и чуть ли не силой затащили его в винницу. Пользуясь мягкостью Шими, они стали заказывать бутылку за бутылкой до тех пор, пока не очистили его карманы до последней копейки.

Когда Шими вышел из винницы, было далеко за полночь. Он так опьянел, что уже ничего не соображал и потерял дорогу домой. Не в состоянии дальше двигаться, Шими прилег под деревом прямо на улице, положил папаху под голову и сразу же заснул мертвым сном.

Проснулся Шими от холода и, к ужасу своему, обнаружил, что он совершенно голый: видно, уличные вору, пока он задавал храпака, раздели его догола, оставив лишь папаху под головой.

Шими поднялся с земли и, стыдливо прикрыв папашой наготу, стал торопливо оглядываться вокруг в надежде увидеть кого-нибудь из знакомых, чтобы послать к жене за одеждой. Как раз в это время сосед Шими с корзиной спешил на базар за покупками.

— Эй сосед!—завидев его еще издали, громко окликнул Шими Дербенди.—Вернись, пожалуйста, домой и скажи моей жене, что я совсем голый: какие-то

бессовестные люди раздели меня и, как видишь, оставили в чем мать родила. Пусть немедленно принесет мне одежду!..

А куда именно,— Шими не счел нужным сказать: сама, мол, не без головы — догадается.

Сказав это соседу, Шими Дербенди бегом пересек улицу и забежал в баню, которая, к счастью, находилась неподалеку.

Весь день, томясь, ждал Шими в бане жену с одеждой, но так и не дождался. А жена в свою очередь, собрав в узелок одежду Шими, сбилась с ног, ища мужа повсюду и спрашивая о нем каждого встречного и поперечного.

Наконец вечером, когда совсем стемнело, Шими появился дома, закутанный в белый халат, в стоптанных чувяках на босу ногу — все это он одолжил у старухи-банщицы. Узнав от жены, что она весь день искала его по городу, Шими очень возмутился.

— О женщина, да чтоб сгорел твой отец! — в сердцах воскликнул разозленный Шими. — И где ты это видела или слышала, чтобы голого искали на базаре или на майдане?! Сколько лет прожила на свете и не уразумела себе такую простую истину: пьяницу ищи в кабаке, голого — в бане. Ей-богу, не жена — одно недоразумение.

— О муж, да чтобы лопнуло чрево той, которая родила на мою несчастную голову такого дурака лопухого, как ты! Сколько лет прожил на свете и не уразумел такую простую истину: поздоровавшись с водкой, прощайся с умом. Кто тебе виноват, если ты так усердно прикладывался к этому захриману<sup>1</sup> — водке, что потерял не только ум, но и штаны, — в тон мужу ответила разгневанная жена.

## ЧАСТИЦА БОГА

Однажды Шими Дербенди повез на своем осле продавать овощи со своего приусадебного участка на дербентский колхозный рынок. Следуя мудрому наставлению предков: «Сначала привяжи осла к столбу, а потом уж поручай его богу» — Шими, не доезжая до базара, слез с ишака и крепко привязал его к дереву.

---

<sup>1</sup> Захриман — отравя.

— Ну, Длинные Уши,— ласково шлепнув ишака по тощему крупу, дружески проговорил Шими,— поручаю тебя богу. Пока я вернусь с рынка, смотри, веди себя смиренно!

Распродав овощи, Шими заспешил к тому дереву, где несколько часов назад привязал осла, но к своему крайнему удивлению и огорчению не нашел его на месте. Он обошел все вокруг и нигде не обнаружил ни вислоухого, ни его следов. Усталый, удрученный Шими сел на камень и принялся рассуждать про себя: «Волк, конечно, какой бы он ни был нахальный хищник, не мог среди бела дня забраться сюда и на виду стольких людей слопать моего ишака. Но и человек не мог польститься на него: осел-то был старый, тощий и облезлый. Но если его волк не сожрал, а человек не увел, куда же делся мой ишак?!»

После долгого размышления Шими пришел к единственному, на его взгляд, правильному заключению: видно, загадочное исчезновение осла — дело рук самого бога. Ведь он, уходя на базар, поручал осла не кому-нибудь, а всевышнему. Вот он и забрал его к себе на небо, а зачем — кто его знает.

Шими, конечно, был очень опечален, что его осел, который столько лет верно служил ему и к которому он привязался сердцем, прекратил свое земное существование. С другой стороны, ему льстило то, что бог оказал его осла такую честь, которой удостаиваются только святые праведники. По этому случаю он решил на вырученные от продажи овощей деньги организовать поминальную молитву и трапезу по осла. Накупив вина, мяса, зелени, Шими Дербенди первым долгом отправился к раби<sup>1</sup>.

— Да продлятся твои дни, о святой отец. Бог прибрал одного из моих близких,— скорбным голосом сообщил ему Шими Дербенди,— хочу по этому случаю, чтобы ты в моем доме прочитал по нему поминальную молитву и благословил нашу траурную трапезу.

— Я готов,— охотно согласился раби в надежде на то, что ему хорошо заплатят и угостят.— Ты иди собери десять мужчин, чтоб был кворум<sup>2</sup>, а я скоро подойду!

---

<sup>1</sup> Раби — священнослужитель у татов.

<sup>2</sup> По религиозному обычаю татов, чтобы совершить коллективную молитву, необходимо присутствие десяти мужчин.

Когда раби пришел, то он увидел, что собралось только девять мужчин. Заметив недоумение раби, Шими начал оправдываться:

— Я обошел весь наш магал, десятого мужчины так и не нашел: у каждого свои дела, свои заботы.

— Надо найти,— строго произнес раби,— иначе молитва не действительна.

Зная, что толку от этих поисков не будет, Шими Дербенди попытался уговорить непреклонного служителя бога:

— О почтенный раби, может, моя жена заменит этого десятого мужчину? — осторожно намекнул он.— Женщина она благоразумная, богобоязненная и добрая. Если она временами делается злой, как змея, то, клянись твоей бородой, только со мной. А с людьми она как шелковая... — Но видя, что раби недовольно хмурит брови, Шими поспешил его успокоить: — Если моя жена одна не может заменить отсутствующего мужчину, то я велю сейчас же позвать мою молоденькую сестру и старую тетку.

Шими едва начал перечислять достоинства юной сестры и добродетели старой тетки, как раби резко оборвал его на полуслове.

— Эй Шими, перестань болтать пустое! — рассердился раби.— Ни твоя богобоязненная жена, ни твоя молоденькая сестра, ни твоя добродетельная тетя, ни все женщины мира, вместе взятые, не смогут заменить одного мужчину в коллективной молитве. Священная книга не считает женщину человеком, тогда как каждый из нас, мужчин,— это частица бога!

Шими Дербенди ничего не оставалось, как опять побежать на улицу в поисках недостающей «частицы бога». На этот раз ему повезло. Какой-то пьяный попрошайка с двойным горбом, как у верблюда, кривой на один глаз, с одной ногой короче, чем другая, сидел за углом и выманивал у прохожих подаяние. Шими Дербенди с радостью бросился к нему: какой ни есть, а мужчина! Только одна деталь в наружности горбуна смутила его: он был совершенно безбородый.

— Слушай, дружище, ты, случаем, не переодетая женщина? — осторожно спросил его Шими Дербенди.

Безбородое лицо незнакомца побагровело от обиды и возмущения.

— Чего пристал?! — зло крикнул горбун. — Если не хочешь или не можешь дать мне ничего, то, пожалуйста, и не оскорбляй! Я — мужчина!

Шими очень обрадовался, услышав это. Он ласково обнял горбуна за плечи и стал уговаривать:

— Тогда вставай, мой хороший, мой ненаглядный, сделай доброе дело, пойдем со мной, у меня срывается коллективная молитва по усопшему, не хватает одной частицы бога, то есть как раз тебя. А за твою услугу я, дорогой, тебя дома вдоволь и накормлю и напою.

Горбун проворно встал. Но вспомнив об оскорблении, которое Шими нанес ему, на первый взгляд приняв его за женщину, он, надувшись, сел обратно на свое место.

— Если повезешь меня на своей спине—пойду, а нет, клянусь небом, если даже твой дед встанет из могилы, придет просить меня, я и тогда с места не сдвинусь,— решительно заявил он.

Скрывая досаду, Шими взвалил нахального горбуна себе на спину и, обливаясь потом, с трудом дотащил его до дому.

Как только появился десятый мужчина, раби сразу же приступил к молитве. А у горбуна, который увидел накрытую скатерть с вином и закусками, сразу загорелись глаза. Не дожидаясь конца молитвы, он, как голодный волк на добычу, набросился на еду, поспешно запихивая в рот самые жирные куски мяса и запивая их вином.

В середине молитвы, когда раби должен был напомнить богу имя покойного и его отца, чтобы тот простил грехи умершего и пустил его в рай, он знаком подзвал к себе Шими и шепотом спросил его:

— Скажи, как звали блаженной памяти усопшего?

— Усопшего? — озадаченно произнес Шими, почесав затылок.— Его звали Длинные Уши.

Раби вперил в Шими недоуменный взгляд.

— Я тебя не про его прозвища спрашиваю,— строго произнес раби.— Назови его настоящее имя!

— Клянусь твоей почтенной бородой, так его звали, беднягу — Длинные Уши,— печальным голосом промолвил Шими, смахивая слезу.

— Слушай, Шими! — забыв про молитву, громко закричал на него раби, багровея (он боялся, как бы Шими по своему обыкновению и здесь не вздумал выки-

нуть какой-нибудь номер).— Оставь свои шутки и не мочь мне голову. Длинными Ушами обычно называют зайца или осла. Назови настоящее имя твоего покойного, иначе, клянусь небом, сейчас же предам тебя анафеме!

Рассерженный угрозой раби и раздосадованный всем случившимся сегодня, Шими решил не отпираться:

— Да, почтенный раби, ты прав: мой покойный был осел, но, клянусь жизнью, не такой глупый и зловредный, как твой осел, который выдумал, что женщина, родившая нас в муках, вскормившая своей грудью, восхищающая нас своей красотой,— не человек и что все женщины мира, вместе взятые, не стоят даже вот такого, с позволения сказать, мужчины!..

И Шими Дербенди в сердцах пнул ногой в горбатую спину прожорливого попрошайки, который, не обращая никакого внимания на происходящее в доме, продолжал усердно поглощать вина и закуски.

## КАПКАНЫ

Некоторое время Шими Дербенди работал заведующим колхозной птицефермой. Местность, где находилась птицеферма, была красивая, живописная. Вокруг сплошной зеленой стеной стоял лес, а на краю изумрудной поляны сверкал зеркальный пруд.

Шими был доволен своей работой. Единственное, что причиняло старику беспокойство и огорчение,— это воровские вылазки шакалов и лис. Незаметно подкрадываясь к птицам, они внезапно нападали на них и похищали каждый день по нескольку кур и петухов.

Чтобы обезопасить птиц, Шими расставил вокруг поляны железные капканы. Многие хищники, попав в них, расслабились за любовь к курятине своей шкурой. Постепенно они, боясь подстергавших их капканов, перестали охотиться за колхозными курами. Зато не проходило и недели, чтобы председатель или его заместитель не заглянули на ферму погулять здесь на лоне природы и полакомиться птичьим мясом. Нередко они привозили за компанию и своих кунаков.

Как-то раз Шими, узнав о том, что сегодня вечером председатель опять собирается к нему в гости вместе со

своими друзьями, забеспокоился. Недолго думая, он захватил несколько капканов и расставил их прямо посреди дороги, перед воротами фермы, где обычно останавливалась председательская машина, и тщательно замаскировал их.

Как только наступил вечер, старик загнал птиц в помещение, сам уселся возле печки и неторопливо покуривая свой кальян, стал ждать гостей. Но гости почему-то не появлялись. Решив, что они уже не приедут, Шими, которого клонило ко сну, завернувшись в тулуп, улегся спать на топчане. Но едва Шими сомкнул глаза, как был разбужен громкими воплями непрошенных гостей.

Среди голосов, оглашавших вечернюю тишину, Шими, к большому своему удовлетворению, сразу узнал знакомый голос председателя. Он кричал так, будто с него заживо сдирали кожу, и на чем свет стоит поносил «безголового Шими Дербенди»...

## ДРУЖБА НАПОЛОВИНУ С ВОДОЙ И НАПОЛОВИНУ С УКСУСОМ

Сосед Шими Дербенди, каждый раз встречая его, по по поводу и без повода любил уверять Шими в своей неизменной дружбе к нему, подкрепляя свои слова известной поговоркой: «Близкие соседи — лучше дальних родственников». И вот однажды у соседа Шими корова отелилась раньше, чем у него. И Шими попросил его, чтобы он переслал ему ведро молока для детей, а сам взамен обещал ведро отличного вина, изготовленного им из урожая винограда, собранного со своего приусадебного участка.

Шими Дербенди был неприятно поражен и расстроен, когда увидел, что молоко, которое дал ему сосед, сильно разбавлено водой.

Ничего не сказав, Шими захватил пустое ведро соседа и зашел в погреб. Он заполнил его наполовину вином и наполовину уксусом и велел сыну отнести соседу.

На следующий день сосед, встретив Шими, напустился на него с упреками:

— Ай Шими, как тебе не стыдно? Ведь ты обещал мне хорошего вина, а вместо этого дал уксус. Разве так поступают с соседом, другом?

Шими с сожалением посмотрел на него, а потом сказал:

— Ничего не поделаешь, сосед. Видно, пока наша дружба будет только на словах, она будет наполовину с водой и наполовину с уксусом.

## ШАЙТАН

Жена Шими Дербенди была женщина очень суеверная, мнительная. Как-то раз ей приснился шайтан. Во сне шайтан, задрав козлиную бородку и бойко вертя хвостом, долго крутился во дворе, паясничал, танцевал, строил гримасы. Но самым ужасным в этом сне было то, что ее муж, сбитый с толку проклятым шайтаном, несмотря на свой почтенный возраст и седую бороду, тоже кривлялся и паясничал, подражая ему во всем; а между Шими и шайтаном, радостно взвизгивая, прыгала дворовая собака.

Проснувшись, жена долго не могла успокоиться. Она разбудила мужа и рассказала ему о том, что ей снилось.

— Как бы этот дурной сон не принес нам беды, не произошло бы с тобой несчастья,— сказала она с тревогой.

— Э-э-э, чепуха...— скребя подбородок, сонно пробормотал Шими Дербенди и тут же повернулся на другой бок.

— Нет, пока я не пойду к знатоку и толкователю священного писания, пока он своей рукой не напишет талисман и не отведет от тебя беды, я не найду себе места,— продолжала она твердить свое.— Но к нему с пустыми руками не подъедешь, придется пожертвовать нашей индюшкой: жалко, но что делать.

Как только Шими услышал об индюшке, которую он купил недавно и старательно откармливал, чтобы потом зарезать на праздник, от него сразу сбежал сон. Он как ужаленный вскочил с постели.

— Ай жена, клянусь памятью твоих усопших родителей, все эти сны сами по себе ничего не значат,— принялся Шими вразумлять жену.— Сны видят не только люди, но и птицы, и животные. Курице, например, обычно снится зерно, кошке — мышь, собаке — кость, а моему ослу — его подруга: у кого что на уме. А с чего тебе



приснился шайтан — ума не приложу. Прошу тебя, не делай глупости — не ходи к этому шарлатану, не губи зря нашу индюшку.

Но жена не вняла доброму совету Шими. Встав с постели, она оделась на скорую руку и, захватив индюшку, поспешно отправилась за спасительным талисманом.

Часа через два жена вернулась, довольная и веселая. Она с улыбкой протянула мужу талисман, зашитый в пестрой тряпочке.

— Надень его на шею, чтобы шайтан, будь он трижды проклят, не приставал к тебе, — сказала жена.

Шими, не сказав ни слова, взял талисман и тут же, поймав дворовую собаку, привязал его ей на шею.

— Ай муж, побойся бога, что ты делаешь?! — в ужасе закричала жена. — Кто вешает собаке на шею талисман с изречением из священного писания, за который я заплатила целую индюшку? Где ты был, когда бог раздавал людям ум-разум?

— Эй жена, зря ты, ей богу, кипятишься, — спокойно возразил ей Шими Дербенди. — Этот талисман собачке, как видишь, не только к лицу, но больше нужен, чем мне. Ведь в отличие от нас с тобой она все время во дворе. Если шайтан вздумает еще раз явиться к нам, то собака первой увидит его, и он, заметив талисман на ее шее, сразу убежит за три версты. Это — раз. А во-вторых, моя дорогая, когда бог раздавал людям ум-разум, я был занят тобой и поэтому, видно, лишился этого божьего дара. Будь я, несчастный, с умом-разумом, разве женился бы я на такой безнадежной дуре, как ты!..

## ШИМИ ДЕРБЕНДИ НА СЛУЖБЕ У ЦАРЯ

Однажды, когда Шими Дербенди был еще молодым и очень бедным, он узнал, что дербентский полицмейстер ищет подходящего человека из местных жителей, чтобы назначить его надсмотрщиком на Фохле-базари<sup>1</sup>. Он очень обрадовался этому известию: авось, судьба

---

<sup>1</sup> Фохле-базари — рабочий рынок на площади в Дербенте, где до революции собирались бедняки нанматься к владельцам виноградных плантаций и рыбных промыслов или просто провести свой досуг.

улыбнется ему и его возьмут на службу. Больше трех месяцев он не мог найти работу, и семья его голодала. Шими, не чуя ног под собой, побежал к полицмейстеру.

Полицмейстер, оглядев ладную коренастую фигуру Шими и прочитав в его глазах беззаветную отвагу, остался им вполне доволен.

— Я вижу, ты подходящий для этой работы человек, — похлопав Шими по плечу, с удовлетворением проговорил полицмейстер. И, тут же вручив Шими свисток и полицейскую дубинку, добавил: — Запомни, Шими, с сегодняшнего дня ты находишься на службе у его величества царя. Вот мой наказ тебе: следи за порядком, гляди в оба и держи ухо востро. Если кто-нибудь из этого сброда, что каждый день слоняется по Фахле-базари, будет открыто или намеком оскорблять личность нашего государя-императора и нас, царевых слуг, или затеет галмагал<sup>1</sup>, немедленно волоки сюда ко мне.

Полицмейстер обещал Шими Дербенди приличное жалованье, а если он проявит должное рвение на службе, — и награду.

Шими, придя на Фахле-базари, решил сразу же отличиться и получить обещанную награду. Заметив в одном месте большое скопление людей, Шими сразу насторожился. Крепко сжав свисток в одной руке и полицейскую дубинку в другой, он ринулся туда, как страшный солдат в атаку. Расталкивая людей, он с трудом протиснулся сквозь толпу и вышел вперед. В середине круга Шими увидел почтенного седобородого старика с длинным кальяном во рту, который сидел на камне и с добродушной улыбкой оглядывал обступивших его со всех сторон земляков. Шими сразу узнал известного в городе ашуга и сказителя. Собравшиеся дербентцы наперебой просили старика, чтобы он рассказал им какую-нибудь сказку.

— Ну что же, друзья мои! Вижу от вас не отвяжешься, — вынув кальян изо рта и степенно поглаживая рукой белоснежную бороду, шутливо проговорил старик. — Так и быть, расскажу. Вот слушайте... Давным-давно в некоем царстве, в некоем государстве жил-был царь, — начал ашуг. — Хотя владения царя были очень обширные,

---

<sup>1</sup> Галмагал — скандал, оживление толки по поводу чего-нибудь.

а сокровища в его казне несметные, сам царь был глуп, как осел, лют, как волк, и труслив, как заяц.

— Хоп! Дальше можешь не рассказывать. Все ясно, как божий день,— решительно выступив вперед, резко оборвал сказителя новоиспеченный надсмотрщик.— Теперь вставай и следуй за мной к господину полицмейстеру!

Старик, услышав это, онемел от удивления и испуга.

— А что я сделал такого, сынок, чтобы вести меня к полицмейстеру?— с волнением в голосе произнес он.— Отстань от меня, ради бога.

— Нет, ты сейчас же должен следовать за мной, — потрясая дубинкой над головой старика, потребовал Шими Дербенди.

Мудрый старик, хоть и много лет прожил на свете, не хотел из-за глупого упрямства назойливого надсмотрщика подвергать себя опасности. И он повиновался. За ним следом потянулась и толпа людей, возмущенных несправедливым арестом старого ашуга. Люди громко кричали, ругали на чем свет стоит стоит ретивого надсмотрщика. И Шими, чтобы заглушить их негодующие голоса и угрожающие крики, время от времени пронзительно свистел в свисток и грозил всем тюрьмой и Сибирью, если они не прекратят бунт против действий законных властей.

Когда возмущенная толпа дербентцев подошла к зданию, где находился полицмейстер, Шими с видом человека, честно выполнившего свой долг, подбежал к нему с рапортом, толкая перед собой бледного, перепуганного старика.

— Вы только полюбуйтесь на него, ваше превосходительство,— указав на старого ашуга, гневно проговорил Шими.— Он в присутствии всех этих людей так поносил нашего обожаемого государя-императора, так оскорблял, что у меня язык не поворачивается повторить его мерзкие слова.

— Говори, не бойся, это нам нужно, чтобы установить степень его вины,— приказал полицмейстер, довольный тем, что не ошибся, взяв Шими на службу.

Шими немного помялся, потом, словно нехотя, проговорил:

— Коли уж вы приказываете, я, конечно, не имею права не повиноваться. Он сказал, что наш царь глуп, как осел, лют, как волк, и труслив, как заяц.

Но увидев, как вытянулось лицо полицмейстера, а глаза полезли на лоб, Шими сразу проникся тревогой за своего начальника и поспешил успокоить его:

— Вы, господин полицмейстер, ради бога, не волнуйтесь, не принимайте это так близко к сердцу. Пусть наш царь дурак и останется таким на всю жизнь: кривое дерево не выпрямишь, а горбатого могила исправит,— но зато, слава богу, вы, господин полицмейстер, я и другие царевы слуги — не дураки. И мы всегда сможем с божьей помощью и полицейской дубинкой заткнуть глотку таким смутьянам, как этот старый баламут...

Говорят, что с нашим земляком случилось точь-в-точь, как в известной поговорке: «Думаешь — поймал, а смотришь — сам попался».

В тот же день за свое рвение на службе у государя-императора Шими Дербенди получил заслуженную «награду»: по приказу полицмейстера ему всыпали по мягкому месту сто двадцать горячих, после чего под усиленным конвоем отправили в городскую тюрьму.

## ПЛАЧ ПО ОСЛУ

У Шими Дербенди околел осел. Он очень любил своего вислоухого, и его смерть огорчила Шими.

Опустившись на землю возле бездыханного осла и скрестив ноги, Шими принялся бить себя по груди, громко причитая, как плакальщица на похоронах.

— О ты мой золотокудрый, ясноокий и быстроногий джейран!..

Соседи, услышав плач Шими, решили, что у него умер кто-то из членов семьи и поспешили к нему во двор. Узнав, что Шими оплакивает своего околевшего ишака, они, в душе посмеиваясь над ним, принялись утешать его. А один из них, чтобы заставить Шими успокоиться, сказал ему:

— Ай Шими, ты голову, что ли, потерял? Разве можно из-за того, что издох осел, так убиваться? У меня, к добру будь помянута, недавно умерла теща, я и то не плакал, а ты распустил нюни. И не стыдно тебе?

Шими Дербенди больше всего на свете не любил свою тещу. Она, считая Шими шутком и пустомелей, ни в грош не ставила его и часто натравливала на него

свою дочь. Поэтому, услышав слова соседа, Шими рыдался еще горше.

— В том-то и дело! — вытирая папахой слезы, с плачем произнес он. — У счастливица теща умирает, а у несчастливца, как я, осел поддыхает...

## ЗАОКЕАНСКИЙ КУНАК ШИМИ ДЕРБЕНДИ

Минувшей весной в древний Дербент пожаловал какой-то журналист, человек очень подвижный и веселый, представляющий одну из американских буржуазных газет. Заокеанский гость, с большим интересом осмотрев исторические памятники Дербента, побывал затем на колхозных виноградниках, расположенных за городом. Здесь ему случилось встретиться и поговорить с нашим почтенным аксакалом Шими Дербенди. Гость был удивлен тем, что старик, несмотря на свой преклонный возраст, сохранил юношескую фигуру, выглядит очень бодрым и жизнерадостным.

— Не скажете ли вы, мистер Шими Дербенди, в чем секрет вашей неуязвимой молодости? — шутливо спросил его журналист.

— Я всю жизнь работал на свежем воздухе, пил наше доброе дербентское вино, ел хинкал с чесноком, и у меня всегда веселое настроение, — ответил ему Шими Дербенди.

— О кей! Прекрасно! Я бы сказал в высшей степени интересно! — почти в восторге воскликнул гость и тут же вежливо добавил: — А скажите, мистер, у вас давно, как вы говорите, это самое веселое настроение?

— Давно, — кивнул старик. — С тех самых пор, когда мы, бедняки, отобрали эти виноградники у богачей, на которых я за жалкие гроши гнул спину, и объединились в колхоз.

И Шими, польщенный вниманием со стороны приехавшего из далекой страны ученого гостя к его скромной особе, с удовольствием рассказал ему о своем житье-бытье, о том, как десять лет тому назад колхоз с почетом проводил его на пенсию, что у него собственный дом, личное хозяйство, живет, слава богу, безбедно. Но ему, старику, не сидится дома, хоть и достается из-за этого от жены. Он приходит сюда, чтобы поговорить со свои-

ми друзьями, посмотреть, как идет работа на виноградниках, передать свой опыт молодым колхозникам.

Гость как будто остался вполне доволен бесхитростным рассказом Шими Дербенди и попросил старика позвонить ему сфотографировать себя на память. Взяв лопату у одного колхозника, который перекапывал землю между кустами винограда, журналист передал ее Шими со словами:

— Покажите, пожалуйста, мистер, как бы вы выполнили эту работу.

Шими гордо оправил седую бороду и, энергично плюнув в заскорузлые ладони, принялся бойко орудовать лопатой. И журналист, направив на него объектив, несколько раз сфотографировал Шими за работой. После этого иностранец, с удовольствием приняв приглашение старика отведать в его доме хинкал с чесноком и доброе дербентское вино, в самом хорошем настроении отправился к нему в гости.

Расстались они почти кунаками, весьма довольные друг другом.

Спустя месяц кто-то переслал старику заграничную газету, в которой был напечатан большой очерк его заокеанского гостя о Дербенте и о нем самом. Вверху была помещена фотография весело улыбающегося автора в роговых очках, рядом красовался большой снимок древней ханской цитадели Нарынкала, а внизу — еще один снимок, на котором был изображен сам Шими Дербенди за работой с лопатой в руках.

Шими, захватив газету, сразу поспешил к знакомому учителю, хорошо владеющему языком, на котором разговаривал его заокеанский кунак: ему не терпелось скорее узнать, что написано о его родном городе и о нем самом.

К удовольствию Шими Дербенди, его кунак, не скрывая своего изумления, рассказывал о величественных памятниках далекой старины, которые довелось ему видеть в Дербенте, о древней ханской цитадели, построенной еще в шестом веке нашей эры, о колоссальном подземном водохранилище, вырубленном в скальном грунте, похожем изнутри на старинный храм и вмещающем пять миллионов ведер воды, о глубокой, как колодец в жаркой пустыне, каменной тюрьме, где хан заживо хоронил своих несчастных жертв...

Автор статьи подробно, с расчетом на вкус читателей своей газеты, смакуя каждую деталь, писал и о тайнах ханского серала.

— Э-э-э, зачем мне, старику, сынок, слышать, какие непристойности вытворял хан со своими женами и наложницами, будь он неладен,— перебил учителя Шими Дербенди.— Ты лучше опусти весь этот вздор, читай скорее, что мой дорогой кунак написал обо мне: доволен ли он моим скромным гостеприимством, понравилось ли ему мое угощение — хинкал с чесночной приправой и уксусом, наше дербентское вино?..— И уверенный в том, что кунак написал о нем что-то лестное, Шими с довольной улыбкой на лице приготовился слушать.

Но когда старик узнал, что о нем написал его заокеанский кунак, у него глаза полезли на лоб, от досады и бессильной ярости он готов был вырвать себе бороду.

«Встреча с мистером Шими Дербенди,— писал американец,— неволью заставила меня с горечью подумать о том, что со времен наместников персидских шахов, багдадских халифов, турецких султанов и дербентских ханов, некогда правивших из этой цитадели древним городом, мало что изменилось в положении его населения. Чтобы убедиться в этом, я приглашаю вас, любезный читатель, взглянуть на этот печальный снимок. Этот несчастный старик с седой бородой, несмотря на свой преклонный возраст, вынужден из-за куска хлеба с утра до позднего вечера работать до седьмого пота. Если в его годы и при такой каторжной жизни он еще не умер, то только потому, что, как у всех прирожденных идиотов, у мистера Шими Дербенди всегда веселое настроение. Кроме того, он ежедневно обжирается чесноком, который, несмотря на мерзкий запах, полезен как дезинфицирующее средство...»

Оскорбленный в своих лучших чувствах, старик поспешил домой. И чтобы хоть сколько-нибудь отвлечься от гнетущих мыслей, вызванных вероломным поступком его заокеанского кунака, он, завернув в ту самую газету свежее белье, мыло и мочалку, отправился попариться в баню: авось, на душе полегчает.

Искупавшись, Шими Дербенди, мокрый, распаренный, вышел в предбанник. Прежде чем одеться, старик, подложив под себя газету, присел немного передохнуть и отдышаться. Когда он встал с места, промокшая

насквозь страница с очерком прилипла к его голому задку. Шими Дербенди брезгливо оторвал газету и выбросил ее в мусорное ведро. Но обрывок ее с портретом самодовольно улыбающегося американца так и остался на прежнем месте. Люди, находившиеся в предбаннике и хорошо знавшие Шими, заметив это, стали переглядываться друг с другом и тихо-шюко смеяться. Один из них, смущенно улыбаясь, тихо, чтобы другие не слышали, сказал Шими на ухо:

— Дядя Шими, у вас, извините, на самом неприличном месте прилип кусок газеты с портретом какого-то человека в очках.

— Зря ты говоришь — «неприличное место», дурья голова! — вдруг заорал на него Шими Дербенди, краснея от злости. И тыча пальцем в портрет, тем же гневным тоном добавил: — Для такого бесстыдника и злопыхателя, как он, это самое приличное место!

## ПОДАРОК ЖЕНЕ

С годами характер у жены Шими Дербенди все больше портился. Из-за пустяка она выходила из себя, принималась ворчать, браниться и изводить мужа. И так каждый божий день! Как ни старался Шими Дербенди заставить ее замолчать, ничего из этого не выходило.

Как-то Шими целую неделю работал на отдаленных колхозных виноградниках и там же ночевал вместе с остальными колхозниками. И когда он, закончив работу, вернулся домой, жена вместо того, чтобы обрадоваться, сразу напустилась на него с упреками.

— Ай жена, какая муха опять тебя укусила? Зачем наш светлый день превращаешь в черную ночь? — огорченно произнес Шими. — Я еще не успел переступить порог дома, а ты уже принимаешься за свое... Скажи, что тебе нужно?

— Постыдился бы! — еще пуще рассердилась жена. — Ведь завтра сорок лет со дня нашей свадьбы. Другой бы порядочный, любящий муж отметил бы этот день, сделал бы жене подарок. А тебе даже и в голову не пришло, что завтра ровно сорок лет, как я, несчастная, стала твоей женой. Сразу видно, как ты меня любишь, уважаешь...



Она так разошлась, что, казалось, ее уже невозможно остановить.

— Моя дорогая, чего ты зря сердишься? — миролюбиво произнес Шими Дербенди, желая загладить свою вину и утихомирить супругу. — Если все дело в подарке, то я сейчас же побегу в магазин, куплю тебе самый подходящий подарок, да такой, какой тебе и во сне не снился.

Жена, услышав эти слова, сразу смягчилась, повеселела, перестала ворчать. Накормив и угостив мужа вином, она выпроводила его за подарком.

Прошло часа три-четыре, когда Шими наконец вернулся домой, держа в руке огромный тяжелый замок, покрытый столетней ржавчиной.

— Что это? — с удивлением спросила растерявшаяся жена, косясь то на мужа, то на диковинный замок.

— Хе, я же обещал тебе ради памятного дня — сорокалетия нашей свадьбы — купить подходящий подарок, вот он! — гордо произнес Шими, позвякивая перед ее носом пудовым замком. — Правда, достался он мне нелегко. Я обошел все магазины в городе, нигде такого замка, какой мне хотелось купить, не нашел. Тогда я, несмотря на усталость (чего только порядочный, любящий муж не сделает ради своей дорогой супруги), поднялся на гору, где, сама знаешь, стоит старинная ханская цитадель Нарынкала, и сорвал этот замок с ее железных ворот.

— А зачем мне этот замок? — дрожащим голосом спросила жена, испуганно пятясь, решив, что муж сошел с ума.

— Как зачем? Чтобы ты вешала его на свой длинный язык и молчала хотя бы один-два часа в сутки! — с отчаянием и мольбой в голосе воскликнул бедный муж.

## ЧЕЛОВЕК И ОБЕЗЬЯНА

Зимним вечером Шими Дербенди сидел у печки и попыхивал кальяном, а в углу за столом его двенадцатилетний внук, раскрыв перед собой книгу и тетради, готовился к завтрашнему уроку.

— Деда, а дед! — отодвинув книгу, обратился внук к Шими Дербенди. — А правда, что человек произошел от обезьяны?

— Вах, что за чушь! — оскорбился Шими и сурово нахмурил брови. — Тогда выходит, что блаженной памяти мои деды и прадеды, по-твоему, были маймунами — обезьянами? Как такая глупая мысль могла прийти тебе в голову, харамзада?<sup>1</sup>

— А причем тут я?! — обиделся мальчик. — Я, что ли, это выдумал, — учитель нам говорил...

Услышав это, Шими Дербенди промолчал, а про себя подумал: учитель хоть и ученый человек, но, конечно, спорил чушь, наверное, под мухой был, а с пьяна все что угодно может прийти человеку на ум. Шими сказал внуку, что завтра непременно пойдет поговорить с его учителем.

В тот вечер случилось Шими Дербенди вместе со взрослыми членами семьи смотреть по телевизору выступление какой-то иностранной эстрадной певицы. Старик был явно ошеломлен ее обличем и поведением на сцене. Платье на ней было чуть ли не до пояса, грудь совсем открыта, руки и спина голые, растрепанные волосы торчали во все стороны, как острые иглы на дикобразе. Свое пение гостя сопровождала разными ужимками, кривлянием и непристойными телодвижениями. Да и пение ее как-то неприятно резало слух. Оно напоминало Шими Дербенди то рев бешеного быка, то крик лесного зверя, то мяуканье дикой кошки.

Шими, возмущившись, приказал домочадцам немедленно выключить телевизор и разойтись в свои комнаты. А сам, отправляясь спать, невольно подумал: «Действительно, у этой женщины есть немалое сходство с бесстыжей и безобразной обезьяной...»

Наутро внук, собираясь идти в школу, на всякий случай спросил Шими Дербенди:

— Дед, ты и вправду собираешься пойти со мной к учителю?

Шими, вспомнив вчерашнюю певицу, нахмурился, потом, немного помедлив, сказал:

— Нет, сынок, я раздумал. Твой учитель, видимо, все-таки прав. Я теперь понимаю, каких людей он имел в виду, когда говорил, что человек произошел от обезьяны.

---

<sup>1</sup> Харамзада — паршивец, нечестивец.

## СКРОМНОСТЬ ШИМИ ДЕРБЕНДИ

Давным-давно, когда Шими Дербенди был еще батраком и нередко оставался без куска хлеба, пришел он однажды в нимаз<sup>1</sup> помолиться и заодно попросить у бога, чтобы он послал ему хотя бы немного денег на пропитание.

— О боже, всемогущий и всемилостивый! — молитвенно воздев очи к потолку, громко воскликнул Шими Дербенди. — С утра у меня во рту не было ни крошки хлеба. Прошу тебя, пришли мне пару аббаси<sup>2</sup>, чтобы я мог купить себе один чурек, кусочек сыра и пару стаканов чаю.

Рядом с Шими Дербенди молился разодетый богач с огромным, как купол мечети, животом. Услышав скромное желание Шими Дербенди, обращенное к богу, богач свирепо посмотрел на него.

— Слушай, убирайся подальше отсюда! — набросился он на Шими Дербенди. — Я тоже пришел просить у бога деньги, но мне нужно много денег, чтобы закладывать новые виноградники, построить винокуренный завод, купить новые земельные участки, обзавестись четвертой женой. А ты со своей ничтожной просьбой можешь испортить мне все дело: бог, услышав твое скромное желание, поскупились и не даст мне столько денег, сколько я сейчас прошу у него.

— Клянусь твоей жизнью, я нарочно просил у бога так мало, чтобы не повредить тебе, — сказал Шими Дербенди, оправдываясь.

— Как это? — спросил удивленный богач у Шими Дербенди.

— Вот так. Прежде чем обратиться к богу со своей просьбой, я посмотрел на тебя и мысленно соразмерил наши животы. Я сразу понял, что ты будешь просить у бога столько, что едва ли у него, у бедняги, останется денег больше того, чтобы хватило мне на один чурек, кусочек сыра и пару стаканов чаю.

---

<sup>1</sup> Н и м а з — молитвенный дом у татов.

<sup>2</sup> А б б а с и — 20 копеек.

## УМ И БОГАТСТВО

Богатые люди в городе и представители местных властей не любили батрака Шими Дербенди за его острый язык, злые шутки и насмешки в их адрес.

Однажды в ненастный осенний день Шими Дербенди, ежась от холода, вместе с другими батраками стоял на Фахле-базари в надежде на то, что кто-нибудь из владельцев виноградных плантаций или рыбных промыслов возьмет его на работу. Одежда на нем была очень худая: рваный бешмет, облезлая папаха и истоптанные дырявые чарыки. Увидев Шими Дербенди, к нему подошел разодетый краснощекий, толстопузый богач, известный во всем городе хвастун и пустомеля. Насмешливо оглядывая Шими с ног до головы, он, злорадно хихикая, заметил с ехидством:

— Ай Шими, если ты такой умный, что позволяешь себе смеяться над нами, богатыми и знатными людьми, почему же сам ты такой бедный, что даже порядочных чарыков на тебе нет?

— Да, ты прав, я беден, на мне даже порядочных чарыков нет, — печально вздохнул Шими. Потом пристально взглянув на жирную самодовольную физиономию богача, прибавил с иронией: — Но мой ум тут не причем. Дело в том, что ум и богатство редко встречаются вместе. Зачем далеко ходить... Возьмем нас с тобой. У меня есть ум, а богатства нет, а у тебя, наоборот, богатство есть, а ума нет.

## БОГ ПОЭЗИИ

Как-то в руки Шими Дербенди попала красиво оформленная книга со стихами великих средневековых персидско-таджикских поэтов. Едва успев кое-как, с горем пополам, прочесть их, Шими Дербенди загорелся желанием самому написать стихи.

Но прежде чем призвать капризную Музу с горы Олимп, Шими решил вызвать из кухни свою покорную половину, где она катала тесто для хинкала — любимого блюда мужа — и посоветоваться с ней.

— Знаешь, жена, — начал Шими издалека, — фарсидский язык и наш татский родственны между собой,

вроде бы дядя и племянник. Вот, например, когда иранцы или таджики говорят: «Занро муяш дораз, аглош кутагь»,<sup>1</sup> — мы эту мудрую поговорку воспринимаем и произносим почти так же, как они.

— Ну что из этого? — обиженно спросила жена, которая в душе считала себя ничуть не глупее своего странного и чудаковатого мужа.

— Вот послушай. Великий Фирдоуси на фарсидском языке, оказывается, тысячу лет тому назад создал свой знаменитый дастан<sup>2</sup> «Шах-намэ», — продолжал Шими с увлечением, — а он, представь себе, до сих пор жив, вернее сам-то он умер давно, а его доброе имя, его стихи живут и поныне. И вот я сижу и прикидываю: если Фирдоуси на своем языке создал чудесное ожерелье из драгоценных камней, то неужели я, твой верный муж, не смогу на своем татском языке создать что-то наподобие такого ожерелья хотя бы из обыкновенного серебра?

— Ай муж, не сходи с ума: не твое это занятие, — принялась жена отговаривать Шими. — Поэтом надо родиться. Подающий надежду птенчик и в яйце поет. Если ты, прожив на свете семьдесят лет, не написал ни одной строки, как же ты можешь стать поэтом?

Но Шими был непреклонен. Он решил во что бы то ни стало убедить жену.

— Ты неправа, жена, — горячо возразил он супруге. — Неважно, что я за все свои годы не написал ни одной строки, а важно другое: слово «ашуг», сама знаешь, на нашем языке означает не только поэт, но и влюбленный. А любовь может нагрять к человеку в любом возрасте. Вот недавно в колхозном клубе какой-то лектор, дай бог ему долгие годы, читал нам, старикам (а молодежи почему-то там не было), лекцию «О любви, семье и браке». Хотя лектор был человек на редкость красноречивый, как майский соловей, но половина зала постыдно дремала. Но речь не об этом... Из всего того, что рассказывал нам лектор, мне особенно понравилось, когда он, ссылаясь на какого-то неизвестного мне поэта, сказал: «Любови все возрасты покорны». Теперь, жена, послушай дальше. Выходит, что, начиная с моего годовалого внука-сосуна, кончая мной, старым дедом, каждый из нас может

---

<sup>1</sup> «У женщины волос долог, а ум короток».

<sup>2</sup> Дастан — поэма.

любить и быть влюбленным, то есть, я хотел сказать: стать ашугом.

Шими еще что-то собирался говорить в пользу своего довода, но, заметив на лице жены откровенную насмешку и явное нетерпение, сразу вспылил:

— Клянусь богом, не зря блаженной памяти деда учили нас: «Чем с женой советоваться, лучше положи папаху перед собой и посоветуйся с ней»,— в сердцах крикнул на нее рассерженный муж. — Иди на кухню, занимайся своей стряпней, больше ты, я вижу, ни на что не способна!..

Отослав жену на кухню и немного успокоившись, Шими Дербенди уселся за стол, за которым его старший внук готовил уроки, и, надев очки на нос, принялся строчить стихи. И как следовало ожидать, стихи получились сумбурные, никчемные. Но Шими Дербенди не терпелось поскорее прочесть их кому-нибудь. Захватив тетрадь, он уже собрался было пойти к своим друзьям, когда к нему неожиданно появились гости — главный винодел колхоза, пожилой грузный мужчина с красным кирпичным лицом, крупным красно-фиолетовым носом и ветеринар колхоза, сравнительно молодой еще человек с красивыми телячьими глазами. Оба они были навеселе, возвращались с какой-то свадьбы и по дороге решили заглянуть к старику.

Их приход весьма обрадовал Шими. Он усадил их за стол, а жене велел подать горячий хинкал и поставить бутылку водки.

Как только гости опорожнили бутылки и почувствовали себя совсем пьяными, Шими Дербенди решил, что теперь самое время ознакомить их со своими виршами.

— Очень хорошие стихи, дядя Шими,— похвалил винодел с сине-фиолетовым носом.— В них есть аромат муската, бархатистость кагора, веселая шипучесть шампанского, медовый привкус ликера и прозрачность наших прославленных дербентских коньяков. Вы дядя Шими — истинный талант.

— Я скажу больше,— нетерпеливо ерзая на месте и икая, поспешно проговорил ветеринар с красивыми телячьими глазами.— В ваших стихах мне слышится бойкая переключка петухов перед рассветом, любовный призыв молодой кобылицы в начале весны, дружное блеяние сытых овец, возвращающихся после заката

с пастбища в свои кошары... Вас, дядя Шими, по справедливости сказать, мало называть талантом. Вы украшение и гордость нашего маленького народа, отец нашей поэзии.

Гордый и польщенный похвалой гостей, Шими Дербенди весело крикнул жене:

— Эй, жена, подавай вторую бутылку!

Когда гости распили ее, они опять заговорили о стихах Шими Дербенди.

— Я получил огромное удовольствие от ваших стихов,— произнес заплетающимся языком Сине-фиолетовый Нос. — Они действуют на человека опьяняюще, как доброе старое вино многолетней выдержки. Никто до вас из наших поэтов не писал таких чудных стихов. Вы, дядя Шими, просто гений.

С места вскочил Красивые Телячьи Глаза. Приложив руку к сердцу, ветеринар почтительно отвесил Шими Дербенди глубокий поклон, будто падишаху, и громко воскликнул:

— Я скажу больше. Как принято считать орла царем всех пернатых, вы, дядя Шими,— царь нашей поэзии.

— Эй, жена, подавай третью бутылку! — крикнул торжествующий Шими, гордо подбоченившись перед женой: мол, что теперь скажешь?

Когда была распита третья бутылка, гости опять вернулись к теме своего разговора:

— Ни-и-ничего подобного я не читал и-и-и не слышал, — еле пробормотал Сине-фиолетовый Нос, почти засыпая. — Все наши поэты, вместе взятые, не стоят и твоего мизинца. Вы, дядя Шими,— сверхгений. Ма-а-ша-аллах!..

Красивые Телячьи Глаза, вновь вскочив с места и упав на колени перед Шими Дербенди, стал отбивать ему земные поклоны.

— Я скажу больше! Царь, дядя Шими, тебе и в подметки не годится. Вы бог нашей поэзии!.. Поэтому позвольте мне пасть пред вами, как верующий пред священным алтарем...

Удивленная и очень обрадованная неожиданным успехом мужа жена на этот раз, не дожидаясь приказа Шими, сама подошла к нему.

— Может, подать четвертую бутылку дорогим гостям? — ласково шепнула она ему в ухо.

Шими, пряча хитрую улыбку в бороду и насмешливо косясь на вдребезги пьяных гостей, сказал жене:

— Хватит, не надо. Высшего титула при всем их желании мне уже все равно невозможно присвоить, так что зачем зря переводить лишнюю бутылку...

## ШИМИ ДЕРБЕНДИ В РОЛИ РЕВИЗОРА

Однажды в правление колхоза поступил сигнал о том, что один из колхозников по имени Келе, известный всем своими плутнями, в нарушение устава артели содержит две коровы вместо одной и четырнадцать овец вместо семи, раздувает личное хозяйство в ущерб общественному. Проверить этот сигнал правление поручило члену ревизионной комиссии, старейшему колхознику Шими Дербенди.

Шими пришел к Келе вечером, когда, по его расчетам, все четырнадцать овец и две коровы можно будет застать на месте. Но хитрый Келе, догадавшись о причине неожиданного визита ревизора, прежде чем провести его в хлев и показать ему наличие скота, лестью и угворами затащил его к себе домой.

— У меня сейчас накрыта скатерть. Хоть мы с тобой, дядя Шими, не близкие друзья, но и не враги. Прошу тебя, не пренебрегай моим хлебом и солью,<sup>1</sup> — извиваясь перед ним ужом, стал просить его Келе. — А животные, клянусь твоей почтенной бородой, никуда не денутся. И чтоб у тебя не было никакого сомнения на этот счет, вот, пожалуйста, ключи от хлева.

Шими Дербенди после некоторого колебания, положив ключи в карман, принял приглашение Келе.

Как только хозяин и гость уселись за скатертью, Келе налил ему и себе полные роги вина, провозгласил тост в его честь:

— Дядя Шими! — встав с места и почтительно приложив руку к груди, воскликнул он. — Я очень рад, очень счастлив видеть в своем доме тебя, всеми уважаемого и почитаемого нашего премудрого аксакала. Для меня это большая честь, большая радость. Пью за твое здоровье!

---

<sup>1</sup> По татскому обычаю, если в доме накрыт стол, любой вошедший обязан что-нибудь отведать, чтобы не обидеть хозяина и не уронить себя в его глазах.



Расточая лесть и похвалу в адрес гостя, расчетливый Келе, не давая Шими передышки, преподносил ему один полный рог за другим, пока старик окончательно не опьянел.

— Слушай, Келе, пощади, я уже не могу,—взмолился Шими Дербенди, выставляя вперед, как щит, свою ладонь против очередного рога с вином, протянутого ему хозяином дома.— У меня уже двойтся в глазах.

А Келе только этого и ждал. Поддерживая под руку шатающегося гостя, он провел его в хлев. И Шими Дербенди принялся считать количество его овец и коров — получилось четырнадцать овец и две коровы.

На следующий день Шими Дербенди, придя в колхозную контору, доложил председателю о том, что он на месте проверял количество скота, имеющегося в личной собственности колхозника Келе, и насчитал четырнадцать овец и две коровы, как было указано в письме на имя правления колхоза. И потом виновато добавил:

— Только чур: за точность этой цифры я не ручаюсь.

— Как это так не ручаетесь? — удивился председатель.— Вы же сами говорите, что были там, видели своими глазами...

— Да, все это верно,—кивнул незадачливый ревизор.— Но... дело в том, что вино, которым так усердно потчевал меня «гостеприимный» и сладкоречивый Келе, так сильно подействовало на мои старые мозги, что я вместо одного Келе видел перед собой сразу двух. Возможно, при подсчете животных произошла ошибка: одну баранью голову я принимал за две, как и плутовскую физиономию их хозяина, разрази его пром!..

## ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА

Как-то в день первого апреля Шими Дербенди пришел на базар покупать овцу. Какой-то незнакомый молодой человек, узнав об этом, подошел к Шими, волоча тяжелый мешок.

— Дядя Шими, если вы в добрый час пришли покупать овцу, я могу продать вам. Она у меня вот здесь, в мешке,— произнес он, а потом, беспокойно оглядываясь по сторонам, тихо добавил:— Только товар свой я не могу показать вам: я его утащил тайком от отца из

нашего хлева, а он сейчас ходит по базару и ищет меня повсюду.

Шими не хотел покупать овцу, предварительно не осмотрев ее, тем более украденную. Но услышав совсем недорогую цену, не удержался от соблазна. Опустившись на корточки, Шими, не раскрывая мешка, на всякий случай, принялся ощупывать овцу. Она показалась ему вполне подходящей: достаточно упитанной, крупной и шерстистой.

Заплатив хозяину стоимость овцы, Шими, обрадованный удачной покупкой, взвалив мешок на спину, сразу поспешил домой. Но не успел он отойти от базара на сто шагов, как его покупка вдруг начала дрыгать ногами, кувыркаться, и что самое странное — грозно рычать по-собачьему. А еще минуты две спустя «овца», с громким лаем вырвавшись из мешка, как разъяренный тигр, прыгнула через голову ошеломленного Шими и убежала. Как говорится: «И теленок сбежал, и веревку унес». Любопытные прохожие, невольные свидетели этого необыкновенного зрелища, среди которых было немало молодых людей, сразу окружили Шими и стали спрашивать его: что, мол, была за нужда таскать на себе с базара такого здоровенного пса в мешке?

Скопфуженный и расстроенный Шими с горечью рассказал им, как его бессовестно надул незнакомый молодой человек, видно, базарный мошенник и плут, чтобы он провалился.

Собравшиеся, выслушав эту историю, каждый наперебой стали высказывать старику свои замечания и советы:

— Ай Шими, как вы могли при вашем уме и возрасте дать себя так легко одурачить: соблазнившись на дешевку, купить «овцу» в мешке? Ни в коем случае это дело так нельзя оставить. Сегодня он, не взирая на вашу почтенную седину, надул вас, завтра этот пройдоха с такой же легкостью то же самое может выкинуть с другим, а послезавтра — с третьим. Но где его теперь найдешь? Ищи ветра в поле!..

Но никто не выражал ни желания, ни готовности помочь старику разыскать жулика, зато советы, наставления, упреки так и сыпались на голову Шими, как горох из торбы. И он не знал как от них избавиться. Неизвестно, сколько еще пришлось бы ему слушать их бесполез-

ную и бестолковую болтовню вокруг его злополучной покупки, если бы один из присутствующих, самый молодой среди них, не высказал самое «верное» предположение (не даром же говорится: ум заключается не в возрасте, а в голове):

— Вы, дядя Шими, не принимайте все это близко к сердцу, не расстраивайтесь. Этот молодой человек просто подшутил над вами, — уверенно произнес юноша. — Ведь сегодня первое апреля. А на первое апреля существует обычай: люди в шутку разыгрывают друг друга...

Старик Шими, услышав это, словно почувствовал облегчение.

— Видимо, так оно и есть, сынок, — с готовностью согласился он, а потом для отвода глаз, потрясая кулаком в воздухе, с притворным гневом в голосе добавил: — Иначе, клянусь вам, если бы эта история превращения овцы в собаку не была первоапрельской шуткой, он черта с два ушел бы от меня безнаказанно. Кто-кто, а я, уверяю вас, несмотря на свой почтенный возраст, из-под земли достал бы этого сукиного сына и показал бы, что значит всучить честному человеку псину вместо овчины.

### «ТОТ ЖЕ ОСЕЛ, НО СБРУЯ ДРУГАЯ»

Один молодой парень, дальний родственник Шими Дербенди, человек недалекий и легкомысленный, как говорится, с ветерком в голове, отправился путешествовать по Европе. Когда он вернулся некоторое время спустя домой, то поразил всех своим внешним видом: на нем была пестрая рубашка с изображением каких-то ползучих гадов и диких зверей, короткие штаны выше колен с широкими карманами, растрепанные космы торчали в разные стороны.

Старик Шими, не скрывая своей неприязни к его внешности, все же решил спросить у него, как выглядят страны, где ему удалось побывать, каковы обычаи и нравы населяющих их народов, что он заметил там хорошего, достойного внимания и похвалы, а что плохого, заслуживающего сожаления и осуждения. «Путешественник» так и не смог ответить что-либо вразумительное на вопросы старика. Зато он многословно и восторженно принялся рассказывать ему о ночных кабаре

и других значных местах, где он ел, пил, кутил, о новых прическах, модных танцах: шейке, джерке, халли-галли— и все в этом роде.

На следующий день один из знакомых стариков Шими, встретившись на улице, спросил его:

— Ай Шими, говорят, что твой родственник ездил в заморские страны. Что он там интересного видел, слышал?

Шими Дербенди, нахмутив брови, сказал сердитым голосом:

— Ничего! Ослом поехал, ослом приехал, только сбрую сменил.

## ХИТРОСТЬ ШИМИ ДЕРБЕНДИ

Однажды в выходной день Шими решил поразвлечься охотой. Благо, по соседству жил охотник. Одолжив у него ружье и патроны, Шими верхом на осле отправился за город в лес.

Привязав осла к дереву на опушке, Шими углубился в лес. Весь день с ружьем в руке, перевязанный патронташем, блуждал он по лесу, но нигде не попал на след зверя.

Усталый, измученный вернулся Шими к опушке, где он оставил осла. Но на том месте, где стояло животное, лежали одни его обглоданные кости: пока хозяин рыскал по лесу, волки напали на осла и разодрали его.

Перекинув ружье через плечо, Шими понуро побрел в город без добычи, без осла: как говорится, пошел за бородой, лишился и усов. Но прежде чем идти домой, Шими зашел к соседу, вернул ему ружье и все патроны, тепло и сердечно поблагодарил его за услугу. Видя, что патроны целы, сосед с улыбкой спросил его:

— Ну, убил какого-нибудь зверя, дядя Шими?

Шими почувствовал насмешку в голосе соседа и, скрывая обиду, произнес с гордостью:

— Конечно, убил! Хм, зря, что ли, охотился целый день?

— А кого же ты убил, дядя Шими? — недоверчиво спросил сосед.

— Кого? Своего осла! И как я его убил, клянусь твоей головой, без единого выстрела, даже не прицелива-

ясь,— похвастался Шими Дербенди и с пренебрежительной улыбкой на губах добавил: — Не то что вы, горехотнички: пуляете подряд в зверя, а он от вас убегает без единой царапины, пуская ветры, хе-хе...

Оставив в крайнем недоумении соседа, довольный своим ответом, Шими с важным видом вышел на улицу. Но когда он, подходя к своему дому, увидел у ворот жену, ждавшую его возвращения, у Шими сразу упало настроение. «Если она узнает, что осел погиб из-за моей беспечности, мне в доме житья не будет»,— с тревогой подумал он, зная сварливый характер жены. Поэтому Шими решил прикинуться больным. Сильно прихрамывая на левую ногу и обеими руками ухватившись за бок, незадачливый охотник принялся громко охать и стонать.

Увидев мужа в таком бедственном состоянии, жена в тревоге бросилась к нему.

— Горе мне, о муж,— воскликнула испуганная жена. — Ты же сегодня утром уходил из дому бодрым и здоровым, что с тобой стало? Почему идешь пешком, где твой осел?

— Ах жена, заклинаю тебя памятью твоих родителей: не напоминай мне сейчас об осле,— жалобным голосом произнес хитроумный Шими и застонал еще громче.— Это проклятое животное чуть было не отправило меня на тот свет, а тебя не сделало вдовой: оно лягнуло меня в бок, сломало три ребра и покалечило ногу.

Услышав это, жена стала проклинать осла:

— Да чтоб ему боком вышли все наши заботы о нем тварь неблагодарная! Да чтоб злые волки загрызли его дурную голову! Да чтобы...

Шими, видя, что хитрость его удалась, прервал её:

— Ай жена, довольно расстраиваться, изводить себя. Бог вынул твоей мольбе: злые волки не только загрызли его дурную голову, они даже хвоста от него не оставили.

## КАК ШИМИ СТАЛ НАПОЛОВИНУ МУЖЧИНОЙ И НАПОЛОВИНУ ЖЕНЩИНОЙ

Дочь Шими Дербенди была замужем за колхозником и жила в селении. Шими и его старуха решили съездить к дочери и зятю, посмотреть на внуков. Недалеко от того селения, где жила дочь, протекала небольшая, но

быстрая речка. Чтобы не промочить штаны, Шими предусмотрительно снял их и положил под мышку. Лишь после этого он решился войти в воду.

Но надо было случиться такому: когда Шими дошел до середины реки, он поскользнулся и упал, выронив при этом штаны. Течение сразу подхватило их и унесло. Вышел он на противоположный берег в одной рубашке, огорченный, раздосадованный. Но вспомнив, что в мешке, который несла жена за спиной, кроме подарков и гостинцев для внуков, были ее запасные юбки и платье, он немного успокоился.

— Ай жена, при моей бороде я, конечно, не могу появляться в чужом селении без штанов, как двухлетний карапуз с открытым срамом,—сказал он супруге.—Достань, пожалуйста, из мешка твою красную юбку, я надею ее вместо штанов.

Жена стала возражать.

— Ай муж, люди, увидев тебя в таком странном одеянии: в красной женской юбке и в мужской рубашке и папахе — будут смеяться над тобой и примут тебя за сумасшедшего. Ты в такой одежде будешь выглядеть наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Лучше одевайся во все мое, а на голову повяжи платок. Тогда они, подумав, что ты тоже женщина, не будут обращать на тебя внимания, и ты сможешь пройти незамеченным, — посоветовала жена.

Шими, который гордился, что он мужчина и носит на голове папаху, услышав это, почувствовал себя оскорбленным и очень возмутился.

— В своем ли ты уме?! Ни в коем случае! — горячо запротестовал Шими, сразу хватаясь за папаху. — Лучше уж пусть я буду наполовину мужчиной, чем целиком женщиной.

## МЕСТЬ

Однажды Шими Дербенди купил свежую баранью ляжку и решил приготовить из нее шашлык. Он развел во дворе мангал, принес вертела и, вооружившись острым ножом, принялся нарезать мясо мелкими кусочками. Но в это время его собака, вертевшаяся возле Шими, увидев удобную минуту, утащила ляжку прямо из-под его

носа. Боясь, что хозяин отнимет у нее добычу, она бегом выскочила на улицу.

Огорченный и разозленный Шими, бросив нож, схватил палку и погнался за собакой. Но пес, еще крепче зажав в зубах мясо, пустился во весь дух.

Так и не сумев настичь злополучную собаку, Шими, усталый, запыхавшийся и злой, вернулся назад. Но увидев возле ворот своего дома другую собаку, такую же черную, как его, он набросился на нее с палкой, срывая на ней свое зло. Жена Шими Дербенди, увидев это, крикнула ему:

— Ай муж, что ты делаешь?! Причем тут эта бедная собака. Зачем ты ее зря избиваешь? Не она же унесла мясо?

— Замолчи ради бога! Ты всегда лезешь не в свое дело,— с досадой произнес Шими Дербенди.— Разве ты не видишь, что она тоже черная?!

## СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

В течение долгого времени жена Шими Дербенди рожала ему одних дочерей. Это очень огорчало и расстраивало его. Боясь на всю жизнь остаться «хьомолом»<sup>1</sup>, Шими, как это велит обычай татов, отрастил бороду и стал носить красный кушак — «кушак бездетности», чтобы бог обратил внимание на его «горькую участь» и даровал ему сына. Родственники, друзья и просто знакомые в разговоре с ним говорили ему, как это принято в обращении к «хьомолу»: «Да будет счастливым твой конец», что означало пожелание, чтобы у него родился мальчик.

Так прошло несколько лет. И вот однажды Шими Дербенди появился на улице без красного кушака на поясе и без бороды. Обрадованные друзья и знакомые Шими, решив, что у него родился сын, кинулись к нему с вопросом:

---

<sup>1</sup> У татов мужчину, который имеет дочерей, но не имеет сына, называют «хьомолом», то есть несчастным бездетным. Суевенный тат-«хьомол» носил специальный красный кушак («кишди хьомоли» — «кушак бездетности») и носил бороду, чтобы бог смилостивился над ним и дал ему сына. При обращении к «хьомолу» обычно говорят: «Да будет счастливым твой конец!» (Прим. автора.)

— Ай Шими, тебя можно поздравить со счастливым концом?

— Друзья мои, если считать счастливым концом то, что моя дрожайшая супруга теперь вовсе перестала рожать, можете поздравлять меня сколько вам влезет,— с горькой усмешкой ответил Шими.

### «ЧУЖОЙ ПОКОЙНИК СПЯЩИМ КАЖЕТСЯ»

Однажды молодой Шими, идя по улице, увидел, как дюжий полицейский, тыча дубинкой в спину худому оборванному человеку, гонит его теред собой. Стоило тому чуть замедлить шаг или споткнуться, полицейский тут же обрушивал на него дубинку.

Шими остановил полицейского и осторожно спросил его:

— Почему ты бьешь этого несчастного и куда ведешь его?

— Он вор! — сердито воскликнул полицейский. — Украл хлеб в чужой лавке, и я веду его к господину судье.

— Он, наверное, был голодный, поэтому украл, — пытался заступиться за арестованного Шими Дербенди. — Но если, несмотря на это, ты считаешь его вором, зачем же вора вести к вору?

— Как это так: вора вести к вору?! — вытаращил на него глаза блюститель порядка.

— Очень просто, — произнес Шими Дербенди. — Ведь наш господин судья — вор первой руки. Правда, он не ворует хлеб из чужой лавки, зато делит с крупными ворами и преступниками награбленное, незаконно присвоенное, спасает их от тюрьмы и наказания и сам наживается на этом.

Полицейский принял слова Шими как оскорбление в адрес господина судьи и лично себя.

— Убирайся вон! — рявкнул на Шими страж порядка. — Если еще хоть одно слово скажешь в защиту этого преступника или против судьи я арестую тебя да еще огрею как следует дубинкой.

Сказав это, полицейский грубо толкнул «преступника» и погнал его дальше. Шими, до глубины души возмущенный наглой выходкой полицейского, его оскорби-



тельной угрозой, неожиданно напал на него, вырвал из его рук дубинку и изо всей силы обрушил ее на его голову. Полицейский, как куль, упал на мостовую. Арестованный, воспользовавшись этим, сразу дал стрекоча.

Шими, поняв, что его дело табак, тюрьмы и наказания ему теперь не миновать, быстро прибежав домой, объявил жене: если за ним придут, пусть скажет, что он умер.

Предупредив жену, Шими сломя голову кинулся в другую комнату, быстро занавесил угол, скинул с себя одежду и растянулся нагишом на голом полу, поставив у изголовья зажженную лампу.<sup>1</sup>

Не прошло и часу, как за Шими Дербенди явился сам полицмейстер. Его сопровождал тот самый полицейский, которого Шими ударил дубинкой по голове. Оба были разъярены и злы, как бесы. Услышав от плачущей жены Шими о том, что ее муж внезапно скончался, полицмейстер, не веря ей, грубо оттолкнул ее и влетел в дом.

Подойдя к углу, полицмейстер сорвал занавес и, опустившись на корточки, немедленно приступил к осмотру «покойника». Убедившись в том, что перед ним лежит не покойник, а живой человек с завидным здоровьем, полицмейстер встал и, весь красный от гнева, ударил его носком сапога в бок.

— Собака! Разбойник!—закричал он, точно взбесившись.— Натворил дел, а теперь притворяется покойником или просто спит без задних ног и в ус себе не дует!

Шими, видя, что просчитался, и боясь как бы его не выволокли на улицу в таком неподобающем виде, если он сейчас же не «воскреснет», сразу открыл глаза. Поднявшись со своего «смертного одра», Шими посмотрел в злое лицо полицмейстера, а потом промолвил с насмешкой и досадой в голосе:

— Э-э-эх, господин полицмейстер, неужели вы, такой важный хаким, до сих пор не знаете то, что знают все: как чужое горе рассказывается навеселе, так и чужой покойник спящим кажется?..

---

<sup>1</sup> По обычаю татов, когда умирает человек, его раздевают и кладут на голом полу, у изголовья покойного ставят зажженную лампу, угол, где его кладут, занавешивают простыней. (Прим. автора.)

## ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ

Однажды жена Шими Дербенди тяжело заболела, и у нее начался сильный жар. Что бы ни предлагал ей поесть обеспокоенный и встревоженный муж, она от всего отказывалась.

— Не могу, душа не принимает ничего,— жалобно проговорила она. Потом немного помолчав, добавила: — Если бы ты принес мне арбуз с базара, я, наверно, покушала бы, немного освежилась.

— Не то, что арбуз, клянусь прахом твоего отца, со дна моря тебе жемчужину достану, лишь бы ты поправилась, встала на ноги,— с готовностью отозвался муж.

Через час Шими Дербенди, обливаясь потом, возвращался с базара, неся под мышками два здоровенных арбуза. Но когда он зашел к себе во двор, он, вдруг охваченный каким-то сомнением, остановился в раздумье.

— В народе говорят: «Как нельзя вместить две любви в одно сердце, так и невозможно удержать два арбуза в одной руке». А что если я проверю сейчас, насколько верна эта народная мудрость,— стал рассуждать Шими Дербенди.— Правда, испытать: можно ли две любви вместить в одно сердце, мне в мои годы поздно, да и неприлично, а вот попробовать: можно ли удержать два арбуза в одной руке, — это, конечно, я сумею.

Едва Шими Дербенди приступил к своему опыту, как оба арбуза, скатившись у него с руки на землю, с грохотом разбились, смешавшись с пылью и грязью.

Когда сконфуженный Шими Дербенди вошел в комнату к больной жене, та, увидев его с пустыми руками, спросила:

— Ай муж, где же твой обещанный арбуз?

Шими ничего не оставалось, как откровенно рассказать о том, что произошло с арбузами.

— Ой, горе мне с тобой,— в сердцах простонала жена, почти плача.— Скажи: есть ли на свете дурнее тебя человек после этого?

Услышав такой упрек, Шими тоже рассердился.

— Ладно, я, допустим, такой, но и ты тоже хороша, нечего сказать,— напустился он на больную жену.— Надо же было тебе заболеть и жаждать этого проклятого арбуза именно в такое время, когда мне в голову пришла интересная идея!..

## КАК ШИМИ ДЕРБЕНДИ ЗАМЕЩАЛ БОГА

Однажды, когда Шими Дербенди был еще молодым, он, поругавшись с женой, ушел из дому. Был поздний вечер. Побродив часа два по темным, пустынным улицам Дербента, Шими незаметно для себя очутился где-то на окраине города возле старого нимаза с невысокими ветхими стенами и плоской квадратной крышей. Продолжая все еще сердиться на жену, Шими решил не возвращаться до самого утра домой. Легко, без особого труда взобравшись на крышу нимаза, он решил переночевать тут. Посредине крыши над самым амвоном, откуда раби возносил молитвы богу, зияло круглое отверстие.

Выбрав место поудобнее, Шими расположился спать, подложив папаху под голову. Он только начал засыпать, как вдруг чей-то прогяжный жалобный голос, доносившийся из нимаза, заставил его снова открыть глаза. Шими тихонько подполз к отверстию и заглянул вниз. В пустом, полутемном и неудобном помещении нимаза на самом амвоне, перед горящей свечой стоял какой-то человек с худым, заросшим, изможденным лицом, одетый в рваный бешмет, облезлую папаху и истоптанные чарыки.

— Внемли, о боже! Внемли, о боже! — молитвенно воздев глаза к отверстию и простерев руки вверх, громко произносил бедняк одно и то же.

«Должно быть, у этого человека большое горе, большое несчастье, поэтому он пришел сюда искать у бога помощь и поддержку», — подумал про себя Шими Дербенди, и ему стало очень жаль бедняка. Чтобы узнать, какая беда привела его в такое время в божий храм и попытаться как-нибудь утешить его, Шими решил выдать себя за самого бога.

— Я слушаю тебя, о мое создание. Говори, не бойся, что ты хочешь от меня, господа бога твоего, всемогущего и всемилостивого? — таинственным голосом произнес Шими сверху.

— Ах, боже, да будет благословенно священное имя твое вовек, аминь! Как я рад, что наконец-то ты услышал голос раба твоего, — взволнованно проговорил бедняк и его худое, скорбное лицо осветилось надеждой. — Сколько раз, о боже, я зывал отсюда к тебе, к твоему милосердию, а ты все не откликался на мой зов. И я,

грешным делом, начал было думать, что ты, прости меня, о господи, если не на оба уха, то на одно из них, как раз на то, которым ты прислушиваешься к нашей земле, совсем оглох, а на тот глаз, которым с седьмого неба зришь на нее, безнадежно ослеп. Поэтому я решил, что ты ничего не слышишь и дальше своего носа ничего не видишь, и что память у тебя начисто отшибло... Конечно, шутка ли сказать, годы-то у тебя какие. Ведь от того времени, как ты сотворил наш бранный мир ни мало ни много больше пяти тысяч лет прошло<sup>1</sup>. Не зря же говорится: «Когда скакун старится, он становится клячей». И вот поэтому в мире, созданном тобой, царит полная неразбериха. Одному достался плов, другому лишь аппетит, один с жиру бесится и нет стыда в глазах, а другой принижен, задавлен нуждой, белый свет ему не мил...

Слушая излияния бедняка, Шими чуть не схватился за голову, думая, что им не будет конца и края. Будь, конечно, он настоящим богом, ни за что не стерпел бы такого богохульства. Он тут же приказал бы своему разудалому ангелу Гавриилу прокатиться по небесам на своей огненной колеснице, оглушить грешника громом, ослепить молнией, а черному ангелу смерти Азраилу не медленно отправиться на Землю и забрать его грешную душу.

Но Шими Дербенди сам был таким же бедняком и нищим, как он. Поэтому, вежливо перебив бедняка, он лишь с дружеским укором заметил ему:

— О мое грешное создание, веревка хороша длинная, а речь — короткая. Скажи коротко, что тебе от меня хочется. Ведь у меня работы — непочатый край, голова кругом идет, почесаться некогда. Надо следить да следить за тем, что творится на вашей грешной земле и в потустороннем мире — аде и рае, совершать суд праведный над живыми и мертвыми, да и за ангелами, глаз нужен, чтобы они не пустились во все тяжкие: не пьянствовали без просыпу, не вздурели от гордости и важности, что я их так возвысил, приблизил к себе... Один этот проклятый иблис — дьявол чего стоит! Вечно путается у меня под ногами, мешает, то и дело норовит напакостить, сбить меня с толку. Словом, дел много...

---

<sup>1</sup> Согласно библейскому утверждению, мир был создан богом пять тысяч семьсот с лишним лет тому назад.

— Прости меня, о боже, если сказал лишнее и отнял у тебя столько времени: горе делает человека многословным,— виновато произнес бедняк.— Я очень беден. Дома у меня куча детей. Сам знаешь: «Богачу везет на деньги — бедняку на детей». И вот они, мои детки, сидят дома без куска хлеба, голодные, холодные, как осиротевшие птенчики в забытом гнезде. Я весь в долгах. Кредиторы одолевают меня. Прошу тебя, о боже, сжался над твоим рабом: дай мне деньги, чтобы накормить голодных детей, расплатиться с моими назойливыми кредиторами, обрести душевный покой.

Шими Дербенди, выслушав просьбу бедняка, почесал затылок. Он не знал, что ему ответить. А бедняк стоял и ждал.

— Не могу я тебе дать денег, у меня у самого в кармане ветер свистит,— словно стыдясь своей беспомощности, робко произнес «бог».

Бедняк, конечно, не поверил. Он решил, что бог просто надумал немного потешиться над ним, пошутить. А почему бы и нет? Верблюды и то, говорят, один раз в год смеется. А если бог изволит шутки шутить, то это совсем неплохо, видно, он сейчас в хорошем расположении духа, поэтому можно считать, что его дело в шляпе. И бедняк сразу воспрянул духом.

— Хе-хе, нашел дурака! — скромно засмеялся бедняк.— Если захочешь — сможешь, для тебя это раз плюнуть. Тебе стоит только произнести: «Да будет сей бедняк богатым» — и я в то же самое мгновение стану таковым.

Шими, который сам за какие-нибудь жалкие гроши от зари до зари гнул спину до седьмого пота на виноградных плантациях дербентских богачей, слушая слова бедняка, чуть не покатылся со смеху, но сдержал себя, чтобы не испортить дело. Он решил до конца выдержать роль, которую добровольно взял на себя. В детстве Шими некоторое время учился в нубо-хунде<sup>1</sup>, поэтому кое-что смыслил в священном писании и знал молитвы. И чтобы оправдать свою «божью» волю, невозможность дать ему деньги и отбить у него охоту повторять свою просьбу, Шими задумал сослаться на некоторые известные молитвы.

---

<sup>1</sup> Нубо-хунде — начальная религиозная школа.

— О мое создание, разве в праздник Нового года ты не был в моем храме, не слышал слова «новогодней молитвы», где сказано, что я — твой бог, «в Новый год записываю, а в Судный день подписываю, кто разбогатеет, кто обеднеет, кто поднимется, кто опустится...»<sup>1</sup>. Новый год, как ты знаешь, прошел, а на этот год для тебя я не предусмотрел ни денег, ни почета. Потерпи до следующего нового года, а там видно будет.

Бедняк сразу сник, низко опустил голову, потом, медленно подняв ее, сказал голосом обреченного:

— О боже, терпеть у меня больше нет сил. Прошу тебя, пришли Азраила, пусть возьмет мою душу — я не хочу жить!

— И этого не могу, твой час еще не наступил, — заявил «бог». — Не будь, конечно, ты амоворисом<sup>2</sup>, мне не пришлось бы сейчас тратить время, объяснять тебе то, что в той же «новогодней молитве» сказано, что я — бог твой, в Новый год решаю: «сколько погибнет, сколько родится, кто будет жить, кто умрет...» На этот год я тебе смерть не назначил, потому не могу отменить свое божественное решение и раньше времени лишить тебя жизни.

Бедняк опять задумался, но не надолго.

— О боже! — с отчаянной мольбой в голосе воскликнул он. — Коли ты не можешь дать мне в этом году ни денег, ни смерти, прошу тебя, яви свою милость, на время заведи меня к себе.

— Это я могу, — охотно согласился «бог». — Я сейчас же спущу веревку, а ты крепко обвяжи себя ею вокруг пояса, и я тебя прямехонько подниму к себе на крышу... то есть я хотел сказать — на седьмое небо (это опять иблис, пропади он пропадом, старается сбить меня с толку). И в награду за твои земные страдания и мытарства помешу тебя в эдеме — самом лучшем уголке рая, где текут молочные реки в кисельных берегах. У тебя будет столько жен, сколько их было в гареме моего любимца — премудрого царя Соломона<sup>3</sup>.

Шими торопливо развязал веревку на поясе, кото-

---

<sup>1</sup> Слова из «новогодней молитвы» татов.

<sup>2</sup> А м о в о р и с — неграмотный, неумеющий читать священные книги.

<sup>3</sup> Согласно библейскому преданию, царь Соломон имел семьсот жен и триста наложниц.

рую всегда носил с собой в расчете на то, что, может, кому-нибудь понадобится его услуга: отнести ношу, перетаскать тяжести. Один конец веревки он опустил через отверстие, а другой крепко держал в руках.

Со словами «ё худой»<sup>1</sup> бедняк крепко обвязал себя веревкой и Шими, напрягаясь изо всех сил, стал поднимать его к себе наверх. Но едва голова бедняка в облезлой папахе коснулась отверстия на крыше, как вдруг произошло непредвиденное: оборвалась веревка и бедняк камнем полетел вниз, с шумом грохнулся об пол, закричав от страха и боли.

— О мое создание! — громко окликнул бедняка сверху встревоженный «бог». — Я, ей-богу, не виноват, это он, дьявол, будь он еще и еще раз проклят, помешал мне исполнить твое желание — забрать тебя на небо. Скажи, случаем ты не повредил себе что-нибудь?

Бедняк, злой, надутый, молча поднялся и отряхнулся. Потом, криво улыбаясь, он посмотрел наверх и голосом, полным горечи, гнева и иронии, сказал:

— Да поди ты прочь!.. Тоже мне бог «всемогущий и всемилостивый...» Какой же ты всемогущий, если не можешь у себя под носом справиться с одним дьяволом, и какой же ты всемилостивый, если, кроме синяка на заднем месте, ничего не можешь дать голодному бедняку!..

## ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ШИМИ ДЕРБЕНДИ

В один из осенних дней Шими Дербенди вез на своем осле две большие корзины винограда. Погода стояла пасмурная, все время моросил дождь. Но осел покорно нес свою тяжелую ношу. За всю дорогу он ни разу не споткнулся, не застрял в луже, не упрямылся, не брыкался.

Загнав осла во двор, Шими тотчас же снял с него корзины и с удовольствием рассказал жене, как великолепно вело себя животное всю дорогу до самого дома. Сказав это, Шими, тут же схватив палку, к изумлению жены, принялся вовсю колотить осла. Жена бросилась к нему, пытаясь схватить его за руку.

---

<sup>1</sup> «Ё худой» — во имя бога.

— Ай муж, с ума, что ли, спятил!? Ты же только что хвалил его, и вместо того, чтобы погладить, поласкать бедное животное, бьешь его?

— Отстань, жена, подобру-поздорову! Не твоего ума это дело! — угрожающе закричал на нее Шими Дербенди. — Сам знаю, что делаю. Приласкать осла, все равно, что похвалить глупого: у него сразу прибавится спеси и он возомнит о себе бог знает что. Поэтому глупому похвала, а ослу ласка — одинаково вредны.

## СРЕДСТВО ОТ ОЖИРЕНИЯ

Сноха Шими Дербенди была безобразно толстой. Поскольку она приходилась родной племянницей жене Шими, свекровь очень жалела ее и носилась с ней, как курица с яйцом. Она не только не пускала свою племянницу на работу в колхоз, даже дома сама делала все за нее. А сноха, избалованная чрезмерным вниманием и заботой сердобольной тетушки, только и знала: ела, пила за троих и — на боковую.

Но Шими, человек работающий и не терпящий безделья, смотрел косо на сноху-лежебоку. Вдобавок, жена заставляла Шими водить нелюбимую сноху по разным врачам, чтобы они дали ей лекарство от ожирения. Сколько раз Шими пытался убедить жену в том, что самое лучшее и действенное средство растрясти жирок — это заставить сноху работать дома, на колхозных виноградниках на свежем воздухе, — все напрасно. Да и бесконечные, бесполезные хождения по врачам порядком надоели старику, и он не знал, как избавиться от этого дела.

И вот однажды после очередного визита к врачу Шими Дербенди, как только вернулся домой, тут же пригласил к себе в отдельную комнату жену и сына для тайного разговора. Но прежде чем произнести слово, Шими, опустив голову на грудь, принялся плакать навзрыд. Сын, почувствовав что-то тревожное, побледнел, а жена, схватившись за голову, горестно воскликнула:

— Вай, горе нам! Скажи, какое несчастье обрушилось на нашу голову?!

— Да еще какое горе — непоправимое! — в тон жене произнес Шими Дербенди, вытирая папахой слезы. По-



том, немного успокоившись, добавил тихим, скорбным голосом: — Я сейчас был с нашей дорогой снохой у самого знающего врача. Он сказал мне по секрету, что у нее тяжелая и неизлечимая болезнь и что она протянет не больше двух-трех месяцев. Поэтому, мои дорогие, я вызвал вас, чтобы предупредить: не надо ее больше никуда водить — бесполезно. Все эти врачи со своими лекарствами, к несчастью, помогут ей теперь, как мертвому припарки. Об одном прошу я вас: будьте к ней еще более внимательнее, ласковее, не говорите ей ничего такого, что могло бы испортить ее душевный покой и заведный аппетит. Жить-то ей, бедняге, осталось без году неделя.

Не зря говорится, что тайна, известная троем, уже не тайна. Как ни старались скрыть от снохи ее «болезнь», она каким-то образом узнала обо всем. И от страха, что скоро умрет, сноха стала таять на глазах, как свеча.

По истечении трех месяцев, когда Шими увидел, что сноха заметно спала с тела, очень похудела, он вновь пригласил к себе жену и сына для тайного разговора. Шими, хитро улыбаясь, сначала молча торжественно посмотрел на них, а потом поразил их в самое сердце своим неожиданным известием:

— Хочу обрадовать вас, мои дорогие, приятной для вас новостью: нашей снохе, слава богу, ничего не грозит. Это я все выдумал...

Старуха сперва остолбенела, услышав такое, а потом, едва придя в себя, накинулась на мужа, как разъяренная тигрица.

— Да будь ты трижды проклят со своими выдумками, старый дурак! Разве такими вещами шутят?! О боже! С кем судьба свела меня, разнесчастную!?

Шими видит, что дело оборачивается иначе, чем он ожидал, принял ее мягко увещевать разошедшуюся жену:

— Ай жена, какая ты несправедливая? Вместо того, чтобы похвалить, поблагодарить меня, ты распустила язык и ругаешь меня. Нехорошо!..

— За что же тебя хвалить и благодарить?! — еще пуще разошлась жена. — За то, что ты своей дурацкой выдумкой чуть было не загнал на тот свет мою бедную племянницу?!

— А за то, — строго произнес Шими, тоже рассердившись, — что я, желая угодить вам, несмотря на свой пре-

клонный возраст, возил, таскал эту корову по разным врачам, чтобы найти для нее средство от ожирения. Вот я и нашел — что же вам еще?! А чтобы ее опять не разнесло, хватит ей лежать на боку и гонять лодыря, пусть поработает.

## НОВОГОДНЯЯ ИНДЮШКА

На Новый год старик Шими Дербенди имел обыкновение собирать всех своих сыновей, дочерей и зятьев, где бы они ни находились, и весело проводить праздник в семейном кругу. И вот в канун Нового года Шими купил большую жирную индюшку с крашеными перьями на хвосте и поместил ее в сарае.

На следующий день Шими, едва проснувшись, подвязался фартуком и, вооружившись большим кухонным ножом, в бодром настроении зашел в сарай, чтобы на радостях зарезать индюшку. Но он был очень удивлен и обеспокоен, не обнаружив птицы в сарае. Шими кинулся искать ее повсюду, но она точно сквозь землю провалилась.

В то самое время, когда Шими искал пропавшую индюшку, со двора соседа шел аромат жареного мяса. Шими подошел к забору, отделявшему его двор от двора соседа, и заглянул внутрь. И то, что он там увидел, неприятно поразило Шими. В середине двора сын соседа, парень лет двадцати, потирая руки и отбивая ритм ногами, весело хлопотал вокруг горящего мангала, на котором жарилась большая индюшка. По крашеным перьям, которые валялись вокруг, Шими сразу понял что это и есть его индюшка.

Шими хорошо знал бессовестного похитителя своей новогодней индюшки. Он был известен во всем магале как лоботряс, кутила и картежник. По ночам между кутежами и азартной игрой он время от времени любил делать вылазки в соседние дворы, лазить по чужим сараям и погребам и тащить, что плохо лежит. Уже не одну курицу и утку унес он из курятника Шими и закусил ими в компании своих дружков, таких же негодников и кутил. А его родитель смотрел на «милые шалости» своего великовозрастного сына-тунеядца сквозь пальцы, не придавал им значения.

Шими, ничего не сказав, вернулся в комнату. Захватив веревку, он направился к соседу во двор. Делая вид, как будто ничего не произошло, Шими вызвал соседа и соседку из дому. Он вежливо, почтительно поздравил их с Новым годом, а потом направился к ним в сарай и через несколько минут вышел оттуда, ведя на веревке их козу.

— Ай Шими, куда ты уводишь нашу козу? — в один голос спросили у него удивленные сосед с соседкой.

— Как куда? Зарезать на Новый год, — совершенно серьезно ответил Шими.

— Ведь это наша коза, а не твоя!

— Ну и что же! — усмехаясь в бороду, спокойно произнес Шими Дербенди. — Зато индюшка, которая жарится сейчас у вас на мангале, — моя. Считайте, что мы с вами обменялись новогодними подарками: от меня вам — индюшка, от вас мне — коза. Приятно, когда соседи на Новый год делают друг другу подарки...

## КИНЖАЛ И ХЛЕБ

Когда Шими Дербенди был бедняком и жил в крайней нужде, к нему однажды ночью забрался вор. Шаря в темноте по комнате, он нечаянно зацепил Шими за ногу, и тот проснулся от толчка. Вор, испугавшись до смерти, пулей выскочил из комнаты. Шими, сразу вскочив с постели, подбежал к нише, поспешно взял оттуда последний чурек, снял со стены ржавый кинжал в деревянных ножнах и, как был в одном нижнем белье, пустился вдогонку за воров.

— Стой! Стой! — кричал Шими, одной рукой размахивая кинжалом, а другой крепко прижав хлеб к боку.

Но как Шими ни надрывал горло, ни гнался за воров, он не смог его ни остановить, ни догнать. Вор оказался очень резвым. Шими вернулся домой, с трудом переводя дух, злой и усталый. Хлеб положил в нишу, кинжал повесил на стену, а сам обратно лег в постель.

— Ай муж, клянусь создателем, какой ты странный человек: кто бежит за воров с хлебом? — спросила его жена.

— Ай жена, ты ничего не понимаешь, — с досадой в голосе проговорил Шими. — Все в городе знают, что

я самый бедный человек и что ни то, что ночью в темноте, но и днем с огнем у меня ничего не найдешь. Наверняка, знал об этом и вор. Но он, несмотря на это, все же забрался ночью ко мне: видно, бедняга, был очень голоден. И вот я хотел задержать его, накормить, а потом надавать ему пару оплеух и отпустить с миром на все четыре стороны.

— Ну, допустим это так,—вроде согласилась жена.— А зачем ты брал кинжал?

— Чтобы он, дурак, испугавшись кинжала, не отнекивался и без разговора принял мое угощение. Ведь нет более тяжкого греха, чем отпустить человека голодным из дома. Но если он ушел голодным из моего дома, бог свидетель, я не виноват в этом, — печально вздыхая, заключил расстроенный Шими Дербенди.

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Говорят, в доме Шими Дербенди работники горжилуправления однажды произвели капитальный ремонт. Он так затянулся, что за это время не то что капитальный ремонт, можно было бы силами тех же людей, которые работали у него, выстроить целый дворец.

Никто не знал, что пережил и испытал Шими Дербенди, пока у него в доме происходил этот злополучный капитальный ремонт (он никому об этом не говорил, не жаловался), но зато все замечали, что характер Шими Дербенди с тех пор совсем изменился, будто его подменили. Он потерял свой былой веселый нрав и общительность, ходил мрачнее тучи.

Раньше Шими, почему-либо рассердившись на жену, срывая сердце, кричал на нее: «Ай жена, да чтоб сгорел твой отец!» Теперь после этого печального случая он ругался по-другому: «Ай жена, да чтоб работники нашего горжилуправления произвели капитальный ремонт в доме твоего отца!..»

## ЖЕРТВЕННЫЙ ПЕТУХ

Был канун праздника Судного дня. Как только Шими Дербенди вернулся с виноградников, где он почти весь день работал, его набожная жена, которая с нетерпением ждала его прихода, сказала ему:

— Ай муж, пока еще не поздно, отправляйся немедленно на базар, купи одного жертвенного петуха для тебя и одну жертвенную курицу для меня, покрутим их над нашими головами, как этого требует священный обряд, и будем чистыми перед богом<sup>1</sup>.

Шими сейчас до смерти не хотелось идти на базар. Он очень устал и порядком проголодался, а на печке варился хинкал, распространяя по комнате аппетитный запах.

— Ай жена, клянусь памятью твоих усопших, никакого греха или вины я за собой не чувствую, — принялся Шими растолковывать жене.—Я, например, никогда никого не обманывал, как это делает твой милый братец-мясник, выдавая покупателям козлятину за баранину, третий сорт мяса за первый, чтобы набить себе карман... Я всю жизнь добывал себе хлеб насущный честным трудом. Это раз. А во-вторых, что эта за глупая выдумка: почему бедный петух должен подвергаться такому шельмованию и позорной смерти за мои или чужие грехи? Я еще мог бы понять, если бы священный обряд, допустим, требовал бы ошельмовать петуха и покарать его за безнравственное поведение — многоженство. Но многоженцами были и святые наши пророки. Столько жен, сколько было у любимца бога царя Соломона, ни одному, даже самому любвеобильному петуху, никогда не снилось...

Шими собирался привести и другие доказательства о нелепости этого обряда, лишь бы не идти на базар, но жена, не на шутку разозленная богохульством мужа и тем, что он так нелестно отозвался о ее брате, оборвала Шими на полуслове. Она закатила ему такую истерику, что для миролюбивого и добродушного Шими Дербенди родной очаг вдруг показался страшнее поля боя, где падают бомбы и рвутся снаряды. Шими, прикусив язык, скорее схватил корзину, выбежал из комнаты и, будто чувствуя за собой погоню, во весь дух помчался на базар.

---

<sup>1</sup> Верующие таты накануне праздника Судного дня совершают жертвоприношение. Над головой мужчины крутят жертвенного петуха, а над головой женщины — жертвенную курицу, читая при этом специальную молитву, которая якобы снимает с верующих все грехи. (Прим. автора.)

Вскоре Шими вернулся, неся в корзине петуха и курицу. Он молча поставил корзину в угол. Затем, взяв из корзины курицу, сел посредине комнаты. Держа курицу за ноги, он начал крутить ее над своей головой, громко произнося слова молитвы-заклинания.

Жена, видя, что муж вместо петуха крутит ее курицу, подскочила к нему и крепко схватила его за руку.

— Ай муж, ты с ума сошел?! Почему ты крутишь над головой курицу вместо петуха? Ты же мужчина, а не женщина!

— Ай жена, ради твоих покойных родителей, отстань от меня! Сам знаю, что делаю!—закричал на нее Шими, весь багровея и с трудом удерживая в руке курицу, которая, испугавшись перепалки между мужем и женой, начала тревожно кудахтать и так неистово хлопать крыльями, что от нее полетели перья в разные стороны. — Какой я мужчина! Будь я действительно мужчиной, разве бы я слушал такую полоумную, вздорную женщину, как ты?!

## КАК ШИМИ КУПАЛСЯ В БОРЩЕ

Однажды Шими Дербенди вместе с сыном пришлось побывать в чужом городе. Когда наступило обеденное время, сын повел отца в столовую. По заказу сына на первое им подали борщ с мясом. Шими никогда не ел борща и даже не знал, как он называется.

— Сын, что это за кушанье? — подсозрительно косясь на борщ и с брезгливой миной мешая ложкой в тарелке, в которой плавал кусок черного обезжиренного мяса, спросил он.

— Это называется борщ!

— И сколько он стоит? — любопытствовал старик.

— Один рубль, — ответил сын.

Шими даже подпрыгнул от удивления и досады, услышав это.

— Слушай, сын, как им не стыдно! — громко, с нескрываемым возмущением произнес Шими Дербенди, демонстративно отодвигая от себя подальше тарелку с борщом. — Пусть они придут к нам в Дербент, я их бесплатно искупаю в этом... борще.

Сын, стыдясь за отца, огляделся по сторонам, а потом тихо попросил:

— Отец, не говори, пожалуйста, так. Люди подумают, что ты выжил из ума и поэтому несешь околесицу.

— Да я говорю тебе истинную правду,—упорствовал старик.—Разве ты не знаешь, сын мой, что наш прославленный дербентский консервный завод целыми потоками сливает такой борщ в море, притом не где-нибудь, а прямо там, где находится пляж. Я сам, слава богу, не раз купался в этом борще. И должен сказать тебе, что никто из руководителей завода, дай бог им еще больше ума и сообразительности, ни копейки не требовали у меня за это. А тут за тарелку такой сомнительной жидкости хотят содрать с нас по одному рублю. Кукиш с маслом!

— Ну, допустим, это так,—примирительно произнес сын, решив, что сейчас не время с ним спорить.—Из-за этого нам теперь оставаться без обеда?

— А разве я сказал, нам надо оставаться без обеда?—обиделся Шими.—Пусть уберут свой борщ и подадут нам что-нибудь вроде нашего дагестанского хинкала с чесноком и уксусом или шашлык с перцем и сухим вином. И пусть, пожалуйста, не думают, что если у меня на голове баранья папаха, то и голова у меня, дескать, тоже баранья. То-то!

## БОЖЬИ ШУТКИ

Давно это было, когда Шими Дербенди был бедняком. Однажды он привел своего осла на зеленую лужайку, расположенную за высокими крепостными стенами, недалеко от знаменитого Шах-булага<sup>1</sup>, и пустил его пастись. Через некоторое время, когда Шими стоял посреди лужайки и следил за животным, мимо него в черном блестящем фэтоне, подняв нос, в обнимку с молодой и очень красивой женщиной, прокатил толстопузый богач. Шими, точно зачарованный, долго смотрел вслед

---

<sup>1</sup> Согласно преданию, бытующему среди жителей Дербента, источник Шах-булаг, вода которого отличается исключительной прозрачностью, мягкостью и вкусом, был сооружен в связи с приездом в Дербент шаха Аббаса, где он якобы отдыхал со своей свитой. Другое предание связывает его открытие с приездом в Дербент знаменитого багдадского халифа, героя сказок «Тысячи и одной ночи» Гаруна аль-Рашида. (Прим. автора.)

мчащемуся по дороге между виноградниками фаэтону. Потом, когда он наконец скрылся из виду, Шими вдруг почувствовал глубокую горечь и досаду на судьбу и острую жалость к самому себе. И он, подняв глаза к небу, принялся громко сетовать на свою долю:

— Ах, боже! — воскликнул Шими Дербенди. — Ты хоть бы один раз в жизни осчастливил, обрадовал бы меня, бедняка, чем-нибудь. Ведь как-никак я тоже твое создание, как и этот богач, который только что проехал в фаэтоне с женой, подобной райской гурии, как владелец обширных виноградников и рыбных промыслов миллионер Овроом Дадашев или Сафтар Ахундов<sup>1</sup>, у которого в самом центре города стоит такой дом-дворец, что и сам султан не постеснялся бы пожить в нем в свое удовольствие. А у меня, кроме вот этого облезлого ишака, некрасивой и сварливой жены, слепой, как курятник, глинобитной лачужки да кучи голодных и сопливых детей — ничего за душой. Почему мне такая участь? Где же, о боже, твоя справедливость?!

С этими невеселыми мыслями усталый и расстроенный Шими опустился на траву возле своей скотины и вскоре, пригретый ласковым весенним солнцем, незаметно для себя погрузился в дрему.

В то самое время, когда Шими дремал, трое гуляк-весельчаков, которые кутили у прохладного источника и слышали, как Шими роптал на свою судьбу, жалуюсь богу, решили потехи ради разыграть его. Неслышно подкравшись к его ослу, они прямо из-под носа сладко сопевшего во сне Шими утащили животное и спрятали его в кустах терновника, которые росли близ лужайки, и стали наблюдать за ним. А Шими в это время приснился необыкновенный сон. Во сне сам бог, похожий на сказочного великана с трехаршинной белой бородой, каким Шими всегда представлял себе его, обращаясь к нему, кричал с неба голосом, который отдавался трехкратным эхом.

— Ай Шими, встань, продери глаза и ты увидишь, как я тебя сейчас обрадую!

А на самом деле это кричали ему, давясь от разбившего их смеха, гуляки-хитрецы.

---

<sup>1</sup> Овроом Дадашев и Сафтар Ахундов — известные до революции дербентские богачи.



Шими, конечно, не подозревавший никакого подвоха, сразу проснулся и в самом лучшем настроении вскочил на ноги. Но первое, что он заметил к своему удивлению и ужасу, было исчезновение осла. Забыв сразу и о боге и о его обещании, он с тревогой в душе бросился повсюду искать своего пропавшего четвероногого друга. А его и след простыл. Расстроенный и подавленный Шими уже потерял было надежду когда-либо найти своего осла, как вдруг из-за кустов терновника с ликующим ревом, задрав высоко морду, выбежал его ишак. У Шими от радости захватило дух. Он жарко обнял своего осла, прижал его лобастую голову к груди и долго с нежностью и волнением гладил по тощей шее. Но когда его волнение улеглось, Шими, вспомнив о своей просьбе к богу и его обещании, опять поднял глаза к небу и голосом, полным горечи и упрека, громко воскликнул:

— Ай бог, ты бы хоть немного постыдился своей трехаршинной седой бороды! Какой ты странный и легкомысленный!? Неужели для того, чтобы обрадовать меня, бедняка, тебе надо было сыграть со мной такую шутку: сперва спрятать моего осла, а потом помочь мне найти его? Да разве с таким богом когда-нибудь будет на этой земле справедливость?!

## ЛЮБОВЬ И БОРОДА

На днях за все годы нашего близкого знакомства и сердечной дружбы со стариком Шими Дербенди я впервые получил от него письмо. И вот что он мне поведал в этом письме:

«Мир тебе и здравие, сын мой!

Пишет тебе твой старый кунак Шими Дербенди. Хоть ты в своих хабарах (дай бог, чтобы твоих ушей коснулись только добрые хабары!) и величаешь меня «хитрым», но я, сам знаешь, иногда попадаю в такие скверные истории, что ни мой ум и ни моя хитрость не помогают мне выбраться из беды. Говорят же: случается, и умный человек спотыкается и хитрая лиса попадает в капкан.

Про свою новую беду, которая стряслась недавно со мной, я, краснея от стыда, все же решил поведать тебе. И вот почему.

Я знаю (не в упрек я это тебе говорю, сын мой, а в похвалу), стоит мне где-нибудь разок чихнуть, тебе сразу об этом становится известно. А уж про эту скандальную историю: как я, будучи пьяным, пел любовную песню на поминках своего старого друга (упокой бог его душу) и как из-за этого рвали мою бороду — тебе, наверняка, все доподлинно известно. Но я очень не хотел бы, чтобы ты, сын мой, писал об этом в газетах и книгах. Не хочу на старости лет выглядеть посмешищем в глазах твоих почтенных читателей (дай бог им здоровья), потерять их уважение. А для человека с намусом, сам знаешь, лучше лишиться жизни, нежели уважения добрых людей.

Как все это произошло, лучше меня самого, конечно, никто тебе об этом не расскажет. И вот послушай.

Несколько дней тому назад я был на поминках своего друга (к добру будь помянут), с которым в годы нашей молодости мы батрачили на дербентских богачей — владельцев виноградных плантаций и рыбных промыслов, а потом многие годы работали в одном колхозе.

Пришел я туда с опозданием, когда все гости уже сидели за накрытой скатертью, на которой было вдоволь и выпивки, и закуски. Гости, потеснившись, дали мне тоже место. Они, с божьей помощью приступив к траурной трапезе, охотно пили и с аппетитом уписывали еду.

Соседом моим, к несчастью, оказался сторож винзавода, известный у нас в городе выпивоха и пустомеля, одним словом, дурак. Вот где, дорогой друг, я на своем горьком опыте узнал, почувствовал глубокую истину нашей известной поговорки: «Лучше с умным камни таскать, чем с дураком пировать». (Кстати, как твои соседи? Добрые, порядочные люди? Если так, то тебе повезло. В случае, если когда-нибудь вздумаешь покупать дом или поменять квартиру, запомни: сначала узнай, кто твой сосед. Иначе, поверь мне, старику, всю жизнь будешь каяться.) Но я продолжаю свой рассказ.

И вот едва я уселся, как мой сосед, будь он неладен, сразу налил мне полный граненый стакан водки да с таким видом, будто всю жизнь ждал такого случая.

«Дядя Шими,— говорит он мне заплетающимся языком,— тебе это как «штрафное» за то, что опоздал к трапезе. Если ты уважаешь, чтишь память покойного, ты должен выпить этот стакан до дна».

Услышав это, я сначала возмутился, хотел было как

полагается отбрить его, отчитать: какое-такое, мол, может быть «штрафное» на поминках, как будто здесь веселый пир или свадьба какая?! Да и опоздал-то я, должен тебе сказать, не по своей вине. Перед тем, как я собирался сюда, жена хватилась козы, а ее ни в хлеве, ни во дворе нет, точно сквозь землю провалилась. И зная, куда я иду, жена, несмотря на это, насильно выпроводила меня на поиски пропавшей козы. Ты же знаешь, когда ей, моей дрожайшей супруге то есть, взбредет что-нибудь в башку, возражать ей в это время так же бестолку, как пытаться прошибить головой нашу дербентскую крепостную стену. Но, если бы вместо ее любимой козы, пропади она пропадом, упаси бог, потерялся бы мой бедный осел, жена и в ус бы не дула. Вот какая она!

Словом, чего тебе долго голову морочить, я сдержал себя: чего, думаю, говорить человеку, моему соседу за траурной трапезой то есть, когда у него не все дома — все равно впустую. И чтобы он не пристал ко мне как банный лист и прикусил язык, я, собравшись с духом, выпил этот захриман до дна, чтоб ему ни дна, ни покрышки. После этого, надо тебе сказать, я сразу опьянел и стал как очумелый. Говорится же: «Кто пьет до дна, тот живет без ума». А когда я уже был сильно под мухой (может, под нажимом своего назойливого, как осенняя муха, соседа — разрази его гром вместе со мной — я опрокинул «до дна» еще не один граненый стакан этого захримана,—не помню), я к несказанной радости своей... А ты не будешь смеяться надо мной? Впрочем, глупо с моей стороны задавать тебе такой вопрос... Так слушай, дальше что было. Когда я увидел в дверях старуху Шунамит — свою первую любовь — и наши взгляды встретились, у меня захватило дух и все в голове перепуталось. Я сразу забыл, что мы оба старые, седые, наши внуки и внучки, дай бог им счастья, ходят в женихах и в невестах и что мы давя чужие друг другу. О, как я ее любил в юности! Если бы за нее у меня просили бы душу, я бы отдал, не задумываясь. Но ее отец (не к добру будь помянут) просил за нее то, чего у меня не было, — деньги. Я был гол да весел, но — ничего за душой. Да ты, по-моему, должен знать ее, старую Шунамит. Она славится у нас, как самая искусная кейвони<sup>1</sup> и го-

---

<sup>1</sup> Кейвони — главная повариха на свадьбах.

товит такие, не сглазить бы, вкусные свадебные кушанья — язык можно проглотить. Кроме того, если я не ошибаюсь, она приходится троюродной сестрой твоей теще... Кстати, сын мой, она жива еще, твоя теща? Если умерла — царство ей небесное, если жива, скажи: Шими Дербенди кланяется ей.

Да я уже совсем забыл, на чем я остановился... Вот вспомнил! После того, как я увидел здесь Шунамит, мне вдруг с пьяных глаз показалось, что я не на поминках, а на свадьбе своего друга (да простит он мне мое прегрешение) и что я опять молод и влюблен, как соловей в весеннюю пору. И я, забыв обо всем на свете, широко раскинув руки, как два крыла, и поедая ее глазами, вдруг запел во все горло «Песнь песней» пророка Соломона, которую я не раз пел ей, когда мы были юны и влюблены друг в друга:

«...Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих... Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви... Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее — стрелы огненные...»

Не помню, сын мой, сейчас: долго ли я пел эту самую песню, коротко ли (я чувствовал себя как во сне), но зато очень хорошо помню, как в самый разгар пения кто-то с возмущенным криком, точно разъяренный тигр, набросился на меня и обеими руками вцепился мне в бороду.

— Да чтоб отсох твой язык, греховодник и безбожник! — орал он на весь дом, дернув изо всей силы меня за бороду, как все равно разозленный хозяин своего (не про нас с тобой будь сказано) упрямого осла за веревку. — Как можно вместо зауспокойной молитвы петь на поминках любовную песню, покарай тебя бог!..

Это, оказывается, был муж старухи Шунамит. Может, он был совсем трезвый, поэтому раньше всех спохватился, что петь на поминках любовную песню, если она даже принадлежит самому пророку, не только постыдно, но и оскорбительно для памяти покойного (мир его праху). А может, он просто приревновал меня к своей старухе. Поистине, «люта, как преисподняя, ревность».

Ты думаешь, все на этом кончилось? Куда там! Этот старый ревнивец, все больше распаяясь, так безжалостно рвал мою бороду, что я думал: вот-вот отдам богу

душу. Поверишь ли, когда еще в молодые годы дербентский полицмейстер (да чтоб ему пусто было на том свете) всыпал мне сто с лишним горячих по известному месту за то, что я непочтительно отозвался о государе-императоре (ты, кажется, даже писал об этом случае), я, клянусь тебе, ни одного стона не издал. А тут я, как ни стыдно признаться в этом, взревел, как бык под ножом мясника. Если бы Шунамит, спасибо ей, во время не подоспела мне на помощь, навсегда лишился бы ты своего друга (а вместе с этим и возможности писать о новых приключениях из жизни «хитроумного Шими Дербенди») или от моей бедной бороды ничего бы не осталось.

Вот, пожалуй, все, что я хотел тебе написать.

...А впрочем, знаешь, сын мой, так и быть: напиши обо всем этом, что я тебе рассказал. Хоть твои читатели и будут смеяться надо мной (от этого никуда не денешься), но они, надо думать, все-таки поймут меня, а может, даже и простят, потому что, положив руку на сердце, не один я виноват во всей этой некрасивой истории. А что касается того, чтобы на поминках гостей обязательно угощали дербентскими коньяками и российской водкой, как это теперь вошло у нас в обычай, и должен тебе сказать, тяжкий и обременительный для многих семей, то, клянусь нашей дружбой, нигде в священном писании об этом не сказано. Слова «водка» и «коньяк», если на то пошло, вообще не упоминаются в нем.

И знаешь что: тебе, мне кажется, даже не надо ломать голову, чтобы сочинить свой очередной хабар или, как ты его называешь, «новеллу». Возьми это мое письмо, приложи немного руку, подправь чин-чином где надо и, как говорится, ваккалам-вассалам!

Остаюсь твой преданный друг Шими Дербенди.

5 день месяца Одора, 5731 год от сотворения мира<sup>1</sup>.

Да не забудь, пожалуйста, передать твоей теще от меня низкий поклон, если, конечно, она еще жива. А если умерла — царство ей небесное. Амины!»

---

<sup>1</sup> Библийское летоисчисление, начинающееся якобы с сотворения мира.

## НА БРЫКАНЬЕ ОСЛА НЕ ОБИЖАЮТСЯ

Однажды в ясное летнее утро Шими Дербенди, находясь в отличном настроении, прогуливался в городском саду, дымя кальяном. Наслаждаясь свежим утренним воздухом, напоенным ароматом цветов и сочной травы, он с блаженной улыбкой на лице прислушивался к веселым птичьим голосам, раздававшимся в чашах деревьев, предаваясь возвышенным мыслям. Но вдруг он почувствовал, как кто-то грубо толкнул его ногой в зад, заливаясь громким смехом. От неожиданного удара кальян выпал у старика изо рта, а сам он едва удержался на ногах. Чудесное настроение, в котором он только что пребывал, сразу покинуло его. Удивленный и рассерженный, он повернулся назад и увидел перед собой какого-то подвыпившего молодого человека с веселой самодовольной физиономией и нагловатыми глазами. Тот, узнав Шими и боясь его острого языка, принялся просить у него извинения.

— Дядя Шими, ради бога, не обижайтесь на меня, — умоляющим голосом произнес он. — Я это по ошибке: сзади принял вас за своего приятеля.

— В таком случае, — скрывая досаду на обидчика, с язвительной насмешкой в голосе заметил Шими, — буду считать, что меня брыкнул осел. А на брыканье осла, как ты, наверно, знаешь, не обижаются...



## РАССКАЗЫ





Я умер, но умер не наяву, а во сне и поэтому видел, чувствовал все, что происходило со мной и вокруг меня.

Едва неумолимый ангел смерти Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня тот час же раздели догола и убрали с кровати (покойнику, мол, незачем валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол: теперь, дескать, все равно никакая хворь к нему не пристанет. Угол, где я лежал, занавесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже покойник, растянуться нагишом на виду у всех). Потом меня тщательно обмыли горячей водой (видно, на тот свет не пускают без предварительной санобработки) и завернули в белый саван.

После этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть к начальнику-бюрократу, чем бедному покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки, накрыли черной материей и быстро понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестры, тетки, двоюродные и троюродные сестры моей бабушки. Жена с детьми осталась дома (она от горя сама была еле живая).

Все мои родственницы, прыгая рядом с моими носилками, царапали себе лицо, хором кричали «ай-вай, изар!»<sup>1</sup> и рвали на себе волосы. Выше всех прыгала,

---

<sup>1</sup> Ай - в ай, изар! — восклицание, которое произносится на похоронах.

несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, и громче всех причитала моя теща: пусть, мол, люди знают, как она тяжело переживает смерть своего зятя. Глядя на нее, я невольно вспомнил с горечью, как она постоянно совала свой длинный нос в нашу личную жизнь, ела меня поедом. Теща никак не могла простить мне то, что я — молчаливый, застенчивый и невзрачный человек, совсем не из того сорта «доблестных» мужчин, которые рано или поздно выходят в люди, стал мужем ее дочери, достойной якобы более лучшей доли.

Я смотрел на все происходящее совершенно равнодушно, с полным безразличием, как полагается покойнику. Но когда со своих носилок, мерно покачивающихся на плечах моих согласно шагающих друзей, я бросил взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватила невыразимая тоска. Он, этот город, был бесконечно дорог мне и мил. Я здесь вырос, познал волнение первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания были в нем выстроены при моем участии (при жизни я будто был бригадиром строительной бригады), и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на деревья, посаженные и выращенные его заботливыми руками.

Горькая, как полынь, жгучая, как молния, мысль о том, что я навеки-вечные расстанусь со своим городом, детьми, женой и друзьями, что я умираю в расцвете сил, перевернула всю мою душу, все во мне восстало. Мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы взять себя в руки и подавить в себе эти земные преходящие чувства, покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя тише воды, ниже травы.

Похоронная процессия, наконец, вступила на кладбище. Носилки осторожно сняли с плеч и бережно положили у свежерытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались надгробные камни и безымянные холмики, застывшие в скорбном молчании. Они бередили мою душу, навевали тягостные думы. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов Омара Хайама:

Друг мой, в могилу скоро ляжешь ты,  
Где света нет, любви и красоты,  
Слушай, эту тайну никому не открывай,  
Не расцветают вновь увядшие цветы...

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга. От имени коллектива и профсоюзной организации строительно-монтажного управления дали слово пожилому мастеру, бригадирю второй строительной бригады, с которой соревновалась моя бригада, Дада Бадаеву.

Боль моя несколько смягчилась, когда я услышал его знакомый и сердечный голос. Я не сомневался в том, что этот седой человек с добрыми глазами скажет обо мне людям несколько задушевных слов...

Но какой же удар я испытал, когда Дада Бадаев, деловито покашляв в кулачок, вытащил из кармана напечатанные на машинке листки и, запинаясь, начал читать, вниваясь близорукими глазами в текст:

— Това-а-рищи! За последние годы у нас широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз — строить быстро, дешево и высококачественно, с честью выполнять взятые на себя обязательства, не допускать простоев и штурмовщины...

Дальше оратор сообщил о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул несколько передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне он сказал, что я, «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы...»

Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит не то. Он то и дело с досадой дергал головой, хмурился, крихтел, но продолжал монотонно читать речь, написанную, видимо, для него каким-то бездушным административным сухарем. Перед концом своего выступления он на какое-то мгновение посмотрел в мою сторону, но, боясь сбиться с текста, опять продолжал монотонным голосом.

— Дорогой товарищ Хизгил! Пусть четырехэтажный сорокаквартирный дом, со всеми коммунальными удобствами, который мы строили с твоим участием в тупике Шайтан-базар и который мы на днях сдаем в эксплуатацию, будет памятником тебе за твой ударный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой товарищ и до свидания!..

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушив приличествующую моменту скорбь, они — о ужас! — весело улыбались. А один большоголовый, пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал так, будто его щекотали.

Глядя на все это, от досады и возмущения я чуть не перевернулся на своих носилках. Ну зачем доброму Дада Бадаеву нужно было выступать с этим производственным отчетным докладом на моих похоронах? — сокрушался я. — Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется несколько сердечных слов? А какое же горе больше, чем смерть друга, товарища? Неужели я только и делал в жизни: «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы»? Разве я не был любящим мужем, нежным отцом, верным другом?.. Разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений?! Почему об этом не сказали ни слова?..

Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а, запрокинув голову, хохотал вовсю.

Вдруг, как это ни странно, и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче и громче я начал хохотать. Все мое тело содрогалось от смеха. Как я ни старался сдержать себя, ничего не выходило. Я боялся, как бы мои друзья, собравшиеся на кладбище, не дай бог, не подумали, что покойник смеется над ними.

От моего громкого смеха черное покрывало стало колыхаться, как трепетные листья от дуновения ветра, и, к изумлению всех, я вдруг ожил. Сбросив с себя мрачное покрывало, я вскочил на ноги...

Я слышал, что смех излечивает от многих болезней. А на этот раз смех излечил меня от самой страшной штуки — смерти.

Проснувшись в то утро, я очень обрадовался, что жив, но вспомнив про свои похороны, на всякий случай предупредил жену:

— Знаешь, дорогая, если я умру раньше тебя, то пусть над моей могилой не устраивают митинга. — Но потом подумав, добавил: — А впрочем, может это даже хорошо: вдруг я воскресну, как это было со мной во сне, как говорится, чем черт не шутит...

## КАК МУЗА СТАЛА МАРУСЕЙ

У меня есть друг. Зовут его... А впрочем, не буду называть его имени. Сами потом увидите, что я поступил правильно. Назову его просто Шарапилом — какая вам разница?

Мой друг Шарапил — поэт. Несмотря на это, человек он степенный, уравновешенный, как две чаши весов у честного продавца. Но, как все поэты, Шарапил в душе немного восторженный и, конечно, влюбленный, хотя ему уже за пятьдесят.

И вот недавно мой друг решил провести свой творческий отпуск в одном из маленьких и отдаленных высокогорных аулов, который стоит ближе к небу, чем к земле.

Прекрасное место выбрал он для этой цели. Я сам несколько лет тому назад был в этом ауле. В ясный безоблачный день отсюда, как на ладони, видна бескрайняя величественная панорама родных гор, покрытых легкой сиреневой дымкой и напоминающих издали неприступные сказочные замки. Гордые орлы парят у самых ног. А ночью звезды до того яркие и небо так близко, что, кажется, стоит тебе протянуть руку, и ты без труда достанешь с неба звезды. Словом, все здесь способствует полету фантазии.

К тому же в этом ауле мой друг мог подкрепить свое здоровье в Доме отдыха, построенном жителями на собственные средства возле целебного источника на живописном склоне сосновой горы.

В тот самый день, когда Шарапил, полный творческих замыслов и радужных надежд, полетел на самолете в этот аул, я тут же вслед за ним отправил туда письмо на имя председателя сельского Совета. У меня и в мыслях не было, что письмо может сыграть злую шутку с моим другом. Оно было простое, безобидное, написано в шутилом тоне. Я хотел только одного: чтобы моему другу оказали должное внимание, создали для него все условия для отдыха и работы. И ничего больше.

В письме, как я уже сказал, составленном в тоне добродушной шутки, я писал главе местного Совета о том, что мой друг Шарапил, пожелай только он этого, мог бы провести свой творческий отпуск на знаменитом Рижском взморье или на золотых песках Ялты, в живо-

писных Гаграх, где витает дух прекрасной царьцы Тамары или на заграничном всемирно известном курорте Карловы Вары.

В заключение я просил оказать моему другу хороший прием, выделить ему отдельную комнату в Доме отдыха и дружески упомянул о том, чтобы сам председатель сельского Совета, если, конечно, это его не затруднит, поинтересовался, «посещает ли его Муза — эта капризная, своенравная, но прекрасная особа. Если посещает, то в какое время дня и ночи она является к нему, чтобы зажечь в нем огонь любви и вдохновения».

Я, разумеется, никакого ответа не ждал на свое шутивное послание. Могу сказать, что я на второй же день забыл о нем. Поэтому я был немного удивлен и смущен, когда через несколько дней получил письмо от председателя местного Совета того самого аула, куда поехал Шарапил. Но еще больше удивило и смутило меня содержание этого письма, которое я полностью привожу здесь.

«Ассалам алейкум, тов. (следует моя фамилия). Вы, пожалуйста, не обижайтесь, если сообщу вам о том, что никакого такого приема или почестей я вашему поэту не оказал, поскольку расходы на такие мероприятия по бюджету сельского Совета не предусмотрены. Но вы, товарищ (опять следует моя фамилия), не беспокойтесь за своего друга. Поверьте мне, ему будет житься у нас не хуже, чем на курорте царицы Тамары или господина Карла-Варла. Ему выделена отдельная комната. Он обеспечен питанием по первой категории.

А что касается этой самой женщины по имени Муза, я сразу же по получении вашего письма хотел ответить вам, что женщина с таким именем у нас в ауле не проживает. Но поскольку сигнал серьезный, можно прямо сказать тревожный (я вас понимаю—под угрозой находится целостность и сохранность семьи), думаю, одним таким формально-бюрократическим ответом нельзя, да и не имею права, от него отмахиваться. И я решил во что бы то ни стало найти, выследить эту вертихвостку. Но при всем моем желании исполнить вашу просьбу я уже готов был сказать вам свое твердое слово о том, что такой женщины у нас никогда не было и нет, как вдруг, товарищ (опять следует моя фамилия), меня осенило: ведь это же Маруся! Да! Есть у нас такая, дей-

ствительно, как вы пишете, своенравная и взбалмошная, но на вид приятная девушка-фармацевтка. Ее из Махачкалы к нам прислали, з.е. сельской аптекой работает. Правда, девушки между собой называют ее немного иначе, не Музой, как вы пишете, а Мусей. Но это не имеет никакого значения. У нас говорят: «Что Али-Хужа, что Хужа-Али — один черт». Сам потом удивлялся: как же мне сразу не пришло это в голову? О том, что женщина, о которой вы упоминаете в своем письме — это именно и есть наша Маруся, у меня никакого сомнения не возникает. Иначе, с чего бы она больше всех хлопотала, чтобы мы организовали встречу с твоим другом-поэтом, и первая, кажется, разнюхала о его приезде.

Или взять другой факт из ее поведения, который утверждает меня в этой мысли. Недавно у нас в клубе показывали заграничный фильм. Молодой мужчина и полураздетая женщина так целовались, так целовались, казалось, вот-вот они, как две щуки, проглотят друг друга. Я сразу вскочил с места и дал команду: немедленно прекратить это безобразие! А как же иначе! Разве можно на виду у всего аула вытворять такие штуки. После таких фильмов, знаете, даже меня, человека уже немолодого, у которого внуки ходят в женихах, а внучки — в невестах, по ночам посещают легкомысленные сны. А что говорить о людях помоложе.

Многие начали шуметь, выражать недовольство: вроде, как, мол, это так, деньги заплатили, а досматривать картину до конца не разрешают... Больше всех и громче всех возмущалась и протестовала эта самая Муся-Маруся. А через три дня смотрю и глазам своим не верю: в районной газете напечатана заметка — «Уинтер-офицер Пришибеев в роли председателя сельсовета». Это критиковали меня за то, что я сорвал тот самый безобразный фильм, так сказать, «культурное мероприятие». А под заметкой стояла подпись этой самой Маруси, будь она неладна.

Редактор, конечно, тоже хорош — нечего сказать. Вместо того, чтобы поддержать мои правильные действия, направленные против безнравственности, позволил этой глупой и бессовестной девчонке сравнивать меня с каким-то Пришибеевым, о котором я слыхом не слышал, и подорвать мой авторитет в глазах джамаата.

Но не хочу задерживать ваше внимание на этом возмутительном факте, послушайте дальше о вашем друге. Я несколько раз заходил, будто невзначай, к нему. Но, к сожалению, не застал у него Маруси. А позавчера я нарочно зашел к вашему другу очень поздно, когда в ауле уже прокричали первые петухи. Он сидел и не то что-то пописывал, не то сочинял.

— Вижу, у вас свет горит, дай-ка, думаю зайду на огонек,—опускаясь на его койку и оглядывая углы комнаты, сказал я ему, оправдывая таким образом свой поздний визит. Потом нагибаюсь, вроде чтобы поправить голенище своего сапога, а сам одним глазом заглядываю под койку. Но и там ничего подозрительного. На этом я, конечно, не успокоился. Встал, подошел к шкафу и рывком открыл дверцы.

— Что вы там ищете? — спросил у меня ваш обеспокоенный друг.

— Ничего особенного,— отвечаю я, пряча улыбку.— Смотрю, не водятся ли у вас здесь в шкафу мыши, клопы и прочие паразиты.

— Нет, не водятся,— говорит он, а сам на меня смотрит так, будто хочет узнать, догадываюсь я или нет о его сердечных отношениях с аптекаршей, — хитрый какой!

Но вы, товарищ (опять следует моя фамилия), не беспокойтесь: я за эти два-три дня обязательно все выясню. Я человек настойчивый, дотошный. Если мне не удастся застать их вместе, то я, будьте покойны, предприму другие меры: не допущу, чтобы по вине какой-то Муси-Маруси разрушилась хорошая советская семья...»

Письмо председателя сельсовета меня больше расстроило, чем озадачило. Я, конечно, не придавал никакого значения его угрозам, думая, что поскольку Муза — это не юная фармацевтка, насалившая председателю сельсовета, а мифологическая личность, богиня поэзии и искусства, поэтому, чтобы не предпринял глава местной власти против Маруси,— все окажется пустой затеей.

Но я, оказывается, жестоко ошибся. На четвертый день после получения письма от председателя сельсовета я шел по улице и неожиданно нос к носу столкнулся со своим другом Шарапилом. Он шел медленно, низко опустив голову, и, всплескивая руками, вслух разгова-



ривал сам с собой, чего я раньше никогда за ним не наблюдал. Мой друг, как я заметил, был явно чем-то удручен, а между пальцами у него дымила папироса, хотя уже три года, как он бросил курить по совету врача.

Я, тепло поздоровавшись с ним, спросил:

— Ты чего, Шарапил, такой мрачный, надутый? Ходишь сам с собой разговариваешь. Ты же ездил на месяц, а побыл каких-нибудь десять-двенадцать дней?

Шарапил резким движением бросил недокуренную папиросу на землю и, сплюнув, в сердцах раздавил ее туфлей.

— Ты знаешь,— громко и запальчиво начал он, видимо, забыв, что находится на улице и его могут услышать прохожие,— какой-то идиот сообщил моей жене, будто я специально поехал в тот аул, чтобы заводить шашни с какой-то Мусей-Марусей. И жена прилетела за мной, учинила грандиозный скандал, заставила меня уложить чемоданы и немедленно вернуться домой. Вот какая неприятная история!..

Мне теперь все стало ясно. Как мне ни было досадно и грустно за друга, я невольно засмеялся.

— Может, все-таки был у тебя какой-то мимолетный курортный роман с этой самой Марусей,— нарочно спросил я, еле сдерживая предательский смех.

— И ты, что ли, с ума сошел?! — не на шутку обиделся мой друг. И тут же горячо добавил: — Я не только не знаю ее, но, клянусь тебе, даже в глаза ни разу не видел. А жена не верит...

Вот теперь вы, наверное, поняли, почему я решил держать имя моего друга в секрете.

## СОСЕД МОЙ — ВРАГ МОЙ

Ассалам алейкум, товарищ редактор!

Умоляю Вас, напечатайте о моем соседе Сары-Самаде<sup>1</sup>, который проживает в селении Узун-Бурни<sup>2</sup> напротив водяной мельницы (чтоб он угодил своей рыжей головой под ее тяжелые жернова!) один острый фельетон. Хоть и говорят, что близкий сосед лучше далекого

---

<sup>1</sup> Сары — рыжий.

<sup>2</sup> Узун-Бурни — длинный нос.

брата, а вот мой сосед Сары-Самад — злой враг мне. Он до того извел, замучил меня, что если можно было бы уложить все свое хозяйство: дом, двор, сад, скотину вместе с женой в одну торбу, валлах, ни одной минуты не остался бы жить рядом. Взвалил бы все это себе на плечи и, несмотря на мои пятьдесят восемь лет, бежал бы от него без оглядки, как от шайтана (чтоб шайтан изуродовал его!).

Жить с ним по соседству, клянусь Вам, нисколько не лучше, чем очутиться на дне глубокого колодца один на один с шахмаром<sup>1</sup> (чтоб шахмар, ужалил его ядовитый язык!).

Мне говорили, что, раз пишешь в газету, — давай факты. А фактов у меня против Сары-Самада хватило бы на целый чувал. Но я приведу только несколько из них: «веревка хороша длинная, а речь — короткая».

Начну, хотя бы с того, что он, мой сосед, ходит по селу и распространяет обо мне всякие хабары-небылицы, будто я нарочно огородил свой двор и сад высоким каменным забором, потому что ревную свою молодую жену, и что я прячу ее от любопытных взоров, как купец свою мощну, зная, мол, «женитьба старика — веселье для молодых».

Как поворачивается у него язык сказать обо мне такое, если моя жена почти каждый день на виду у тысячи людей торгует в городе на рынке ягодами и фруктами из моего сада. А когда она не успевает за день продать привезенное, даже остается ночевать там у какого-то своего дальнего родственника.

Со своей старухой я вынужден был развестись, потому что от нее не было ни толку, ни проку ни мне лично, ни нашему хозяйству. Женщина она хилая, слабая, к тому же бесплодная. Кроме того, иного сейчас легче снарядить на Луну, чем заставить было ее отправиться на рынок в город, хотя от города до нашего Узун-Бурни рукой подать.

Не отрицаю, я действительно огородил свой двор и сад. Но это я сделал, чтобы не вводить в соблазн посторонних: «глаз не увидит — сердце не захочет». Но жена моя, скажу я Вам, тут совсем не причем. У меня, чтобы не сглазить, самый красивый и самый богатый

---

<sup>1</sup> Ша м а р — одна из разновидностей ядовитых змей.

сад в селе. Поэтому все, кому только вздумается, тащатся ко мне в сад полюбоваться на него и главное — полакомиться фруктами, как будто это джамаатский или колхозный сад, где можно, ни платя ни гроша, наесться вдоволь и насорить. А ведь, как капля к капле образует ручеек, так и ягодка к ягодке образует кучку. А жена моя за каждую кучку берет на рынке с покупателя рубль, а то и подороже.

Потом, если разобраться, женщину в тридцать лет разве можно считать молодой?.. В былые времена многие женщины в нашем селении в возрасте моей жены ходили в бабушках. А он, мой сосед, выдает ее за молодую — лишь бы наговорить на меня.

Наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте дальше... Недавно он, мой сосед, обозвал меня сорняком, да еще при всей бригаде. Он таки сказал: «Ты, Агажон, зловредный сорняк в дружном всходе колхозного тосева. Не мешало бы химической прополкой и мощным, как его, культиватором уничтожить сорные растения на полях твоего сознания...»

Да чтобы этот самый культиватор прошелся по его хребту, какой же я сорняк, если всю жизнь сам борюсь с этими сорняками, как с заклятыми врагами. Ему на лысине своего отца легче отыскать чертополох или другой сорняк, чем в моем саду!

Как-то во время работы на прополке овощей ребята устроили перекур. Сам я не балуюсь табаком: курить — это не только прожигать здоровье, но и деньги... И вот, пока ребята курили, хабарничали, меня начало клонить ко сну. Чтобы не помешать им, я потихоньку встал, отошел подальше, отыскал неподалеку куст и лег под ним. Проснулся, когда уже солнце начинало садиться за ближним лесом, вернее — не я проснулся, а меня разбудил Сары-Самад, мой сосед. Оказывается, в это время стадо возвращалось в селение, и коровы, приближаясь к кусту, где я лежал, шарахались в сторону или пугливо обходили его. Этим они привлекли внимание Сары-Самада, который в это время возвращался домой с саженью в руках (он у нас работает учетчиком).

Роворят: «На хромого козла и скала рушится». Обычно животные боятся, если в кустах (не про нас с вами будь это сказано) валяется покойник или затаится зверь. А с чего они, глупые создания, испугались

меня, здорового, мирно спящего человека, понять не могу.

И вот на следующий день мой сосед в присутствии всей бригады смешал быль с небылицей, правду с ложью и начал клеветать и чернить меня. Он говорил, что я будто бы весь день проспал в кустах, когда другие не жалели себя в работе, чтобы перевыполнить норму, что это не первый и, конечно, не последний случай с моей стороны. По его словам, меня однажды находили спящим в разгар рабочего дня в Донгуз-камыше, а другой раз—под стогом сена, что я днем на колхозной работе отсыпаюсь, чтобы потом всю ночь корпеть в своем саду.

Почти на все его клеветнические наветы у меня есть опровержения. Во-первых, я проспал в кустах не весь день, а три четверти дня, то есть после первого перекура,— надо быть точным. Если сосед недолюбливает соседа — это вовсе не значит, что ему дозволено говорить про него все, что взбредет ему в голову. Во-вторых, я в зарослях Донгуз-камыша никогда не спал, зная, что это излюбленное место свирепых кабанов. Не такой я глупый, чтобы по своей охоте подставлять свою голову под их острые клыки. Пусть это делает сам Сары-Самад, если ему дурная голова надоела,— хоть раз в жизни сделал бы приятное своему соседу. И под стогом сена никто не видел меня спящим в рабочее время — вранье. Видели только под копной свежескошенного сена. Этот человек даже не затрудняет себя отличить копну от стога, а берется поучать других. То, что я по ночам подолгу работаю в своем хозяйстве — это правильно. В колхозном хозяйстве семьсот трудоспособных людей, а в моем хозяйстве — я один.

Но меня, товарищ редактор, особенно вот что возмущает. Несмотря на то, что я опроверг все наветы моего соседа, собрание бригады все же вынесло решение просить правление колхоза оштрафовать меня на пятнадцать трудодней. Что же это получается?! С одной стороны, меня чуть ли не на каждом собрании честят, прорабатывают за то, что я не вырабатываю минимума трудодней, а с другой,— сами же режут их. Да если дело так пойдет, я никогда не смогу выработать этого самого минимума.

Коротко о вчерашнем случае, которым хочу закончить это письмо. Вчера он, мой сосед, чуть не натолкнул меня

на смертоубийство и не свел с ума. Вот как это было. Поздно вечером я возвращался со свадьбы, а жены моей опять не было дома, — видно, осталась ночевать у своего дальнего родственника. Когда я вошел во двор, смотрю, у меня в саду под черешневым деревом стоит незнакомый человек с кучой бородкой и в соломенной шляпе. Он держит в руке ветку с ягодами и нахально смеется мне в лицо.

— Убирайся вон из моего сада!—кричу я на него.— Не для того я вырастил эти черешни, чтобы ты даром лопал их. Да еще интеллигент называется! (У нас в селе в соломенных шляпах ходят одни интеллигенты.)

А он, этот нахал, и в ус не дует, хоть разорвись. Кровь бросилась мне в голову, тем более я был сильно выпивший. Я забежал в дом, вынес ружье и выстрелил в вора. Известное дело: у кого пропадает добро, у того пропадает разум. Как только я выстрелил, незнакомец упал как подкошенный, даже не крикнув. Видно, думаю, пуля угодила в самое сердце или в печень. Сначала я даже обрадовался, что одним выстрелом вышиб из него душу. Но потом, как только опомнился, сообразил, что я натворил, и мне стало очень страшно, весь холодным потом покрылся. Бросив ружье, я кинулся бежать к калитке, но со слепу наткнулся на свой же каменный забор и сильно расшиб себе лоб. Вначале мне показалось, что это он, вернее призрак убитого, догнал меня и хватил камнем по башке. Окончательно потеряв голову, я бросился в дом и надежно закрыл дверь на засов. О, сколько страха натерпелся я вчера ночью — не дай бог даже врагу Вашему.

Еще хорошо, что на мой выстрел никто не прибежал. Это потому, что вчера вечером стрелял из ружья не я один. В нашем селении издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты, где его ждет невеста, наши односельчане выходят на окраину села и стреляют из ружья, приветствуя этим зарождение новой семьи. Поэтому на мой выстрел никто не обратил внимания.

Утром, едва дождавшись рассвета, я, подавленный, еле живой, с трудом волоча ноги, вышел в сад. С замирающим сердцем подошел я к тому месту, где вчера ночью стоял незнакомец, и остолбенел от изумления: под черешневым деревом на еще мокрой от утренней

росы взрыхленной земле лежал не человек, а... обыкновенное чучело с козлиной головой. Губы сверху и снизу были срезаны, и от этого казалось, что коза, вернее ее голова, смеется во весь рот.

Меня охватила такая бурная радость, которую я не могу Вам выразить словами; я будто заново на свет родился. Я плакал и смеялся. Но очень скоро моя радость сменилась острым гневом на моего недоброго соседа Сары-Самада. И вот почему. Я вспомнил, как он совсем недавно упрекал меня при всех: «Ты, Агажон,— пережиток прошлого, жадный собственник... Ты можешь из-за пары ягод даже человека убить...» Я сразу понял, что эта дьявольская шутка — его коварная выдумка. Да и клетчатый пиджак, что на чучеле, и соломенную шляпу я не раз видел на нем.

Завернув шляпу и козлиную голову в пиджак, снятый с чучела, я сегодня же утром немедленно отправился в райцентр к прокурору жаловаться на Сары-Самада. Любой другой на моем месте поступил бы так же. Но вот что обидно, товарищ редактор: прокурор совершенно безразлично отнесся к моей жалобе, да еще посмотрел на меня так неласково, так неприветливо, будто во всем виноват не он, мой сосед, а я.

Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне, безвинному человеку, мой сосед, он не заслуживает, чтобы Вы написали о нем острый, как булат, фельетон. Да чтоб фил<sup>1</sup> раздавил его вместе с прокурором.

## «ЖЕНИХ» БАБУШКИ ФАТЬМЫ

Ах, была не была, расскажу вам, что приключилось со мной, старухой, недавно. Правда, я божилась, клялась никому не рассказывать об этом, но что делать, шайтан тянет меня за язык, не могу молчать.

А приключилось со мной вот что. Вчера вечером, когда я выходила из дому, двое дюжих молодцов разом налетели на меня, как коршуны на голубку, завернули в бурку и, от радости не чуя ног под собой, умчали куда-то. Но это что! Самый главный похититель стоял на коленях передо мной, как перед богиней, слезно умолял,

<sup>1</sup> Фил — слон.

просил меня, чтобы я не отвергала его любовь, иначе, мол, белый свет ему не будет мил. Вот как!

Но что вы скажете, если я вам сообщу по секрету: сама я хотела, чтобы парни меня похитили? Ага! У вас, наверно, так и вертится на языке: «Ах, ты, мол, дура старая! С ума, что ли, спятила? Или кровь взыграла на старости лет?» Вы, пожалуйста, не зная что к чему, не беритесь судить, хорошо ли я поступила или дурно. Знаете поговорку: «Не дойдя до речки, штаны не скидывают». А то что я старая, это мне не в укор, а в честь, не даром свой век прожила. Один мой сын — боевой офицер, день и ночь границу нашу охраняет, другой мой молодец — лучший чабан, его портрет в газетах печатали, а дочь моя, дай бог ей еще много сил и здоровья, скоро матерью-героиней станет.

Если еще хотите знать, в свое время я и красотой блистала не меньше, чем самая красивая молодуха сейчас в нашей округе. Дай бог памяти, точно не помню, когда это было, не то пятьдесят, не то шестьдесят лет тому назад, к нам в аул приезжал один ашуг, веселый такой, как соловей в весеннюю пору. Он в своей чудесной песне сравнивал мои щеки с румяным яблоком, уста — со сладчайшим медом, а зубы — с аравийским жемчугом. Правда, от этого «жемчуга» у меня остался во рту всего-навсего один только передний зуб. И стоит мне засмеяться, как мой годовалый внучок тут же пускается в рев: боится паршивец, думает, я собираюсь укусить его.

Да, я немного отвлеклась и уже забыла, с чего начала... Вот вспомнила!.. Сижусь я вчера днем у себя одна в сакле, качаю в люльке внучонка, а сама слегка дремлю. Слышу: кто-то открыл дверь и тихо вошел в комнату. Смотрю — это Микаил пришел, соседский парень. Лицо у него очень приметное: чересчур смуглое, скуластое, брови лохматые, а улыбка — до ушей. Я его за версту увижу — и сразу узнаю. Но славный юноша: скромный, тихий, и работник хороший.

Микаил остановился посреди комнаты, смотрит на меня и ничего не говорит, только чешет затылок, смущенно улыбается и переминается с ноги на ногу.

«Ну, Микаил, с какими добрыми вестями к нам пожаловал?» — приветливым голосом спрашиваю его.

Микаил, видно, немного осмелел, подошел поближе и опустил на корточки против меня. «Знаете, бабушка

Фатьма, — говорит он мне доверительно, — у меня к вам очень важное дело».

Я, правду сказать, гляжу на него и недоумеваю: какое у него может быть ко мне, старухе, важное дело? Я, что ли, каким какой или депутат Совета?..

«Ну, говори, что у тебя за «важное дело» ко мне», — неохотно отвечаю ему, зевая во весь рот.

А Михаил, прежде чем сказать о цели своего прихода, сначала внимательно огляделся по сторонам и потом чуть слышно прошептал: «Только, бабушка Фатьма, чур! То, что я вам скажу сейчас — большая тайна. Ни одна живая душа, кроме нас, не должна знать об этом, обещаете?»

Эге, думаю, коли он так предупреждает, стало быть, дело в самом деле нешуточное. Я сразу повеселела. Сонливость мою как рукой сняло, любопытство начало разбирать меня. А я и впрямь ужас какая любопытная. Мой покойный муж, мир его праху, бывало, частенько ругал меня за эту слабость. «Тебя, Фатьма, хлебом не корми, — не раз выговаривал мне блаженной памяти мой муж, — только дай волю ходить по аулу и собирать всякие хабары, а потом весь день трещать о них без умолку, как болтливая сорока на весь лес».

«Ну, ладно, не тяни, рассказывай!» — тороплю я Михаила, чуть толкая его в плечо.

Михаил, пододвинувшись еще ближе и озорно блестя глазами, улыбаясь, шепотом говорит мне: «Мы сегодня вечером, бабушка Фатьма, хотим украсть одну девушку...»

Вай! Как только я это услышала, кровь кинулась мне в голову. Схватив с пола длинную палку (я всегда ее держу при себе, чтобы не вставая с места, можно было прогнать кур и цыплят, которые забирались в саклю), я в гневе замахнулась на Михаила. «Я сейчас же разобью твою дурацкую башку, харамзада! — кричу я на него. — Как это так — украсть чужую девушку! А я-то думала, ты славный парень, а оказывается!..»

Ребенок от моего крика проснулся и так завопил, будто сто чертей налетели на него во сне. Да и Михаил, вижу, сам тоже испугался не на шутку. Схватив мою руку, он начал умолять меня: «Бабушка Фатьма, ради бога, успокойтесь! Я совсем не то хотел сказать... Выслушайте меня дальше!..»



Я неохотно положила палку на место и, сердито косясь на Михаила, принялась опять качать ребенка. «Пес тебя знает, Михаил,— ругаю я его.— То говоришь, что хочешь украсть девушку, а как увидел у меня в руках палку, запел совсем другое. Поди разберись!..»

Короче говоря, из слов Михаила я поняла, что у него есть закадычный друг Ильяс. Этого Ильяса я тоже знаю, очень пригожий собой парень, но пьяница, нигде не работает, сидит у бедной матери-вдовы на шее. Словом, один из тех негодников, о которых говорят: «Вечером пьяница — утром лентяй». Он, оказывается, по уши влюблен в девушку Рукият. Легкомысленный, а знает, шельма, в кого влюбляться. Она такая стройная, миловидная, притом, знаете, самая лучшая доярка на ферме. В прошлом году, говорят, она заработала шестьсот трудодней. На двух больших машинах привозили ей зерно и разное добро с колхозного амбара. Если верить Михаилу, этот бездельник ей тоже нравится. Но выйти замуж за него боится. И правильно. «Кто пьяницу полюбит,— свою жизнь загубит».

И вот этот самый Ильяс решил похитить милую Рукият, а Михаила просит, как друга, помочь ему в этом нечистом деле. А Михаил, как между двух огней: отказать другу — духу не хватает, позорить девушку — совесть мучит. Но самое главное, что хотел сказать мне Михаил, он прошептал мне на ушко. Я, не долго думая, кивнула головой в знак согласия.

И вот поздно вечером, когда у нас в доме все поужинали и легли спать, я быстро накинула на голову платок и вышла на улицу. Ночь была темная, безлунная. Очень скоро, как только я очутилась во дворе, где живет наша Рукият, вдруг кто-то накинул на меня тяжелую бурку, видно, очень сильный и ловкий человек, и, тут же завернув меня в нее, как младенца в пеленку, взвалил на плечи и куда-то понесся. Все это произошло так внезапно, так быстро, что я не успела даже крикнуть.

«Куда ее теперь?» — слышу я сдавленный голос Михаила. «Забыл, что ли? — отвечает Ильяс.— Неси в Пещеру любви, да поскорее, пока нас не заметили».

Пещера любви — это огромная темная пещера в высокой скале. Она находится за версту от нашего аула. Весною и осенью во время перёгона овец чабаны скры-

ваются в ней от дождя и проз. Почему ее называют Пещерой любви? Говорят, когда-то один из слуг хана похитил девушку из его гарема, которую он очень любил. Скрываясь от ханского возмездия, они здесь нашли приют для своей любви...

«Ты, пожалуйста, осторожно,— услышала я предупреждающий голос Ильаса, когда мы отошли на почтительное расстояние от аула (это я поняла по отдаленному лаю собак).— Ты, случаем не задушил ее? Я же знаю, какой ты медведь! Видишь, она даже звука не издает». «Да ты, Ильяс, не волнуйся, — начал успокаивать его Микаил, который нес меня на своих широких плечах, как купец свой драгоценный клад. — Она, видно, с перепугу лишилась голоса. Пустяки... А что касается Пещеры любви я туда с закрытыми глазами пройду!»

Как только мы оказались в пещере, Микаил, пыхтя и отдуваясь, осторожно, будто хрупкий сосуд, кладет меня на землю, прислонив спиной к стенке.

«Зажги фонарь!» — слышу я опять нетерпеливый голос Ильаса.

Как только свет фонаря осветил закопченные от дыма чабанских костров стены пещеры, влюбленный Ильяс с жаром кинулся ко мне, упал на колени.

«О, моя дорогая! О, моя ненаглядная! — прижимая руки к груди, обращается он ко мне, как все равно в театре.— Прости мне мой дерзкий поступок! Умоляю тебя, будь моей женой! Я без тебя жить не могу!.. Я погибну без тебя!..»

Я подождала, пока Ильяс кончит изливать душу, а потом разом скинула с себя бурку и, обнажив беззубые десны, усталилась на него.

«Ладно, разбойник, пусть будет по-твоему, — крикнула я ему.— Если ты и вправду так меня любишь и не можешь без меня жить, так и быть — я согласна выйти за тебя замуж!»

У Ильаса от неожиданности глаза полезли на лоб и язык будто отнялся. Он вскочил и минуту стоял, точно вкопанный, не в состоянии двинуться с места. «Ах, это вы, бабушка Фатьма! — упавшим голосом еле вымолвил он наконец. А потом, спохватившись, накинудся на бедного Микаила: «Кого же ты прихватил, идиот? Где были твои глаза?!»

«Ва-ай! — шлепает себя по лбу Микаил, притворяясь удивленным и расстроенным.— Волновался очень, да и темно было... Что теперь будет?!» — схватился он за голову.

Ильяс видит, что дело скверно, и хотел было броситься бежать, но я успела во время схватить его за пестрый галстук, как непокорного бычка за веревку. «Со мною,— говорю,— шутки плохи. Раз похитил, оскорбил мою женскую гордость, так изволь жениться. Иначе, сейчас же иду жаловаться в сельсовет. Тюрьмы и позора тебе не миновать, так и знай!» А Микаил, пряча хитрую улыбку, весело подмигивает мне: дескать, машаллах, бабушка Фатьма, вгоняй его в пот, выбей у него дурь из головы!

Я наступаю на Ильяса, а он пятится от меня назад, боится, как бы я не заключила его, «милого женишка», в свои нежные объятия.

«Что вы! Что вы, бабушка Фатьма!..— с ужасом говорит Ильяс, бледнея.— Произошла ошибка...» «А-а! ошибка?! — с силой дернув его за галстук, кричу на него.— Выходит, что ты сегодня в темноте подстерегал, как волк овцу, невинную девушку, чтобы похитить ее? А по ошибке сцапал меня, старуху?! Если бы так похитили твою мать или сестру, как бы тебе это понравилось?..»

Я продолжаю задавать ему жару, а Микаил то и дело толкает его в бок и говорит тихо, но так, чтобы я слышала. «Падай сейчас же в ноги бабушке Фатьме, проси прощения, иначе, считай, что мы с тобой пропали!»

И вот, мои любезные, чтобы долго не морочить вам голову, скажу: кончилось это дело тем, что напуганный до смерти Ильяс опять встал передо мной на колени, но на этот раз, чтобы просить у меня прощения. А самое главное — по моему настоянию Ильяс поклялся памятью отца (он погиб на войне) бросить пить, не сидеть на шее матери, работать в колхозе, как все нормальные, здоровые люди. А я за это обещала ему никому о моем похищении не рассказывать, а если он исправится — помочь ему жениться на любимой девушке.

Как видите, первое свое обещание я нарушила — не удержалась, рассказала вам про эту историю. Но, клянусь вам, я обязательно выполню свое второе обещание. Дело только за Ильясом...

## МУЖ ДВУХ ЖЕН

Колхозный конюх дядя Эсеф, дюжий мужчина, выделялся среди своих односельчан не только ростом в косую сажень, но и поразительно мощной бородой. Но с некоторых пор с его царственной бородой стало происходить что-то совершенно непонятное и даже, можно сказать, роковое. Она на глазах изумленных односельчан начала таять с угрожающей быстротой, как ледяная сосулька на солнце. Сперва из нее загадочно исчезали только серебристые нити, а потом вместе с серебристыми стали исчезать и черные.

Сельчане, привыкшие видеть пышную бороду дяди Эсефа в роскошном великолепии, с явным недоумением и даже некоторой тревогой смотрели на эту трагическую перемену. Но спросить об этом они как-то не решались, считали неприличным. Сам же он хранил на этот счет суровое молчание и даже делал вид, будто с его бородой ничего особенного не происходит. Поэтому между собой сельчане стали высказывать самые различные догадки и предположения относительно его катастрофически редеющей бороды. Одни считали, что могучая борода колхозного конюха пострадала от сглаза, иначе, мол, и не могло быть,— такая необыкновенная борода рано или поздно должна была стать жертвой дурного глаза. Другие, отвергая это утверждение, как нелепое суеверие, причиной лихой беды, постигшей буйную растительность на лице дяди Эсефа, считали моровую язву, бог весть откуда прицепившуюся к ней. А иные с самым серьезным видом уверяли, что жена Эсефа, давно страдавшая суставным ревматизмом, будто по совету врача собирается вязать себе теплые носки из... волос, которые она ежедневно по целому вороху выдергивает из роскошной бороды мужа.

Прошло бы еще немного времени, и жалкие остатки некогда завидной бороды дяди Эсефа бесследно исчезли бы с его лица и эта тайна, окутанная для его односельчан мраком неизвестности, так и осталась бы неразгаданной, не случись с колхозным конюхом новая и уже непоправимая беда... А впрочем, не будем забегать вперед.

Дядя Эсеф страшно переживал и оскорблялся, что у него одни дочери и нет сына. Боясь, что на веки веч-

ные останется «хьомолом», он после рождения пятой дочери стал носить, как велит обычай, красный кушак и отрастил бороду. И вот, на зависть всем бородачам за каких-нибудь полгода-год у дяди Эсефа выросла такая пышная борода, словно буйная поросль на хорошо ухоженном и щедро унавоженном поле. С тех пор односельчане прозвали его Длинной Бородой. Эсеф был уверен, что, если даже бог очень стар и подслеповат, он все равно заметит его бросающиеся в глаза яркий кушак и аршинную бороду и дарует ему сына.

Но прошло немало лет, прежде чем дядя Эсеф с горечью понял, что скорее на вершине Шалбуздага свистнет рак, а на голом камне зацветет ландыш, чем его старая жена, которой уже перевалило за пятьдесят, вновь станет матерью. Тревога вселилась в сердце Длинной Бороды. Страстно желая сына, он мысленно уверял себя и других, что хочет его вовсе не потому, чтобы тот был для него опорой на старости — он этого не ждет. Говорят же: «Один отец может прокормить десять сыновей, а десять сыновей не смогут прокормить одного отца». Да ему никакая помощь от сына не нужна. Пусть бы он только родился на свет и жил себе на здоровье. Разве мало сейчас стариков — зачем далеко ходить — в его же селе, которые получают от колхоза пенсию и живут, не испытывая нужды. Иные мужчины презирают дочерей, хотят обязательно мальчика, чтобы он после смерти отца молился за упокой его души, иначе, мол, отцу не видать райских блаженств. Если и говорят про кого: «У него борода длинная, а ум короткий», то только не про него, Эсефа. Он хоть и не ученый человек, а простой конюх, но слава богу, еще не спятил с ума, чтобы поверить: его сын — будущий пионер или комсомолец, станет молиться за то, чтобы душа Длинной Бороды легкой бабочкой порхала в райских куцах. Бог свидетель, он хочет сына, чтобы снять с себя обидное прозвище «хьомол», поддержать честь своей папахи. Только ради этого он сблизился с молодой одинокой вдовушкой Аснат и договорился с ней о тайном браке.

Правда, Аснат красоты не ахти какой, зато эта черномазая и лупоглазая молодуха с пухлыми, точно надутыми щеками обладает такой широкой грудью и воловьими бедрами, что Длинной Бороде казалось, будто из нее посыпятся дети, как спелые яблоки с яблони.

И вот, когда дядя Эсеф, извиняющимся тоном поведал жёне о своем намерении жениться на толстухе Аснат, она от потрясения долго не могла и слова вымолвить, словно у бедняги язык прилип к гортани.

— Джан Эсеф, да буду жертвой за тебя, не позорь себя и меня на старости лет, — с дрожью в голосе принялась умолять его несчастная женщина, наконец обретая дар речи. — Ты посмотри получше на себя в зеркало: борода у тебя почти седая. Что люди подумают, да и ты какими глазами будешь смотреть на детей? — Она горестно вздохнула, а потом, печально улыбнувшись, добавила: — Да и закона такого нет, чтобы сельсовет разрешил мужчине обзавестись второй женой.

Длинную Бороду бросило в жар.

— Родила бы сына, не женился бы! — закричал он на нее. — А чтобы обзавестись второй женой, мне твой сельсовет совсем не нужен. Дам духовному отцу десятку в зубы, он не только меня с Аснат, черта с ведьмой обвенчает.

...Вторая жена дяди Эсефа жила далеко, на самой окраине села. Длинная Борода был этому рад и не рад. Рад потому, что соперницы меньше будут попадаться друг другу на глаза, а то, чего доброго, может разразиться скандал, вцепятся друг другу в волосы. С другой стороны, ему было не по душе то, что Аснат живет далеко и ему, человеку уже не молодому, во избежание пересудов и сплетен приходится идти на свидание к молодой жене поздно вечером, когда совсем темно и на улицах никого нет. Но как говорится: «Сидя верхом на верблюде, в отаре не скроешься». Как дядя Эсеф ни старался пройти к Аснат никем не замеченным, по дороге нет-нет да и сталкивался с кем-нибудь из своих одноклассников, слышал за своей спиной их двусмысленные шуточки и насмешки. И вот вчера поздно вечером в канун женского праздника 8 Марта, когда, казалось, все спали и видели третьи сны, Длинная Борода, прихватив заранее приготовленный тайком от старой жены узелок с подарками для Аснат, тихо выскользнул на улицу. Оставалось каких-нибудь сто шагов до ее дома, когда вдруг откуда ни возьмись, из-за угла, как шайтан изпод земли, вынырнула сторбленная фигура старухи Беневше, направляющейся куда-то. При виде Беневше, известной болтуни и большой сплетницы, Эсеф неволь-

но вздрогнул и помрачнел. Длинная Борода, сразу надвинув на глаза папаху и спрятав узелок за спину, поспешно отошел в сторону и прижался спиной к забору: авось, старуха его не заметит или не узнает. Но Беневше, увидев застывшего у забора человека с наполовину закрытым под надвинутой папачой лицом, точно разбойник, избегающий открытой встречи с людьми, сначала испугалась и чуть не закричала от страха. Когда же любопытство взяло верх над страхом, она подошла поближе и узнала в «разбойнике» с длинной бородой своего односельчанина Эсефа. Беневше облегченно вздохнула и многозначительно покашляла. Потом она, упершись рукой в бок и выгнув спину, будто мстя Эсефу за только что пережитый страх, вдруг, к ужасу двоюродного брата, заговорила с ним таким неестественно громким голосом, точно обращалась к глухому или ее с ним по крайней мере разделяла шумная река.

— Ай Эсеф! Добрые порядочные мужья, склонив свои головушки на одну подушку со своими женушками, давно спят и видят приятные сны, а ты чего шляешься ночью по селу, как неприкаянный?..

«Знает же карга старая, куда и зачем я иду, но нарочно кричит, чтобы все слышали, знали об этом...» — с возмущением и страхом подумал Длинная Борода и поспешил убраться подальше от назойливой старухи.

Встреча с Беневше расстроила Эсефа. Придя к молодой жене, он, вручив ей узелок с подарками, без всякого воодушевления поздравил ее с праздником и после второй чарки вина положил отяжелевшую голову на колени жены и вскоре заснул.

Как только Эсеф уснул, наполняя комнату могучим храпом, Аснат по обыкновению принялась «приводить в порядок» его бороду. Ей, молодой женщине, было не по нраву, что у мужа борода наполовину седая и это придает ему старческий вид. Всякий раз, когда он приходил к ней на свидание, она, усыпляя Эсефа на своих коленях, начинала безжалостно выдергивать седые нити из его бороды. Но пышная борода мужа, хоть и таяла непрерывно благодаря ее систематической «работке», однако, как на грех, несмотря на все старания Аснат, в ней почему-то седых волос становилось больше, чем черных. И она в конце концов, отчаявшись «омолодить» основательно потрепанную бороду мужа, которая

теперь начинала раздражать ее, решила, что лучше вообще ликвидировать ее.

И вот в праздничную ночь, как только усталый, озабоченный и слегка охмелевший дядя Эсеф заснул, ему приснился странный сон: одна половина его бороды — белая-белая, как снег на горной вершине, а другая — черная, как грозовая туча. А обе его жены, точно взбесившись, вцепились в его бороду и каждая с силой тянет ее к себе: молодая — белую половину, а старая — черную. Эсеф орет благим матом, неистово ругается, грозит, а им как с гуся вода. В тот самый момент, когда жены раздирали его бороду, дядя Эсеф проснулся внезапно от нестерпимой боли. Открыв глаза, колхозный конюх обалдело посмотрел на полуобнаженную жену, которая держала его голову на своих коленях и на самом деле дергала его за бороду с такой силой, словно хотела вырвать ее. А в это время расшалившийся весенний ветерок, точно запоздалый гость или случайный путник, несколько раз кряду осторожно ударил по стеклу упругой веткой яблони, росшей перед окном Аснат. Спросонья робкий стук в окно показался Эсефу очень подозрительным. Ему сразу же взбрело в голову, что Аснат, так сильно дергая его за бороду наверняка хотела проверить: крепко ли спит старый муж, чтобы тайком от него впустить к себе молодого ошне<sup>1</sup>.

Спустя несколько минут после этого, дядя Эсеф, потрясенный до глубины души «подлой изменой» молодой жены, с развевающимися на ветру жалкими остатками общипанной бороды, напоминающей сейчас пстрепанную метлу, бежал, как очумелый, через все село в направлении своего дома. За поворотом улицы «обманутой» двоеженец, у которого земля горела под ногами, горяча врзался в стаю собак, собравшихся чуть ли не со всех концов села на «собачью свадьбу». Рассерженные не на шутку его неожиданным вторжением, псы сразу всполошились и, обнажив белые клыки, будто смеясь над ним, дружно накинулись на него со всех сторон с громким лаем. Эсеф, защищаясь, стал отбиваться от них красным кушаком, который он, убегая от Аснат, в спешке и волнении забыл надеть на себя и держал сейчас в руке. Но два здоровых, лохматых и, видно, наи-

---

<sup>1</sup> Ошне — любовник.



более свирепых пса вцепились зубами в кушак, как его жены во сне в его несчастную бороду, и, яростно рыча, пытались вырвать кушак из рук Эсефа. Эсеф, не взирая на то, что был весь искусан собаками, решил стоять насмерть, но спасти кушак, не дать его на осквернение. А разошедшиеся псы, окончательно выведенные из себя упрямством Длинной Бороды, так бесцеремонно нарушившего их веселье, зажали его в кольцо и с бешеным лаем стали атаковать со всех сторон.

На следующий день рано утром, когда старуха Беневше и другие женщины выгоняли своих коров в стадо, они, к своему изумлению, увидели валявшийся на земле красный кушак дяди Эсефа, растерзанный и загаженный ночными псами...

## ЧЕРНЫЕ СЛЕЗЫ

— Э-э-эх, бабка, бабка, будь ты неладна!.. А еще говорят: «Ува-ж-жа-ай, мол, стариков, почита-а-ай, склоня-яй свою голову перед ними!..»

— А что она плохого сделала, эта бабка?

— Что сделала?! Без ножа зарезала, без ружья убила! Вот что она сделала!..

Понимаете, наша контора «Заготрогатскот», где я работаю заведующим ветеринарной службой, построила красивый десятиквартирный дом со всеми удобствами на берегу моря. И в каждой квартире по два балкона: один выходит на море, другой — в набережный парк, где по вечерам играет оркестр. Словом, не дом, а мечта! Скоро его должны заселить. Но как бы я ни мечтал, попасть в этот дом у меня было столько же шансов, сколько у грешника войти в рай. У меня есть квартира из двух комнат, правда, без удобств. Да и семья у меня — я да жена. Детей у нас нет. Живем для себя. Положа руку на сердце, скажем, зачем современному человеку дети? Они только мешают ему жить в свое удовольствие... Да, как подумаю, что не я, а кто-то другой будет жить в этом доме, душа у меня не на месте. Если уж на то пошло, что мне до тех семей, которые вовсе не имеют квартиры. Всякая рука к себе загребает. Как говорится: «И пророк за свою голову молится».

Я долго мучился, думал что бы такое предпринять, чтобы влезть в этот дом. Но ничего путного так и не придумал. Как ни говори, хоть и называется наша контора «Заготрогатскот», но руководят ею не быки и коровы с рогами и хвостами, а люди, понимающие что к чему. Я готов был уже взречь от отчаяния, когда жена неожиданно подсказала мне самую верную мысль.

— Слушай, у тебя, кажется, в селении живет столетняя бабка?..

— Правда, живет! — задыхаясь от радости, бросился я обнимать жену. — Вот это идея!

Честное слово, не вру: как только я вспомнил о своей бабке, меня вдруг охватило такое волнение, такая нежность и такая тоска по ней, что вижу: без нее я, как рыба без воды, и часу прожить не смогу. Не смогу — и все! Вот что значит родная кровь. Я чуть не заплакал от обиды и жалости, представив себе горькую судьбу моей бабушки: ведь она, бедняга, как круглая сиротка, одна-одинешенька, ни мужа, ни сыновей, ни дочерей у нее нету, один я. И живет моя бабушка, можно сказать, у чужих, у сестры, тогда как у нее есть прямой потомок — я!

Недолго думая, я в тот же день помчался в селение, чтобы привезти с собой бабушку в город жить с нами в новой квартире. Пусть, думаю, теперь руководители конторы «Заготрогатскот», если они сами не хайваны, посмеют не дать квартиру в новом доме. Таких старожилы Земли, как моя столетняя бабушка, ученые на учет берут. Они вроде бы как исторические памятники далекого прошлого находятся под особой охраной государства. Кроме того, моя бабушка — мать партизана. Ее сын, мой дядя, погиб от рук немецко-фашистских захватчиков.

Как бы там ни было, я был уверен: раз бабушка будет со мной, ордер на новую четырехкомнатную квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, у меня в кармане. Но меня теперь беспокоило другое: жива ли моя бабушка? Не скрою: я давно не видел ее и ничего о ней не слышал. Среди городской суеты и будничных забот, грешным делом, забывал о ней, не справлялся о ее здоровье.

Но опасение мое, к счастью, оказалось напрасным. К своей несказанной радости, я застал бабушку живой и здоровой. Да и она, моя бедная старушка, была до

смерти рада-радехонька встрече со мной, своим единственным внуком.

За девять лет, что я ее не видел, представьте себе, она нисколько не изменилась. Такая же маленькая, сухонькая и шустрая. И такой же у нее кальян с аршинным чубуком, который она редко выпускает изо рта. Несмотря на свой древний возраст, она сохранила острое зрение и хороший слух. Единственная перемена, которую я в ней заметил, это то, что бабушка, как мне показалось, стала еще меньше ростом.

Сначала бабушка и слышать не хотела о переезде в город, чем меня, сами можете представить, напугала здорово. Потом, когда я ласково обнял бабушку за плечи и шутливо пригрозил, что непременно похищу ее, если она добровольно не захочет поехать со мной, как в свое время мой дед похитил ее, она расчувствовалась, прослезилась и в конце-концов согласилась.

На второй день я, посадив свою бабусю на машину, привез ее в город. Мы с женой сразу начали кружиться вокруг бабки, как мотыльки вокруг свечи, от которой исходит тепло и свет. Мы из кожи лезли, чтобы создать праздничную атмосферу в доме, угодить ей во всем. Чтобы сделать ей приятное, я даже в тот вечер повел бабушку в театр. Купил два билета в первом ряду, чтобы ей хорошо было видно и слышно. Но я сейчас каюсь, ох, как каюсь, наверно, всю жизнь буду себе локти кусать, что сделал такую глупость! Кто знал, что бабка вдруг в театре на виду стольких людей поведет себя, как сумасшедшая...

В тот вечер в театре показывали пьесу, как советские партизаны в годы Отечественной войны боролись в тылу врага. Бабушка, задрав худой морщинистый подбородок, чинно сидела на своем месте, внимательно следя за ходом спектакля. Все вроде было хорошо, пока два вооруженных фашиста не втащили в немецкий штаб одного советского партизана с забинтованной головой и связанными назад руками. Сначала бабушка только беспокойно ерзала на стуле и вслух ругала фашистов. Но когда немецкий офицер, допрашивавший пленного, раздраженный его упорным молчанием, приставил к его груди дуло пистолета, бабушку мою будто ветром с места сорвало. И в то же мгновение на сцену полетела ее резиновая калоша, облепленная грязью.

которая шлепнулась о гладко выбритую физиономию немецкого офицера.

— Не смей, душман проклятый! — топая ногами, срывающимся голосом крикнула на весь зал бабушка. — Иначе я тебя, свинью поганую!.. — И разошедшаяся во всю старуха потянулась дрожащей рукой за второй калошей. Вид у старухи в этот момент был такой свирепый, что, окажись в эту самую минуту у нее под рукой вместо калоши атомная бомба, она, кажется, не колеблясь, бросила бы ее на сцену.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что я не успел вовремя удержать разъяренную бабку. Занавес немедленно опустили. Под недовольные возгласы одних, требовавших «наказать хулигана и дебошира», веселый смех и пронзительные свисты других я, не мешкая, схватил старуху за руку и силой потащил ее к выходу.

Мне, как человеку культурному и порядочному, было стыдно за ее дикую скандальную выходку. Поэтому, как только мы вышли из театра, я дал волю своему гневу. Я принялся безжалостно распекать ее, стыдить. Что делать! Хоть и старый человек, но надо воспитывать, выколачивать, как говорится, дурь из головы. Бабка слушала меня, низко опустив голову. Всю дорогу она угрюмо молчала и тихо всхлипывала, краем платка украдкой вытирая слезы: видно, мои слова пробрали ее как следует, поняла старая, что свалыла дурака.

На следующий день я сочинил большое заявление на имя директора и профкома конторы «Заготрогатскот». Ссылаясь на то, что со мной живет столетняя бабушка, мать партизана, замученного фашистскими злодеями, я требовал, чтобы мне в первую очередь представили четырехкомнатную секцию в новом доме.

Вернулся я в тот день домой как со свадьбы, в самом веселом настроении. Я даже уже представлял себе нашу жизнь с женой в новой квартире и как мы с ней под звуки оркестра, играющего по вечерам в парке, обнявшись и прильнув щекой к щеке, танцуем на нашем балконе. Но придя домой, я застал жену очень расстроенной, с красными воспаленными глазами. По щекам ее, катились черные слезы (ей плакать нельзя, она красит ресницы). Я сразу понял, что жена расстроена и плачет из-за бабушки. Ее пребывание у нас ей было неприятно

и тягостно, доставляло лишние заботы и хлопоты. А я, как порядочный человек и настоящий муж, жалею свою жену. И это естественно. Она как женщина мне нравится, кроме того, жена моя приносит домой денег больше, чем я: она заведует дамским салоном в большой парикмахерской. Я, конечно, сделал вид, что все это — пустяки. Тут же, ласково улыбнувшись ей, тихо, чтобы бабушка в другой комнате не слышала нас (я не сомневался в том, что она там или дремлет, как курица на насесте, или тянет свой кальян, наполнив комнату едким табачным дымом), прошептал на ушко:

— Моя дорогая, потерпи еще немножко, вселимся в добрый час в новую квартиру, а потом мы вежливо выпроводим бабушку назад в селение, раз она не может привыкнуть к городской жизни.

— Да она уже уехала! — с внезапно прорвавшимся рыданием проговорила жена.

— Как уехала?! — Мне показалось, что почва ускользывает из-под моих ног и я качусь в пропасть. — И ты не смогла удержать ее?!

Жена, глотая черные слезы (о, как они меня сейчас раздражали), с убитым видом покачала головой.

— Нет, не смогла. Я ее и так и этак просила, умоляла, чтобы она еще немного осталась здесь, пожила у нас, иначе нам не видать новой четырехкомнатной квартиры в новом доме...

— А она что? — перебил я жену в нетерпении.

— Валлах, говорит, раз такое дело, я тем более, говорит, не останусь у вас ни одного дня. Мне, говорит, у вас не нравится. Если, говорит, вам с мужем обязательно хочется четырехкомнатную квартиру, приезжайте жить к нам в селение. Там его отцовский дом пустует. А хороший сын, говорит, не должен дать погаснуть огню в отцовском очаге.

Одним словом, наша надежда получить новую квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам играет музыка, лопнула, как мыльный пузырь. И все из-за глупого упрямства моей бабушки. А еще говорят: «Уваж-ж-жай, мол, их, стариков! Почита-а-ай!..»

## ХАБАР И ХИНКАЛ

Дедушка Азиз вышел из сакли, остановился посреди двора и огляделся вокруг. Землю уже окутывали теплые летние сумерки, в которых расплывались очертания высоких гор, окружающих его родной аул. На небе появились первые звезды, а во многих окнах уже засветились огоньки.

«Пора идти»,— подумал старик. И только сделал первый шаг, как навстречу ему вышла из коровника жена, долговязая старуха с большими натруженными руками. В правой руке она держала медную, блестящую в сумерках бадью с парным молоком. На какую-то долю минуты они остановились друг против друга: она— высокая, костистая, и он— маленький, сухонький, чуть сутулый.

«Вот аллах послал мне женушку, то ли в наказание за мои грехи, то ли в награду за мою доброту» — мысленно подшутил над собой Азиз, оглядывая жену и задумчиво поглаживая рукой коротко остриженную белоснежную бородку.— Как я на ней женился,— ума не приложу?..»

Несмотря на свое врожденное добродушие, дедушка Азиз не выносил, когда жена вот так, лицом к лицу, становилась перед ним и смотрела на него сверху вниз. Ему казалось, что это унижает его мужское достоинство.

Первой нарушила молчание жена.

— Ва, Азиз, куда опять идешь?

— Куда хочу, туда иду,— сердито ответил он и, передернув узкими и худыми плечами, гордо подняв голову, прошел мимо жены.

Жена не нашла сразу, что сказать своему своенравному и чудаковатому мужу. После короткого молчания она крикнула ему вслед:

— Вот-вот дети должны подойти с поля, хинкал уже сварился, остался бы дома, потолок бы чесноку, поужинали бы вместе!..

Азиз, услышав слова жены, пошел дальше, всем своим видом подчеркивая, что это его совершенно не касается. Потом, словно вспомнив что-то, он вдруг остановился и повернулся лицом к сакле, возле которой все еще стояла жена:

— Эй, жена! — крикнул ей Азиз. В его голосе звуча-

ли решимость и в тоже время какая-то скрытая на-смешка.—Хоть и говорят: хинкал лучше хабара, а по мне, добрый хабар лучше твоего худого хинкала. Я иду слушать хабар, а ты как-нибудь справляйся без меня!..

Сказав это, дедушка Азиз ускорил шаг. Он мысленно выругал жену: из-за ее глупой болтовни можно опоздать в клуб, куда он спешил сейчас. Сегодня аульский радиоузел трижды громогласно оповестил джамаат о том, что приехал лектор из города читать лекцию для верующих.

...Из восьмидесяти лет своей жизни дедушка Азиз шестьдесят пять ходил за отарой. Два года тому назад его всем аулом чествовали в клубе и с почетом проводили на заслуженный отдых. С тех пор не было ни одной лекции или вечера, на которых не присутствовал бы старик.

Правда, говорят, что лектор, который приехал сегодня, очень молод, совсем юноша. Многим верующим, которые будут сейчас слушать его, он не только во внуки, но и в правнуки годится. Ну что же с этого? Есть пословица «Ум заключается не в возрасте, а в голове». Иной человек долго живет, а бестолку. На другого посмотришь: молод, а умом превзошел всех.

Рассуждая так, старик не заметил, как очутился у дверей клуба. Азиз заглянул в зал. Он был полон народу — почти одни старики и старухи. За трибуной стоял бледнолицый юноша в ярком галстуке. Все скамейки были уже заняты, только где-то в первом ряду, у самой трибуны, оставалось несколько свободных мест. Азиз на цыпочках прошел туда и чинно уселся.

— Прежде чем рассказать, как произошла жизнь на Земле и как появился человек,—уверенно начал юноша,— я коротко объясню вам, что такое жизнь...

Дедушка Азиз заерзал на скамейке и приложил ладонь к уху: очень интересно, что на этот счет собирается говорить лектор им, старикам.

— Жизнь есть способ существования белковых тел... Сущность жизненного процесса заключается в непрерывной и одновременной ассимиляции и диссимиляции живого...— тем же уверенным тоном продолжал гость.

Дедушка Азиз зажмурил глаза и энергично мотнул головой, словно желая стряхнуть с себя сонное оцепенение, и, подавшись всем телом вперед, еще больше

напряг слух. Но даже после этого всё, что говорил оратор, не доходило до его сознания. А лектор сыпал в зал научные, совершенно непонятные Азизу термины: агностицизм, атеизм, детерминизм, идеализм, дуализм, к месту и не к месту делая ссылки на Платона, Демокрита, Спинозу, Гегеля, Аристотеля, Фейербаха, Дарвина...

Неужели на свете есть такие имена, которые, как горох из торбы, сыплет этот юноша? — искренне недоумевал дедушка Азиз. — Кто они такие, носящие эти имена: мужчины или женщины, мусульмане или евреи, христиане или язычники, живые или мертвые? Может, у этого юноши жар — ему нездоровится... А в жару человек может сказать не только непутевое, но выкинуть самую неожиданную штуку. Ведь был же с ним, Азизом, случай, когда он однажды заболел двусторонним воспалением легких и в бреду принял собственную старуху, пытавшуюся напоить его теплым молоком, за самого Азраила — ангела смерти. Тогда он, недолго думая, вскочил с постели, сорвал со стены кинжал и погнался за старухой. Хорошо, что на ее крик вовремя подоспели соседи и насильно увели его в дом, уложили в постель...

От этих размышлений отвлек дедушку Азиза богатый храп, раздававшийся прямо за его затылком. Он невольно обернулся и увидел, как кузнец Сафар спит, сложив свои темные здоровенные ручки на животе и опустив кудлатую голову на могучую грудь, которая как меха в его кузнице, вздымалась и опускалась в такт храпу. Соседи его тоже сидели с безучастными, скужающими лицами. Это окончательно вывело из терпения дедушку Азиза.

— Можно?! — громко произнес Азиз, обратившись к лектору.

— Нельзя! — громовым басом ответил кузнец, который спросонья принял этот вопрос в свой адрес. — Я еще твоего ишака не подковал!..

Но в ту же минуту, сообразив, где он находится, и, испугавшись собственного голоса, кузнец растерянно посмотрел вокруг сонными глазами.

Неуместный возглас кузнеца вызвал оживление и дружный хохот в зале. Посыпались шутки, остроты. Наконец, когда все стихло, лектор спросил Азиза:



— У вас вопрос ко мне? Но я еще не кончил.— И, немного подумав, добавил: — А впрочем, что вы хотели?

— Твоего здоровья, сынок, прежде всего, — любезно, со скрытыми нотками насмешки и упрека сказал он, потрогав бородку. — Ты уж, сынок, прости меня, старика, что немного помешал твоей лекции. Но ночь еще впереди, успеешь наговориться, — начал издалека старый Азиз.— Когда курице надо снести яйцо, ты хоть пугай ее тапанчой, она все равно дело свое сделает. Так и у меня. Раз пришла мне мысль в голову, я должен ее обязательно высказать. Иначе я не могу...

— Вы, дедушка, скажите по существу,— бросил с трибуны гость, жалея, что дал этому старику слово.

Но старик, пропустив мимо ушей его реплику, спокойно продолжал:

— Ты, наверное, сынок, знаешь горскую пословицу: «Конь узнается по ходу, человек — по слову». К чему я это веду? Вот ты сейчас сказал: жизнь есть вроде ассалам-вассалам, какой-то хапур-чапур. Услышав это, сынок, я подумал, что ты еще не знаешь настоящую жизнь, раз так о ней думаешь...

— Что вы, дедушка, я ничего подобного не говорил, — пожав плечами, запротестовал юноша.

— Говорил, говорил,— с места подтвердили другие старики.

— Я говорил: «ассимиляция и диссимиляция», а не «ассалам-вассалам», — с насмешливой улыбкой возразил лектор.

— Это одно и то же! — уверенно воскликнул кто-то с задней скамейки.

— Видите, — торжествующе взглянул на лектора старый Азиз, — не зря говорится: «Сорвалось с языка — досталось всему миру». Знаешь, сынок, неглупые люди выдумали пословицу: «Жизнь, что соленая вода, чем больше пьешь, тем больше жажда». Вот что такое жизнь, а не то, что ты сказал — ассалам-вассалам... На своем веку, слава аллаху, я видел много хорошего и много плохого. Теперь я стар. Как бы сердцу не молодиться, а телу не обновиться. А хочется, валлах, как хочется, чтобы оно обновилось. Жизнь-то у нас совсем не та, что была в годы моей молодости. Где ты сейчас увидишь, чтобы дети горцев с голыми пупами шлялись по аулу,

а взрослые люди из-за куска хлеба скитались по чужим краям, сахаром лакомились только на свадьбах? Ты бы лучше сказал, как сделать жизнь еще краше, еще веселее, чтобы человек жил долго и бодро. Вот до тебя здесь читал лекцию доктор, дай аллах ему здоровья. Много хороших слов говорил, а хорошее слово — пища души. Почему вредно пить водку, особенно молодому? Молодой и без вина пьян, а напьется, так совсем голову потеряет..

— Хватит, дедушка,— страдальчески сморщив лицо, перебил лектор старика.— То, что вы говорите, к теме моей лекции не относится. Садитесь и не мешайте мне!

Дедушка Азиз хотел еще что-то сказать ему из своих мудрых советов, но разочарованно махнув рукой, сел на место. Он решил до конца лекции не проронить ни слова, какой бы вздор ни нес юноша. Но не прошло и четверти часа, как дедушка Азиз, вопреки своему решению, опять вступил в полемику с лектором.

Произошло это после того, как лектор, коротко «ознакомив» присутствующих с эволюционным учением Дарвина о происхождении видов, тут же, без всякого перехода, поразил стариков в самое сердце, заявив, что наши предки произошли не от так называемых прародителей Адама и Евы, как утверждает в библии и коране, а от обезьяны.

Услышав это, старики, в том числе и дедушка Азиз, почувствовали себя оскорбленными.

— Астапирулла... — возмущился старый Азиз.— Недаром же говорится: «Если каждый день не услышишь какую-нибудь новость или глупость, или оглохнешь, или ослепнешь».

И он, прервав лектора, счел нужным напомнить ему о том, что лет пятьдесят тому назад хозяин, на которого он батрачил, назвал его однажды обезьяной, и он, Азиз, из-за этого выбил ему глаз; потом его целый год таскали по судам и полицейским участкам.

В разгар «речи» Азиза какая-то старуха, сидевшая рядом с кузнецом, сочла слова лектора об обезьяне за осквернение памяти своих усопших предков и вскочила с места. Вытянув, как рассерженный гусь, жилистую шею и обнажив беззубые десна, она зло прошипела:

— Шам ты обезьяна и шин обезьяны, шайтан проклятый Каркаешь тут что попало!..

И она, ворча, демонстративно покинула зал.

После лекции дедушка Азиз сразу же поспешил к жене. Дома все уже спали, кроме старухи. Она терпеливо ждала его возвращения. Увидев жену, он приветливо и ласково улыбнулся ей. «А все-таки, что ни говори, ближе и роднее жены нет на свете человека», — решил он.

— Валлах, жена, зря я на этот раз не послушался твоего совета, — проговорил он и, строго нахмутив седые, лохматые брови, добавил: — Чем такой хабар, какой мы сейчас слышали, твой хинкал в тысячу раз лучше. Подавай его сюда! Бисмиллах!..

## ТЕЛЕФОН

Черт меня дернул поставить у себя дома телефон. И зачем я вбил себе в голову, что он мне очень нужен? Ведь обходился же я, слава богу, без него, телефона, столько лет. И все вроде было хорошо. А вот с тех пор, как у меня появился телефон, я вконец извелся, потерял покой. Больше того, из-за этого злополучного телефона, клянусь вам, меня едва не хватил удар.

А впрочем, так мне и надо. Говорили же мне хорошие люди из конторы связи. Особенно есть там один пожилой, полный, круглый, с виду очень добрый человек с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо, самый главный.

— Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать, писать и еще раз писать, а не растрачивать свое драгоценное время попусту на телефонные хабары-разговоры.

Честное слово, говорил. А я: «Поставьте мне телефон — и никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?»

Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне через несколько дней поставили телефон, такой модный, красивый, хоть погладь его рукой, как живого. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (на работе, конечно), позвонил самому главному, робко пожаловался.

— Телефон вам не патефон, чтобы он зашел вам сра-

зу,— ласково упрекнул меня в ответ обладатель невозмутимого, приятного голоса.

— Ведь он целую неделю молчит, не говорит!..

— Пусть молчит, хлеба-то ведь он у вас не просит.

— Все это верно, но...

— Простите, дорогой товарищ, никаких «но». У нас пока нет свободных номеров,— и положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил главному (с работы, конечно):

— Телефон молчит...

— Пусть молчит, хлеба-то он у вас не просит.

— Зачем тогда установили мне телефон?

— Вы сами просили...

— Правильно, просил, но чтобы я мог говорить по телефону... В конце концов фельетон, что ли, на вас написать?..— разозлился я.

С полминуты в трубке слышалось напряжённое сопение, потом многозначительное предупреждение:

— Пишите, если хотите, воля ваша, но фельетон — это еще не телефон...

И разговор оборвался. На второй день у меня на столе затрещал телефон. Я с улыбкой взял трубку, предвкушая удовольствие от разговора с другом, товарищем или просто знакомой.

— Алло, алло! Как там самочувствие моей жены? — вдруг слышу я в трубке.

— Что, что?! — мне показалось, что я ослышался.

— Я спрашиваю, как там самочувствие моей жены? — мягче, но настойчиво повторил чей-то мужской голос.

— Откуда я знаю,— вспыхнул я,— и какое отношение я имею к вашей жене или она ко мне?

— Гм, погодите, это разве не родильный дом? Разве я не с дежурным врачом разговариваю? — извиняющимся голосом произнес незнакомец.

— Нет, квартира.

— Ах, тогда простите.

Голос умолк, я положил трубку, вновь взялся за перо, но раздался звонок, а в трубке — тот же голос:

— Скажите, как самочувствие моей жены?

Я, не произнеся ни слова, в сердцах положил трубку. Но через минуту опять звонок, опять он же, опять тот же заклятый вопрос. Я схватился рукой за сердце и глубоко страдающим голосом взмолился:

— Дорогой мой, я же сказал вам, что это не родильный дом, а квартира, не туда звоните.

— А какой номер вашего телефона?

Я назвал. Но незнакомец словно взбесился, услышав номер.

— Как вам не стыдно?! Зачем врете?! — заорал он во всю глотку. — Я и вчера и позавчера звонил по этому самому номеру, и мне все время отвечали, как положено... Вы просто нахал, хулиган!.. Прочь от телефона, иначе милицию вызову!..

Я положил обратно трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои напоминали сейчас пчел, которые разлетелись в разные стороны, после того, как в улье поворошили палкой, а теперь не хотят вернуться в него. Дрожащей рукой я вынул из ящика папиросу, закурил. После второй затяжки телефон вновь заверещал. Я поднял трубку.

— Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девочка? — спрашивал уже другой, ласковый, но нетерпеливый голос. — Я целую неделю был на кутане, ничего не знаю...

Я сразу понял, что опять звонят в родильный дом.

— А кого бы вы хотели? — усталым голосом спросил я.

— Мне все равно, но желательно мальчика — у меня шесть дочерей...

— У вас мальчик, — произнес я и тут же положил трубку: по крайней мере, теперь не скоро будет звонить.

Через минуту — о боже! — опять звонок.

— Скажите, пожалуйста, жена моя разрешилась? А то мы все дома волнуемся, сидим как на иголках, — человек, который спрашивал, назвал фамилию жены.

Я с полминуты молчал, размышляя: если сказать «не разрешилась», будут звонить опять и опять, поэтому ответил, что она благополучно разрешилась, чувствует себя хорошо, передает привет, целует и прочее.

— А кто у нас родился?

— А кого бы вы хотели?

— Дочку мечтаю...

— Поздравляю, мечта ваша исполнилась — у вас дочь, — и положил трубку.

Я взял с кровати подушку и накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность, оказывается, ожидала меня впереди.

На следующий день кто-то раза три ударил ногой в мою дверь с такой яростью, что она чуть не сорвалась с петель. Я мигом подбежал, открыл дверь и увидел перед собой совершенно незнакомого мне мужчину с тремя свертками на руках. Два свертка он держал на правой руке, а один — на левой. Незнакомец был среднего роста и средних лет с суровым, смуглым, обветренным лицом, которое украшали отличные черные усы, лихо закрученные кончиками вверх. Одет он был в пиджак, брюки галифе с широкими клинами и мягкие блестящие сапоги. Голову незнакомца венчала серебристая каракулевая папаха с широким бархатным верхом.

— Я узнал, это вы, оказывается, вчера отвечали мне по телефону, что у меня родился сын?! — окинул он меня недобрый, почти враждебным взглядом.

По его голосу я сразу догадался, что это тот самый, который говорил, что целую неделю был на кутане...

— Да, я.

— А почему вы мне наврали?! Ведь у меня родилась тройня — и все три девочки! Вот они у меня на руках.

— А при чем тут я? Разве я виноват?!

— Я, что ли, виноват, — резко оборвал он меня, — если вы сообщили мне по телефону неправду... Кто вас заставлял?

Я чувствовал свою вину и решил благоразумно промолчать. Но тот, крича и бранясь, ставил мне в вину то, чего мне даже и во сне не снилось.

— Вы хотели разыграть меня, подшутить надо мной, посмеяться?! Где же ваша совесть?! — Он вздохнул, и бережно поправив на руках свертки, смерил меня злым, ненавидящим взглядом. — Вздумавай подшутить надо мной, вы тем самым нанесли тяжкое оскорбление не только мне, как отцу, но и моим новорожденным девочкам, всему женскому полу...

— Слушайте, я совсем не имел такого намерения, — пытался я успокоить его, но он не слушал меня, и все больше и больше расходясь, продолжал осыпать меня упреками.

— У меня на руках три будущие горянки — три! — Он гордо поднял голову. — Горянка сейчас — инженер,

горянка — ученый, горянка — министр, о горянках книги пишут, а вы... Эх... жаль, очень жаль, что жена немного подкачала, — в голосе его явственно прозвучали нотки сожаления, — не родила сразу четверых — ей бы повесили на грудь звезду матери-героини назло вот таким отсталым и пустым насмешникам, как вы... Телефон завели, мебель заграничная, а мозги с плесенью...

Пока отец новорожденных девочек упрекал и бранил меня, я вдруг с ужасом заметил, что еще один незнакомец в шляпе, со строгим, почти сердитым лицом поднимается по лестнице со свертком на руках. Мне показалось, что это тот самый мужчина, которого я поздравил по телефону с рождением дочери, а у него, наверное, родился сын. Теперь и он, видимо, тоже направляется ко мне... Я быстро захлопнул за собой дверь. Взволнованный и расстроенный, подошел я к телефону и позвонил в контору связи «самоу главному».

— Слушайте, почему мне звонят и спрашивают родильный дом?

— А-а-а! Это очень просто, мы дали вам номер телефона, принадлежавший родильному дому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без лишнего телефона. А вы, пожалуйста, не волнуйтесь.

— Как же не волноваться, люди же не знают об этом, звонят мне без конца. У меня из-за этого большие неприятности!

— Да, это вполне возможно, — согласился самый главный, — будут звонить еще.

— До каких пор? — с тревогой спросил я.

— Пока не издадут новую абонементную книжку и не укажут точно, у кого какой номер.

— А скоро ли ее издадут, эту самую абонементную книжку?

— Наверно, не скоро, судя по тому, что последняя абонементная книжка по нашему городу была издана... ровно пять лет тому назад.

Я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

— Тогда дайте мне, ради бога, другой номер.

— Не можем, — вежливо возразил тот.

Я пригрозил, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик. Но на это «самый главный» ответил мне своим обычным невозмутимым и приятным голосом.

— Ваше дело — поступайте, как хотите, но платить каждый месяц за телефон вам все равно придется, потому что ваш дом телефонизирован и за вами закреплен номер.

И вот сижу я теперь и проклиная тот день и тот час, когда я обратился в контору связи с настойчивой просьбой, чтобы мне установили телефон. На горе себе я его поставил.

## КОЗЛИНЫЙ СМЕХ

Когда колхозный арбачи Табиб Табибов узнал, что заведующего колхозной птицефермой старого Асадулла стукнула кондрашка и что он не в состоянии не только издавать членораздельные звуки, но и шевельнуть ногой, его охватило глубокое волнение. Несколько ночей подряд после этого с ним творилось что-то невообразимое: то он во сне долго и сладко чмокал и заливался довольным радостным смешком, то так громко и протяжно охал и стонал, что его бедная жена, мать пятых детей, от беспокойства и тревоги теряла голову. Она, как сиделка у изголовья больного, мечущегося в бреду, ночи напролет проводила у его постели, не смыкая глаз.

Но никто, кроме самого Табиба, не знал, почему бдлезнь старика вызвала у него такое странное состояние.

...Табибу-арбачи очень нравилась ферма, где заведующим работал старик Асадулла, а птичницей его дочь, молодая красивая женщина лет тридцати. Да и местность здесь была восхитительная. Широкою зеленою поляну со всех сторон окружал густой лес.

Мимо фермы, напевая свою извечную песню, с веселым журчаньем протекала быстрая, светлая речушка. На краю поляны сверкало белизной аккуратное помещение птицефермы с красной черепицей. Табиб часто приезжал сюда. Он привозил на арбе корм для птиц, а затем вывозил отсюда в районный центр яйца и кур для сдачи на заготовительный пункт.

Перед тем, как выехать на ферму, Табиб-арбачи наряжался, как жених, тщательно скоблил свои смуглые щеки, смазывал курдючным салом черные усы, чтобы они блестели, закручивал их кончиками вверх. А при-



ёзжая на ферму, Табиб старался все время вертеться на глазах у молодой женщины, то и дело бросая на нее взгляды, полные скрытой мольбы и нежности. Старый Асадулла, хмурый и молчаливый человек, недолюбливал женатого поклонника своей дочери. Он всегда встречал его холодно и недоверчиво, ревниво и подозрительно следил за каждым его шагом. И чтобы Табиб-арбачи долго не торчал перед носом его дочери, старик старался поскорее выпроводить его с фермы.

Но несмотря на откровенно неприязненное отношение к нему со стороны Асадуллы, Табиб каждый раз ехал сюда, как на праздник, и этот живописный уголок природы представлялся ему частицей эдема, а сама птичница — прекрасной гурией. Он в душе давно мечтал занять место старика, и конечно, чтобы его дочь оставалась работать при нем. Теперь, когда болезнь свалила с ног Асадуллу, Табиб окончательно потерял покой: он боялся, что правление колхоза может назначить на место старика другого человека, и его мечта «о рае» и «райских блаженствах», которыми он грезил, лопнет, как мыльный пузырь. И Табиб денно и ночью с трепетом и надеждой думал только о том, как подступиться к председателю колхоза, расположить его к себе, чтобы добиться своего назначения на эту должность.

Решение пришло к Табибу-арбачи неожиданно, и, как показалось ему, самое верное. Он вспомнил, что несколько дней тому назад жена председателя колхоза родила двойню, и поговаривали, что у нее не хватает молока. В таких случаях, когда у кормящей матери не хватало молока, у них в селении обычно давали детям козье молоко, разбавленное кипяченной водой. Вспомнив об этом, Табиб-арбачи сразу воспрянул духом, решив, что сам аллах послал ему удобный случай оказать услугу председателю чете, чтобы завладеть «райским уголком», а заодно и сердцем «райской красавицы».

На следующее утро Табиб-арбачи раньше обычного выгнал из хлева свою козу, за буйный нрав и драчливый характер прозванную Буян. Как только коза с важной медлительностью прошествовала через калитку, Табиб-арбачи тут же схватил ее за длинный и изогнутый, как кривая сабля, острый рог и энергично потянул за собой.

Погода во дворе стояла пасмурная, серая, моросил мелкий осенний дождь. Таиб торопился скорее доставить козу во двор председателя, чтобы теща или жена его успели выдоить у нее утреннее молоко до того, как пастух погонит стадо на пастбище. Он, конечно, постарается уговорить их оставить у себя Буян, если не на всегда, то хотя бы до того времени, пока малюткам нужно молоко.

Коза сначала шла покорно, даже несколько бодро, ласково и доверчиво потираясь шерстистым боком о ноги хозяина. Потом, видимо, почувствовав, что ведут ее не туда, куда следует, стала упираться. Недовольно мотая головой, она пыталась, сначала слабо, а потом все настойчивее вырваться из цепких рук Таиба. Но видя, что хозяин упорно не хочет освободить ее, коза взбунтовалась. Упершись всеми четырьмя ногами в землю, она принялась громко и сердито блеять. Таиб, выведенный из себя упрямством козы, схватил ее за рога и, скользя ногами по грязи, с силой поволок орущее во все горло животное за собой.

Когда Таиб, красный и весь мокрый, пыхтя и отдуваясь, с трудом втащил козу в просторный председательский двор, он увидел здесь радостную суету. Перед самым председательским домом стояла большая грузовая машина с опущенными бортами. Несколько человек торопливо выгружали из нее новенький спальный гарнитур. Председатель и его теща, худая, жилистая старуха с крючковатым носом, взлохмаченными седыми волосами, сновали вокруг машины, давая рабочим какие-то распоряжения. У обоих лица были важные, возбужденные и озабоченные.

Сперва рабочие осторожно сняли с машины бельевой шкаф с большим, почти в рост человека, блестящим, но немного мокрым от дождя зеркалом. И прежде чем занести его в дом, по указанию старухи рабочие сначала поставили его под навес, где стояла председательская «Волга». Как раз в это самое время и подошел Таиб со своей козой.

Изобразив на лице угодливую улыбку и радостно поздравив председателя и его тещу с новорожденными, а также с новым гарнитуром, Таиб-арбачи только было собрался скромно намекнуть на цель своего прихода, как Буян, почувствовав свободу, сразу же вырва-

лась из рук хозяина. Пробежав несколько шагов, она вдруг остановилась в изумлении, увидев перед собой незнакомую козу, стоявшую под навесом. Буян, гордо задрав бородатую морду, сразу приняла воинственную позу.

То же самое сделала и незнакомая коза, не уступая Буян ни в чем, словно дразня ее и провоцируя на драку. Потом оба животных, ни на шутку разозлившись друг на друга, нагнули головы до самой земли и, сердито вытаращив глаза и угрожающе выставив вперед острые рога, точно сорвавшись с цепи, с яростью кинулись друг на друга. Пока Табиб и все остальные опомнились, раздался сильный треск, и осколки разбитого зеркала, точно брызги морской волны, разлетелись во все стороны. Табиб сразу побелел, поняв, что теперь ему вовсе не видать должности зав. фермой, как собственных ушей. Задыхаясь от гнева, он бросился на козу, чтобы схватить ее и тут же расправиться с ней, как с предателем, который в одно мгновение разрушил все его расчеты и надежды. Но в ту же минуту слух Табиба резанул истошный крик старухи, да такой крик, что бедному Табибу почудилось, что наступил день Страшного суда и уже гремит трубный глас... Старая теща председателя, как и все суеверные женщины, верила в примету: если разбилось зеркало, то быть несчастью. Теперь надо было по вине этого проклятого арбачи (аллах знает, зачем и для чего он приперся к ним во двор с раннего утра со своей злополучной козой) или отвергать эту мебель, или оставить и жить под страхом ожидания большой беды.

Отвлеченный криком старухи, вконец растерявшийся Табиб-арбачи не заметил, как злонравная его коза, в которой, видимо, еще не улегся воинственный азарт, неожиданно оказалась за его спиной и с разбегу из всех сил внезапно боднула его рогами в зад, будто догадываясь, с какими нечистыми намерениями привел хозяин ее в председательский двор. Почва моментально ускользнула из-под ног Табиба, и он, беспомощно раскинув руки, упал ничком в грязь. Несколько минут он лежал так, словно оглушенный громом, ничего не сообщая. Только отдаляющееся прерывистое блеяние чертовой козы, похожее на торжествующий смех победителя, напомнило ему о том, что произошло.

## СОВБОЛ

Боби был не в духе, хотя и возвращался со свадьбы. Все, что там произошло, стояло перед его глазами и бедредило раны.

— Ах, Гавхар, Гавхар, да чтоб сгорел твой отец, осрамила ты меня на весь свет,— с сердцем выругал он жену вслух.

Ему вдруг представилась жена, которая, не ведая ни о чем, безмятежно спит. Он еще больше рассердился и застонал, как от боли.

Боби шел, опираясь на палку и слегка прихрамывая на левую ногу. Время было за полночь. Город спал. Тихо и пустынно было на улицах. В его взбудораженной памяти вновь промелькнули все события минувшего вечера.

...— Ты знаешь, Боби,— сказала ему жена, когда он пришел с работы и сел пить чай,— сегодня нас пригласили на свадьбу.

Боби опустил стакан на блюдечко, посмотрел на Гавхар, полнеющую женщину лет сорока, с черными волосами, чуть тронутыми сединой.

— Чья свадьба?

— Рахмон, друг твоей юности, женит сына, — неохотно ответила жена.

— Очень хорошо,— весело проговорил Боби.— Пригласили — надо идти.

Гавхар, пряча глаза, низко опустила голову. Боби, угадав ее настроение, недовольно уставился на жену.

— Что, не идти, может, мне на свадьбу?

— Не знаю, с деньгами туговато у нас сейчас,— тихо сказала Гавхар.

Боби, нахмурившись, сердито отодвинул от себя стакан.

— Ты вечно плачешься: «денег не хватает». Надоела мне эта твоя бесконечная музыка! — повысил он голос на жену.

Незаслуженный упрек мужа больно кольнул Гавхар в самое сердце.

Она посмотрела на него с укором. Ее муж всего-навсего маляр, к тому же единственный работник в доме, и ей, Гавхар, приходилось нелегко на его скромный заработок накормить семью, одеть, обусть. А он вместо то-

го, чтобы посочувствовать жене, пожалеть ее, быть ей благодарным, еще упрекает ее... В городе у них много знакомых, близких и дальних родственников. Не проходит месяца, а то и недели, чтобы у кого-нибудь из них не женился сын или не вышла дочь замуж, то есть не справляли свадьбу. Пусть справляют на радость, разве она против. Пусть ослепнет тот, который не желает счастья ближнему. Но ей уже невольно терпеть такое, когда ее муж всякий раз, собираясь на любую свадьбу, куда только его приглашают, то уговорами, а то и угрозами забирает у нее деньги, иногда последние, на собол — для родителей жениха и шобош — для музыкантов. На эти деньги при умении и бережливости Гавхар можно целую неделю кормить семью. Почему она должна лишать детей этих денег, чтобы ее неразумный муж с легким сердцем кидал их на свадьбах?

Боби, глядя на жену, молча сидевшую напротив, догадывался, о чем она сейчас думает. Хотя в душе он понимал, что Гавхар права, однако, несмотря на это, продолжал сердиться на нее: где это видано, чтобы на свадьбу приглашенные шли без денег на собол и шобош? Не он же, Боби, выдумал этот обычай. Не пойдешь — обидятся, скажут: не почитает, мол, нас, может, не по душе ему наша радость или пожалел денег, пятое-десятое...

Между тем время шло. На дворе стало совсем темно. Ничего не сказав жене, Боби с подчеркнутым недовольством встал, подошел к вешалке, взял свою палку и вышел из дому. «Ладно, пойду поздравлю Рахмона со свадьбой сына и, сославшись на нездоровье, сразу же вернусь обратно», — решил он про себя.

...На дворе, где играли свадьбу, были расставлены широким полукругом длинные скамьи, столы, еще не накрытые, но за которыми уже сидели празднично одетые гости. Между столами был устроен майдан для танцев. Под звуки тары и бубна парень и девушка лихо отплясывали лезгинку. В отдаленном полуосвещенном углу двора в огромном закопченном котле, возле которого возилась кейвони — почетная повариха, варился вкусный свадебный суп, распространявший ароматный запах.

Боби, войдя во двор, стал искать глазами Рахмона. В это время серпой, худощавый подвижный молодой

человек, с маленькими, браво закрученными кверху усиками, в чью обязанность входило развлекать публику, заметил Боби и подбежал к нему.

— О, Боби, душа моя! — с преувеличенным радушием воскликнул он, церемонно отведывая ему низкий поклон, словно падишаху. — Очень рады видеть вас. Дай бог вашим детям, внукам, правнукам такую же прекрасную свадьбу...

Серпой, продолжая осыпать Боби благими пожеланиями, фамильярно обнял гостя за плечи и, пропуская мимо ушей его возражения, повел к скамейкам и усадил среди приглашенных. Боби невольно окинул взглядом гостей. Среди них было много его знакомых. Соседом его оказался смуглый коротыш с круглыми щеками и большими светло-кариими глазами навывкате, работавший снабженцем на каком-то предприятии. Несмотря на свою чрезмерную полноту и тугой живот, перехваченный поперек темно-синей бостоновой гимнастерки широким ремнем, снабженец производил впечатление очень шустрого, подвижного и беспокойного человека. Как только на майдан выходила очередная пара для танцев, он мигом, словно заводная кукла, вскакивал, неистово хлопал в пухлые ладоши и азартно кричал:

— Харцо-о!.. Харц! Харц! Харц!..

Время от времени толстяк энергично запуская руки в карманы галифе, доставал пятирублевые бумажки, совал их танцующим и, выпучив глаза, тут же громко, с натугой выкрикивал:

— Ай шобош! Ай шобош!..

Время подходило к полуночи. Танцующие бросали деньги музыкантам, и теперь перед ними на столе была целая горка мягких, замусоленных ассигнаций. Люди уже устали, не хотели танцевать, а серпой бодро ходил по кругу, обводил нагловатыми глазами гостей.

— Больше жизни!.. Не давайте скучать ни себе ни музыкантам! — громко призывал он. Иногда серпой, извиваясь и приплясывая, подходил к кому-нибудь из гостей, почти силком вытаскивал его в круг. Несколько раз он приближался и к Боби, но тот так энергично мотал головой, показывая на палку (не могу, мол, хромаю), что сразу обезоруживал этим навязчивого организатора танцев. Но, когда, наконец, накрыли столы, расставили разные напитки, закуски, Боби, пропустив пару

рюмок водки, сам вызвал серпой и к его удивлению велел ему заказать музыкантам для него танец «Узун дере». К несказанной радости Боби, он только что вспомнил, что в кармане у него лежат два рубля. И почему бы ему тоже не станцевать, как настоящему мужчине, и не пожертвовать деньги на «ай шобош» музыкантам?

Как только музыканты начали играть, Боби встал, распрямил плечи, поправил на себе пиджак, слегка прихрамывая, неторопливо вышел на майдан. Тут же серпой вывел танцевать с ним бойкую миловидную девушку с живыми черными глазами. «Вот бы моему сыну такую невесту»,—с удовольствием подумал Боби, с нескрываемой симпатией разглядывая девушку.

Неутомимому серпой удалось раскачать уставших, но уже повеселевших гостей. По его примеру они тоже начали дружно хлопать в ладоши. Сосед Боби по столу тоже вскочил с места и, хлопая в ладоши, уже несколько охрипшим голосом принялся опять кричать:

— Харцо-о! Харц! Харц!..

Ноги сами легко понесли Боби по майдану, как в молодые годы. Возбужденный музыкой, общим весельем, он сразу почувствовал прилив сил, юношескую гибкость в теле. Во время танца он, гордо закинув голову, небрежно запустил руку в правый карман брюк, чтобы дать «ай шобош» в руки девушки, но в то же мгновенье другая его рука очутилась в левом кармане. Продолжая кружиться в танце, он стал судорожно шаривать свои карманы. Но, — о ужас! — в них было пусто. На лице его появилось выражение испуга и растерянности, ноги подкашивались, перед глазами все поплыло. Боби пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не выдать своего волнения. Музыка, дружное хлопанье гостей, которые только что воодушевляли, бодрили его, сейчас нагоняли на него панический страх и ужас, вызывали жгучее чувство стыда: хоть провались сквозь землю. А гости, как назло, вошли в азарт, начали еще сильнее хлопать, подзадоривая танцующих. Пузатый снабженец продолжал усердно кричать: «харц! харц!». Музыканты в надежде на «ай шобош», потные от усердия и усталости, играли, играли и играли.

Куда же подевались эти проклятые деньги? О горе! Что подумают о нем люди? Вот скажут: «Без гроша в кармане, как уличный мальчишка-сорванец, ворвался

в круг, еще танцевать вздумал». Догадаются, обязательно догадаются, что он пришел на свадьбу, не захватив денег не только на совбол, но и на шобош. Осрамлены его мужская честь и достоинство!..

От сильного волнения и расстройства забыв, где находится, Боби внезапно остановился и на виду у всех гостей машинально вывернул пустые карманы. Уже было поздно, когда он спохватился. Раздался дружный, оглушительный хохот. Толстяк, схватившись рукой за живот, покатывался со смеху. Бубнист, опустив бубен на колени, пронзил растерянную фигуру Боби недобрым взглядом. Под насмешливые взгляды и улыбки собравшихся Боби, пряча глаза, усталый, мокрый и подавленный, еле передвигая ноги и сильно хромя, тут же ушел со свадьбы. Какой-то мальчишка догнал его и вручил ему его палку, которую он от волнения забыл. А может, после всего случившегося ему просто было неловко и стыдно снова встретиться с гостями.

И вот он идет сейчас по пустынным и безлюдным улицам мирно спящего города, взволнованный и мрачный, мысленно ругая жену, музыкантов, серпои и особенно тех, кто выдумал этот проклятый «ай шобош» и совбол.

## ПИШКЕШ

Встретил я недавно своего друга Салара, механика авторемонтного завода. Больше месяца мы с ним не виделись. Я слышал, что он получил секцию со всеми удобствами в новом доме. А до этого семья Салара ютилась в одной небольшой комнатке. Я представлял себе радость моего друга, его семьи по этому счастливому случаю, но против моего ожидания вид у моего друга был далеко не счастливый. Он почему-то выглядел мрачным и озабоченным. Мне показалось, что он даже несколько постарел за это время, и в его волосах прибавилась седина. На мое дружеское приветствие и горячее поздравление Салар ответил как-то вяло, без всякого воодушевления. Я невольно насторожился.

— Салар, что-нибудь случилось? — спросил я друга.

— Нет, все в порядке, — угрюмо произнес он.



Но я чувствовал, что он от меня что-то скрывает. С минуту мы оба молчали. Я искоса взглянул на Салара. Он шел, не глядя никуда, опустив голову, задумавшись. Потом, подняв на меня серые, грустные глаза, он схватил меня за руку и спросил:

— Ну, ладно, у тебя есть время?

— Да, я никуда не спешу.

— В таком случае давай посидим вот тут,— он указал на скамейку в сквере.— Я сейчас тебе все расскажу.

Мы сели на скамейку. Погода стояла осенняя, пасмурная, подстать настроению моего друга.

Салар вынул из кармана портсигар, угостив меня сигаретой, закурил и сам, потом каким-то отсутствующим взглядом долго смотрел в одну точку. Я осторожно тронул его за руку.

— Ах да, извини, пожалуйста,— будто очнувшись, произнес он. И, словно оправдываясь, добавил: — Знаешь, все эти последние дни, и на работе, и дома, я вот так: берусь что-нибудь делать, но тут же забываюсь, все думаю и думаю об этом проклятом случае. Никак он у меня не выходит из головы...

Салар сделал еще несколько глубоких затяжек, потом, выбросив окурочек, продолжал:

— Неделю тому назад я получил квартиру. Мне не зачем объяснять тебе, какая это радость для нас, — сам знаешь. На следующий день — в субботу это было — кто-то тихо, еле слышно постучался к нам в дверь. Открываю, смотрю, в подъезде стоит совершенно незнакомый мне человек, какой-то высокий, плечистый парень. На нем замасленная тужурка, сапоги с подвернутыми голенищами, помятая кепка, сдвинутая на затылок. С виду вроде похож на шофера. У его ног лежит закрытый ящик, а на ящике — живой индюк со связанными ногами. Рядом с ящиком стоит большой баллон не то с подсолнечным маслом, не то с вином.

— Вы к кому? — спрашиваю его.

Он, приветливо поздоровавшись, почтительно улыбается.

— К вам,— уверенно отвечает он с той же почти-тельной улыбкой. — Мне сказали, чтобы я все это, — он небрежно указал на привезенные вещи, как бы желая подчеркнуть этим, что ничего, мол, здесь особенного нет,— доставил вам.

Я очень удивился, услышав это, и стал говорить ему, что он, наверное, ошибся, спутал меня с кем-нибудь другим.

— Нет, что вы, именно вам велели доставить,— почти запротестовал он.— Я же не без головы...

— А ты не спросил у него, кто прислал тебе эти подарки? — перебил я Салара, заранее догадываясь, что, если случилась с моим другом какая-нибудь неприятность, то, видимо, из-за этих подарков.

— Как же не спрашивал, спрашивал. Говорит: узнаете потом, сам он, хозяин, напишет вам... И вот, не успел я опомниться, как этот самый парень легко поднял тяжелый ящик и без моего разрешения внес в кухню. Туда же он перенес баллон и индюка. Потом, вежливо попрощавшись, он бесшумно, на цыпочках удалился.

Как только шофер неизвестного мне «хозяина» ушел, на кухню с шумом вбежали мои дети. Когда я на их глазах открыл ящик, они, увидев аккуратно сложенные в нем виноградные кисти с чуть сморщившимися желтыми ягодами, радостно запрыгали. Я каждому из них дал по кисти винограда и отправил назад. Вскоре вернулась и жена. Дети, сразу обступив мать и размахивая перед нею гроздьями, радостно сообщили ей о подарках.

Жена тоже, скажу тебе, была удивлена этому не меньше, чем я. Она смотрела на меня, а я на нее, как бы стараясь с помощью друг друга угадать, кто мог сделать нам такой неожиданный сюрприз. Мы перебирали в памяти всех наших родственников, но среди них не находили ни одного, кто мог бы в один раз послать нам в ноябре целый ящик, почти два пуда, винограда, большой баллон вина и откормленного индюка. Да и родственников, как у меня, так и у жены, раз-два и обчелся. Ты ведь знаешь,— мы оба сироты.

— Не надо было принимать подарки, коли не знаешь от кого они,— говорит мне жена.

По ее голосу я чувствую, что она скорее огорчена, чем обрадована. В душе я, конечно, был согласен с ней, но уже ничего не мог исправить. Чтобы как-нибудь успокоить ее, а заодно и себя, я принялся уверять жену в том, что все это прислал кто-то из наших друзей, желая, мол, на новоселье сделать нам приятный сюрприз.

Жена, наконец, как будто поверила этому. А через час, между нами говоря, мы даже радовались подарку и решили на следующий же день пригласить самых близких друзей и устроить небольшой пир. Ты тогда ходил на курорте. И хорошо, что тебя не было...

Салар глубоко вздохнул. Он сердито нахмурил брови, беспокойно заерзал на скамейке и опять полез в карман за портсигаром.

— На следующий день,— заговорил вновь Салар, держа между пальцами дымящуюся папиросу, — пришли мои гости. Жена накрыла стол, в широкие вазы положила виноград, налила полные графины вина, подала горячий плов с жареным индюком. Только подняли первый тост, как по радио, точно по заявке, запели застольную песню... И вот в самой середине песни, заглушая ее, кто-то громко и нетерпеливо постучался в дверь. Я быстро выскочил в коридор и открыл дверь. Смотрю, на пороге стоит тот самый шофер, будь он проклят. Рожка злая, красная, вызывающая. Он окинул меня быстрым, свирепым взглядом, закричал сердито и требовательно:

— Где ящик с виноградом?! Где вино?! Где индюк?!

Я обмер, ноги у меня подкосились. Не дожидаясь моего приглашения, он, громыхая сапожищами, ворвался в коридор. Знаешь, лучше бы пронзили грудь кинжалом в ту минуту, чем слышать такое при гостях. От расстройства и растерянности я, забыв закрыть дверь в комнату, где сидели гости, прошел с ним на кухню. И он, не найдя там ничего, что вчера оставил, заговорил с отчаянием:

— Понимаешь, произошла ошибка, досадная ошибка. То, что я привез вчера вам, наш директор совхоза велел отнести одному нужному ему человеку как пишкеш<sup>1</sup>. Но я, дурак, перепутал номер дома... Теперь он съест меня с потрохами.— И, увидев на сковороде, стоящей на плите, остатки вчерашнего индюка, кривя рот в злобной усмешке и кивая головой в сторону гостей, добавил:— А вы, я вижу, конечно, вместе со своими друзьями-приятелями рады стараться поскорее сожрать, выпить, без зазрения совести, чужое, дармовое!..

---

<sup>1</sup> Пишкеш — подарок, а нередко — замаскированная взятка.

Я думал; сойду с ума. Радио перестало петь, и гости, безусловно, слышали все, что он изрыгал. Была бы сейчас передо мной пушка, я, наверное, не задумываясь, выстрелил бы в этого человека, настолько я его возненавидел. Если бы он обозвал, оскорбил бы меня лично, куда ни шло, а то и гостей. При чем они! Ты сам знаешь, что значит у нас оскорблять гостя в доме хозяина.

— Немедленно убирайся прочь с моих глаз, холуй, негодяй, провались ты вместе со своим хозяином! — заорал я на него не своим голосом, и не давая себе отчета в том, что я делаю, схватил тяжелую сковороду и со всей силой швырнул в лицо моему обидчику. На его счастье, я промахнулся. Сковорода пролетела мимо и угодила в окно, со звоном, вдребезги разбив стекло. Только покрытая маслом жареная ляжка вчерашнего индюка попала ему между глаз.

Жена и дети с криком выбежали на кухню, а вслед за ними и гости. Шофер, видя меня в таком бешенстве, поспешил унести ноги.

Верить ли, я никогда в жизни не плакал, по крайней мере не помню такого случая, хотя обиды и горечи выпало на мою долю столько, сколько хватило бы на десятерых. Даже тогда, когда осколок немецкой шрапнели впился мне в грудь и я думал, что умираю, — не плакал, не проронил и слезинки, а только, скрепя зубами, тихо стонал от нестерпимой боли... Но сейчас от досады, незаслуженной обиды и бессильной ярости у меня комок подкатил к горлу, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не заплакать.

Гости, как могли, принялись утешать меня. Потом, каждый, ссылаясь на какую-нибудь причину, они разошлись один за другим, почти не отведав ни вина, ни плова, ни винограда. После ухода гостей мы с женой, оскорбленные и подавленные, молча сидели за накрытым столом. Потом я встал, схватил баллон, вынес его на кухню и вылил все вино в раковину. А ящик с виноградом я отнес в детский дом, который находится неподалеку от нашего дома. Детям я сказал, что виноград прислали им в подарок рабочие совхоза.

С тех пор прошло больше недели, а я, как видишь, не могу успокоиться, прийти в себя...

## ВСТРЕЧА У РОДНИКА

Омар, прижав к бокам пустые ведра и боязливо озираясь, осторожно спускался по узкой тропинке в ущелье, где из-под черной каменной скалы с монотонным журчаньем пробивался родник.

Была ночь. На темно-синем небе мерцали крупные звезды. Полная луна заливала мягким сиянием притихшую землю. При свете луны прозрачная вода в роднике отливала серебром, а на дне его, точно мелкие монеты, блестели белые, круглые, обкатанные камешки. Недалеко от источника росли сплошные зеленые кусты, откуда слышалось громкое щелканье одинокого соловья. Наверху, за ущельем, на фоне высокой лесистой горы отчетливо виднелись темные очертания саклей с редко освещенными окнами.

Подойдя к роднику, Омар бесшумно поставил ведра на землю. Еще раз посмотрев по сторонам и убедившись, что ему удалось добраться сюда никем не замеченным, он облегченно вздохнул, улыбнулся. Но вспомнив, как жена только что, почти насильно, со скандалом выпроводила его за водой, Омар сурово нахмурился, и улыбка погасла на его лице. Он медленно опустился на замшелый камень, что лежал на краю источника, задумался. Перед глазами Омара отчетливо встала картина сегодняшней ссоры с женой.

Еще утром Сакина, его жена, уходя в школу, сказала:

— Омар-джан, я приду поздно, сходи, пожалуйста, за водой. Прошу тебя!..

Омар потупил глаза и сердито буркнул:

— Ладно, уже слышал..

Чувствуя на себе осуждающий взгляд Сакины, Омар поднял на нее глаза и мученически улыбнулся.

— Сказал же пойду, чего пристала?!

Проводив жену, Омар взял ведра и по узкой лестнице осторожно спустился во двор. Едва он открыл калитку и вышел за ворота, как тотчас же стремительно вбежал обратно, громыхая ведрами: невдалеке он увидел соседа, председателя сельского Совета Мехти Бабаева, который стоял в высокой, лихо залсменной каракулевой папахе, с важной медлительностью покручивая пышные седеющие усы, и будто нарочно смотрел в его сторону.

Омар быстро прикрыл калитку, крепко прижал ее спиной. Сердце его заколотилось, а на лбу выступила испарина. Он почувствовал себя как человек, которому удалось избежать большую опасность. Отдышавшись, Омар опять осторожно приоткрыл калитку, но остановился в нерешительности. Ему представилось, как он идет с пустыми ведрами по улицам аула, а люди, показывая на него, отпускают вслед ему ядовитые шуточки:

— Остается ему теперь вместо папахи надеть на голову платок и доить корову!..

— Они с женой, видать, поменялись ролями!..

— Всегда так: дай жене волю, заведет молодца в неволю...

В душе Омара поднялась обида и гнев на жену. Пора бы ей привыкнуть к нашим аульским обычаям. Мало ли, много ли, а уже полтора года, как она приехала из города в аул, девять месяцев, как они женаты, а она все не перестает удивляться и возмущаться: как может, мол, мужчина считать для себя позором нести ношу вместо матери-старухи, сходить раз-другой к роднику за водой вместо жены?..

Это все, конечно, так. Но попробуй пойти наперекор обычаю, не только мужчины, но и женщины будут смеяться над тобой, мужчиной считать перестанут.

Правда, до последнего времени жена его только сокрушалась, но ни разу не принуждала мужа выполнять «женскую работу», потому что его мать была дома. Она, по обыкновению, вставала раньше всех, разжигала огонь в очаге, донла корову, приносила воду. Неделю две тому назад старуха уехала в соседний аул, чтобы присмотреть за больной сестрой. Теперь вся тяжесть домашней работы легла на плечи невестки, которая к тому же была беременна. Ей было тяжело после дня, проведенного в школе с детьми, еще хлопотать по хозяйству, а потом до поздней ночи проверять тетради, готовиться к занятиям. Омар видел, как нелегко жене, но, несмотря на это, по-прежнему стыдился помогать ей.

Вечером Сакина, вернувшись домой и увидев пустые ведра, пришла в отчаяние.

— Омар, ты так и не сходил по воду?! — возмутилась Сакина. — У нас же нет ни капли воды, даже руки помыть нечем. Какой же ты?! — голос ее дрогнул.

Она грузно подошла к столу и раздраженно швырнула кипу тетрадей, которую держала под мышкой. Тяжело опустившись на стул, молодая женщина уронила голову на ладони, тихо, почти беззвучно заплакала.

Омар нахмурил брови и молча взглянул на жену, на ее опущенные плечи, трясущиеся от рыданий. Резким движением он отодвинул от себя настольную лампу, сердито захлопнул книгу, встал и возбужденно зашагал по комнате.

Когда Сакина подняла голову и взгляд ее упал на обложку книги, которую только что читал муж, она еще больше возмутилась:

— Читаешь «Горянку» Расула Гамзатова, а ведешь себя, как столетний дед, напичканный предрассудками, а еще комсомолец, зоотехник, интеллигент вроде!— черные глаза жены, мокрые от слез, смотрели на мужа с бесконечным укором.

На минуту в комнате воцарилась тягостная тишина. Потом вдруг Сакина с выражением злой решимости на побледневшем лице вскочила с места и, схватив ведра, подошла к мужу.

— Если ты сейчас же не пойдешь за водой, я уйду из этого дома — и навсегда, — с гневом в голосе сказала она.

Испугавшись угрозы жены и не желая ее расстраивать, Омар подчинился. Он молча, нехотя взял у нее ведра и понуро вышел из комнаты.

На небе ярко светила луна, и он не решился выйти за калитку с ведрами: а вдруг кто-нибудь его увидит? Особенно боялся он встречи со своим соседом, председателем сельсовета Мехти Бабаевым, который, наверно, еще утром заметил его с пустыми ведрами... И он решил подождать, пока луна не скроется за тучами. Но луна, будто угадав его намерения, казалось, нарочно застыла на месте, заливая потоками света плоские крыши саклей, кривые, узкие улицы, дорогу, ведущую в ущелье к роднику.

Наконец, к большой радости Омара, со стороны ближней горы, над которой громоздились тучи, отделилась черная, лохматая, точно распростертая бурка чабана, большая туча. Подгоняемая попутным ветром, она поплыла навстречу луне. Закрыв луну, туча отбросила на землю густую тень, и все вокруг сразу потонуло

во мраке. Омар, воспользовавшись этим, мигом выскочил на улицу. Держась ближе к заборам и стенам домов, он стремглав побежал к роднику. Но когда он подошел к ущелью, луна вновь выглянула из-за тучи и залила все вокруг серебристым светом.

Набрав воды, Омар собрался было уходить, как тут же замер на месте, заметив вдали чью-то приближающуюся фигуру. От неожиданности он растерялся и не знал, что делать. Потом, спохватившись, он оставил ведра и сломя голову кинулся в кусты. Соловей, который пел в кустах, сразу умолк. Наступила полная тишина.

В спускавшемся к роднику человеке Омар узнал секретаря сельсовета Эмина Гайдарова, худого мужчину лет сорока с узкими плечами, журавлиной шеей и острым кадыком. В левой руке он держал ведро, а в правой — медный кувшин с узким длинным горлышком. Он шел спокойно, видимо, в полной уверенности, что в этот поздний час его никто не увидит. Но подойдя к роднику и увидев полные ведра с водой, Эмин сразу остановился и украдкой посмотрел по сторонам. Когда до его настроженного слуха донесся неясный шорох из кустов, он мигом опустился на корточки. Загородившись кувшином и ведром, Эмин уставился напряженным взглядом в сторону подозрительного куста и затаил дыхание.

Прошло несколько томительных минут. Кто-то хихикнул в кустах, повергая Эмина в трепет. Омар понял, что так они могут прождать до утра, встал во весь рост и, продираясь через кусты, бодро крикнул Эмину:

— О, салам алейкум, дорогой секретарь сельсовета, какая приятная встреча, а?..

А Эмин, вобрав голову в плечи, испуганно прошептал что-то похожее не то на молитву, не то на проклятье.

Подойдя к Гайдарову, Омар дружески похлопал его по спине. Тот медленно поднялся, посмотрел на широко и, как показалось ему, нахально улыбающегося Омара растерянно и враждебно.

— Ну скажи, Эмин, честно,— с трудом сдерживая разбивавший смех, сказал Омар,— давно ты ходишь по ночам вот так, украдкой, точно на тайное свидание?

— Замолчи, ради аллаха! — неожиданно вскипел Гайдаров, с опаской оглядываясь вокруг.— Чего ты хо-



хочешь, как сумасшедший? Ведь люди могут услышать нас, не все еще спят в ауле.

— Ты все же скажи честно: давно? — не унимался Омар, желая подшутить над Эмином.

— Вай аллах, — еще больше раздражаясь, шумно вздохнул Эмин. — Ты бы лучше помолчал. Первым же сюда пришел ты, а не я, — и решив отомстить ему, добавил с язвительной усмешкой: — Да еще прятался, как заяц в кустах...

Омар притворился обиженным.

— Ты что, Эмин, на самом деле, шуток не понимаешь? — сказал он с укором и тут же совсем дружелюбно добавил: — Ну ладно, хватит сердиться, давай возле источника посидим, покурим. — Омар после ссоры с женой не торопился домой.

Несколько минут они сидели молча, дымя сигаретами и прислушиваясь к петушину перепеву и тьяканью собак, доносившимся из аула. Затем Эмин схватил медный кувшин и хотел было погрузить его в воду, но Омар остановил его.

— Эмин, смотри, еще кто-то из нашего брата направляется сюда, — почти шепотом произнес он, показывая в сторону аула.

Оба они напряженно и с любопытством начали следить за приближающимся человеком.

— Вах, это же мой начальник, твой сосед, председатель сельсовета Мехти Бабаев, — почти с радостью вырвалось у Эмина. — Я его по папахе узнаю. Видишь, как она у него заломлена...

Председатель сельсовета шел медленно, поминутно оглядываясь по сторонам. Заметив людей у родника, он сперва застыл на месте, а потом, повернув назад, бросился бежать, громыхая пустыми ведрами. Эмин тут же пустился за ним вдогонку. Но Мехти, несмотря на то, что был человеком полным, к тому же в летах, продолжал бежать, неуклюже переваливаясь, как медведь, преследуемый роем пазозленных пчел.

— Постой, Мехти, постой! Чего ты бежишь, как лань от охотника, — догнав, наконец, Мехти, съязвил Эмин. — Это мы...

Председатель остановился, с грохотом выронил ведро, и не спеша повернулся назад. Успокоенный тем, что

встретил своего подчиненного, а не кого-нибудь другого, он облегченно вздохнул, снял папаху и вытер взмокший лоб.

— Ух, жарко! — проговорил он, шумно отдуваясь, и тут же принялся негромко окликать кого-то.

— Эй, выходи, не бойся! Свои тут оказывается!..

Тот, кого звали, не заставил себя долго ждать. Из-за серебристого ствола раскидистой чинары вынырнула долговязая фигура Селима, секретаря партийной организации колхоза.

Омар встретил их у родника учтиво, как все равно гостеприимный хозяин.

— О, добро пожаловать, дорогие друзья! — весело произнес он, приглашая друзей к роднику. — Только для общего удобства давайте отныне ходить по воду все вместе и только днем.

— Да в своем ли ты уме, Омар! — испугался председатель, который еще не совсем справился с волнением.

— А почему бы и нет, — поддержал Омара Селим. — Видишь, сама жизнь заставляет нас идти вопреки этому обычаю. Кроме того, чего мы, собственно, боимся? Как будто идем не за водой, а воровать чужое добро.

— Не сама жизнь, дорогой партторг, а наши с вами жены заставляют, будь они неладны... — решил поправить Селима мрачно молчавший Эмин, недовольный его поддержкой «безумного» предложения молодого колхозного зоотехника. — Больно они хвост задрали, надо бы им его немного прикрутить.

— Нельзя, опасно! Как бы нам с тобой за это самое дело потом не прикрутили хвосты, — предостерегающе заметил председатель сельсовета своему секретарю, может быть, с огорчением, вспомнив в эту минуту, как его самого жена, не считаясь ни с его возрастом, ни с его высоким положением в ауле, бесцеремонно вытолкала из дому. Безнадежно махнув рукой, он добавил: — Лучше не связываться!..

Пока председатель сельсовета, его секретарь и вожаки коммунистов колхоза не спеша набирали воду и разговаривали между собой, Омар стоял и смотрел на ночное небо, густо усыпанное мигающими звездами, на ясную луну. Все, что произошло сейчас с ними, четверьмя мужчинами, у родника, показалось ему вдруг глупым и смешным. Он невольно начал смеяться, смеяться от

души над своими недавними сомнениями, колебаниями и страхами, да не только своими...

Как бы в ответ на веселое настроение Омара в кустах вновь раздалась звонкая соловьиная трель. С улыбкой оглядывая Эмина, Мехти и Селима, молча ждавших его с полными ведрами и кувшинами, и указывая рукой на звездное небо, Омар громко воскликнул:

— Не правда ли, друзья, чудесная ночь?

## ЖЕРТВА ИНОСКАЗАНИЯ

Дорогие земляки и родственники! Друзья мои! Люди добрые! Заклинаю вас всеми святыми, не говорите со мной, ради бога, иносказаниями! Их тонкий намек и скрытый смысл не для моего неискущенного ума. Лучше отчитайте меня, отругайте, если хотите, но, прошу вас, ни в письмах ваших, ни в личных разговорах со мной не употребляйте эти проклятые иносказания и двусмысленные поговорки! Я боюсь их, как ужасный змей пеструю веревку. Уж больно чувствительна и глубока рана, нанесенная ими моему сердцу: будь неладны те, кто их выдумал, и те, кто повторяет их к месту и не к месту. Из-за них, клянусь вашей жизнью, родной дядя стал моим кровным врагом. Но самое страшное и самое ужасное то, что из-за этих нелепых иносказаний я потерял... Вай, аман! Если бы вы только знали, что я потерял...

Вот как это случилось.

...Получил я однажды письмо от своей бабушки, которая самовластно заправляла всеми делами нашего рода.

«Дорогой внук! Ответь: «да» или «нет» — в категорическом тоне требовала бабка, — пьют ли твои глаза воду с лица Рейхан? <sup>1</sup>»

Рейхан, вы знаете, — это нежное, хрупкое, благоухающее растение. Но Рейхан звали и мою девушку, которую я любил. Когда я бывал рядом с ней, мне, действительно, казалось, что все в мире цветет и благоухает. Не раз мы с Рейхан, сидя на зеленой травке под цвету-

---

<sup>1</sup> Народное иносказание в смысле: «Нравится ли тебе этот человек или нет».

шим миндалем или в прохладной тени раскидистой чинары, мечтали поехать в город учиться, клялись любить друг друга вечно...

Прочитав бабушкино письмо, я очень удивился: Как могут мои глаза пить воду с лица Рейхан? Что за чушь? И почему бабка задает мне такой странный вопрос, да еще в таком категорическом тоне?

В то время, когда я получил это письмо, я лежал в больнице. За несколько дней до этого у нас в селении была свадьба, и я, отплясывая лезгинку с любимой девушкой и от радости не чуя под собой земли, вывихнул себе ногу.

Я не знал тогда, что бабушка после случившегося со мной на свадьбе решила выяснить мои отношения с Рейхан. Чтобы не вогнать меня в краску, бабушка решила спросить меня не в лоб: люблю ли я Рейхан, а прибегла к иносказанию. А я, по своей простоте, решил, что бабушка от старости просто спятила с ума и поэтому написала мне такую чушь, сама не зная зачем и к чему. И в душе смеясь над бабушкиной глупостью, я написал ей в ответ: «Дорогая бабушка! Мои глаза никогда не пили воду с лица Рейхан, да это и невозможно. Меня просто удивляет: как вы могли вообразить себе такое? Здоровы ли вы?»

Письмо мое бабушка показала Рейхан. И та, не простив мне такого «предательства», отвернулась от меня.

Потом, спустя год, когда я уже учился в городе (разумеется, один, без Рейхан), опять получаю письмо от бабушки. Опять она в том же тоне пишет мне: «Дорогой внук! Твой дядя успокаивается<sup>1</sup>— поэтому ты немедленно должен приехать и повидать его».

Я тогда был слишком юн и, как видите, не особенно разбирался в иносказаниях взрослых. Даже и сейчас, не скрою, иногда для моего неповоротливого ума какое-нибудь иносказание — такая же темная загадка, как древний иероглиф на расписном саркофаге давно усопших фараонов. Поэтому я даже и не подозревал, что слова бабушки «дядя успокаивается» имеют трагический смысл.

---

<sup>1</sup> Народное иносказательное выражение о больном, который отходит, умирает.

Не зная этого, я воспринял предупреждение бабушки по-своему и, должен сказать, очень обрадовался такому известию. Говорю, обрадовался, потому что мой дядя, несмотря на то, что носил солидную бороду, отличался диким нравом и драчливым характером. Редкий праздник или свадьба проходили в селе, чтобы этот хулиган с бородой, нализавшись до чертиков, не набуянил, не учинил драку, не оскорбил кого-нибудь, не омрачил добрым людям их веселье. Поэтому степенные, миролюбивые сельчане всячески избегали его общества, не приглашали на свои семейные торжества. Они даже ставили вопрос о принудительной высылке этого пьяницы и дебошира из села, не желая больше терпеть его в своей среде, как сорную траву в чистом поле.

Хотя дядя и любил меня (своих детей у него не было), время от времени даже посылал мне деньги, зная, что на студенческой стипендии не больно разживешься, но я в душе стыдился его. Получив одобряющую весть от бабушки, я накатал дяде откровенно-дружеское письмо следующего содержания:

«...Наконец-то, слава богу!.. Я рад, что дождался этого часа... Люди в твоём возрасте, даже самые буйные, давно остепенились, успокоились, а ты все не утихомирился, сидел у всех в печенках... Скажу не таясь: мне всегда было стыдно за тебя перед людьми за то, что ты — антиобщественный элемент. Приехать не могу... Из-за того, что у меня дядя буянил всю жизнь, а теперь, видишь ли, наконец, за ум взялся, успокоиться собирается, меня, конечно, не отпустят с учебы. Но все равно, если то, что написала мне бабка,— правда, повторяю: я очень и очень рад. Надеюсь, когда приеду, увижу тебя совсем другим. Твой племянник».

Говорят, дядя, получив мое письмо, кипел, как котел на сильном огне, от злости и возмущения и едва не сошел с ума. Лишь после второго письма из дому, в котором бабушка без всякого иносказания предупредила меня, что дядя при смерти, я немедленно отправился в селение.

Всю дорогу от города до села я переживал, волновался. Меня мучила совесть за то, что я написал дяде такое письмо. Я боялся встретиться с ним, и в то же время мне очень хотелось поскорее увидеть его, попросить прощения, в какой-то степени загладить свою вину.

Потупив глаза, я робко вошел в комнату больного. Дядя лежал на спине, укрытый теплым одеялом. За время болезни он страшно похудел, осунулся, почернел. Увидев меня, дядя сразу отвернулся, уставился глазами в стенку. Но когда я с опаской, искоса поглядывая на него, опустился на колени у его постели, осторожно, словно лапу спящего медведя, взял его мокрую от холодного пота волосатую руку и, волнуясь, поднес к губам, он чуть вздрогнул, застонал тихо и жалобно. Затем он, медленно повернувшись лицом ко мне, свободной рукой ласково провел по моей голове в знак прощения и благодарности.

Ободренный и растроганный до глубины души, я, чтобы сделать ему приятное, сказал горячо и взволнованно когда-то от кого-то услышанное мною иносказание: «Дядя! Ты такой хороший, такого, как ты, в Марагинских камышах не сыщешь!» Ах, лучше бы я сразу лишился языка, прежде чем произнести это проклятое иносказание! Оно окончательно и непоправимо испортило все... Дядя, несмотря на то, что еле дышал, как услышал такое признание из моих уст, рассвирепел, как бешеный бык. Он сразу отдернул свою руку и вскочил с постели, словно на него высыпали горячий уголь.

— Во-он! Провались с моих глаз, идиот, харамзада, разбойник,— замахнулся он на меня кулаком, потрясая бородой, и орал так, будто он увидел сейчас перед собой не родного племянника, а самого Азраила, пришедшего за его грешной душой.— Мало того, что ты, неблагодарный, желал и радовался моей смерти, ты еще обзываешь меня донгузом, чтобы донгуз своими клыками распорол тебе брюхо!..

Решив, что мой дядя сошел с ума, я пулей вылетел из дому. Но даю вам честное слово, я не знал тогда, что в «прославляемых» народной молвой Марагинских камышах водятся донгузы—кабаны. Иначе, посудите сами, стал бы я разве умирающего человека, какой бы свиньей он не был, сравнивать с ней? Тем более кого? Родного дядю! Наоборот, я по простоте душевной думал, что, подобно древним греческим богам, обитавшим на горе Олимп, в наших Марагинских камышах водится какое-нибудь доброе божество, созданное народной фантазией или нечто вроде благородного дж.сйрана, сравнение с которыми должно быть всегда приятно любому.

К счастью, дядя мой, несмотря на мрачное предсказание бабушки, «не успокоился», то есть не умер, а выжил. Говорю «к счастью», потому что теперь из-за дяди мне не приходится краснеть. После болезни он изменился, совсем другим стал: честно трудится в колхозе, обходителен с людьми. Но одно постоянно огорчает и расстраивает меня: с тех пор дядя со мной не разговаривает, а при встречах отворачивается и делает вид, будто не знает меня.

И все это, как вы видите, из-за этих проклятых иносказаний и двусмысленных поговорок. Будь неладны те, кто их выдумал, и те, кто их повторяет...

## ЛЮБОВЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Иоганн Курт сидел с полузакрытыми глазами, откинувшись на мягкую спинку кресла, когда в коридоре прожужжал звонок. Он сразу вскочил и, на ходу поправляя галстук, поспешно направился к двери. Но, увидев перед собой незнакомую худую женщину с пятнами на усталом лице и огромным круглым животом, очень удивился. Та, с трудом переводя дыхание, посмотрела на Иоганна с мягкой, чуть грустной улыбкой и еле слышно поздоровалась. Удивление на лице Иоганна внезапно сменилось глубоким сочувствием, готовностью прийти на помощь.

— Пройдите, пожалуйста, в комнату, я сейчас...— с ласковой учтивостью, торопливо проговорил Иоганн, пропуская ее вперед.

Он был уверен, что беременная женщина шла по своим делам, но вдруг у нее начались схватки и она зашла в первый попавшийся дом, чтобы ей срочно вызвали «скорую помощь». Поэтому едва знакомка успела сесть в кресло, Иоганн быстро подошел к телефону, снял трубку. Но прежде чем набрать нужный номер, он обернулся к ней, ласково проговорил:

— Не волнуйтесь, милая фрау, все будет хорошо... Я сейчас вызову машину, и она мигом вас доставит в родильный дом.

— Не надо! — замахала рукой женщина. — Я не за тем пришла... — И в голосе ее почему-то послышались нотки обиды.

Иоганн, сконфуженный, положил трубку, подошел к гостье и, опустившись напротив нее в кресло, вежливо, но холодно спросил:

— В таком случае, чем я обязан вашему визиту?

Гостья открыла сумочку, которую держала на коленях, достала из нее вчетверо сложенную газету и протянула хозяину.

— Это ваше объявление в газете? Я его отметила красным карандашом...

Хотя Курт знал назубок каждое слово этого объявления не хуже, чем молитву «Отче наш...», которую он твердил ежедневно, он сейчас все-таки еще раз пробежал его глазами: «Иоганн Курт,— говорилось в объявлении,— 40 лет, рост 1 метр 70 см, шатен, владелец небольшого галантерейного магазина, ищет себе подругу жизни возраста от 25 до 35 лет, блондинку, обладающую ровным, спокойным характером и небольшим капиталцем. Ребенок — не помеха. Можно ежедневно обращаться по адресу...»

Иоганн Курт вернул газету женщине. Их взгляды встретились, и они молча улыбнулись друг другу.

— Прошу прощения, как вас зовут, фрау?

— Эльфрида<sup>1</sup>.

— О, чудесное имя, Эльфрида,— повеселевшим голосом негромко воскликнул Курт.

Поглаживая лысую макушку, Курт принялся с нескрываемым интересом разглядывать невесту.

— От вас, на самом деле, веет миром, таким спокойствием, добротой. И я человек по натуре очень добрый, миролюбивый... — Он приятно улыбнулся и сразу же сделал признание: — Вы мне определенно подходите, не знаю, как я вам...

— О, что вы, что вы,— закудаhtала обрадованная невеста, с откровенной симпатией глядя на владельца галантерейного магазина.— Вы, господин Курт, интересный мужчина.

Курт был польщен. Пододвинувшись ближе к Эльфриде, он заговорил интимным голосом, бросая почти-тельные взгляды на ее живот и слегка касаясь рукой ее коленей.

— Ребенок — радость в доме. Он укрепляет отноше-

---

<sup>1</sup> Ф р и д е ч — покой, мир (нем.).



ния между супругами... Если у вас родится девочка, назовем ее Эльфридой в вашу честь, если мальчик — Иоганном, дадим ему мое имя.

Лицо Эльфриды расплылось в довольной улыбке. Она подняла на Иоганна глаза, полные нежности и признательности. В приятном волнении невеста вновь щелкнула замочком сумочки, достала из нее сигарету, зажигалку и закурила.

— А теперь разрешите спросить вас, дорогая фрау... — скромно начал Курт со своей неизменной доброжелательной улыбкой.

— Пожалуйста,— радостно и беспечно проговорила невеста, выпуская из ноздрей и рта длинные струи сизого дыма. (Она в мыслях уже представляла себя хозяйкой этого дома.)

— Каким капитальцем вы располагаете?

Она, конечно, ожидала этот вопрос и встретила его спокойно, даже весело. Эльфрида сказала, что у нее в сумке три тысячи марок, а в груди золотое сердце.

Галантерейщик коснулся рукой голой макушки и хмыкнул.

— Хе-хе, из сердца, если оно даже золотое, монеты, конечно, не отчеканишь,— сострил он.

Эльфрида чутьем уловила в его голосе нотки разочарования. От волнения пятна на ее лице выступили резче. Она неуклюже подалась вперед, дрожащей рукой потушила сигарету, словно она сейчас мешала ей сосредоточиться. — Могу, пожалуй, наскрести еще пятьсот, но не больше, — тяжело вздыхая, проговорила она.

Иоганн молча покрутил головой, принужденно улыбаясь.

— Прошу понять меня правильно,— извиняющимся тоном произнес он, не решаясь открыто посмотреть ей в глаза,— не... в деньгах дело.

— В чем же?

— А в том, фрау, что, когда я указывал в своем объявлении на то, что ребенок для меня не помеха, я имел в виду вовсе не такого, который еще не родился, а который уже семенит ножками.— И он, заливаясь тихим дробным смешком, стал двигать по столу двумя пальцами, изображая нетвердую походку малыша.

...Через час после ухода Эльфриды господину Курту пришлось вновь побежать к дверям на звонок очередной

невесты. На сей раз это была женщина лет тридцати пяти. Ее сопровождал высокий угловатый юноша, лицом очень похожий на нее. Какую-то долю минуты они, столкнувшись у дверей нос к носу, пытливо и изучающе смотрели друг на друга. Незнакомка внешне произвела на галантерейщика очень благоприятное впечатление. Она была стройная, лицо нежное, с мягкими чертами, большие, ясные голубые глаза с длинными ресницами смотрели ласково и приветливо, кокетливо выщипанные белокурые локоны красиво обрамляли белый чистый лоб.

Хозяин гостеприимным жестом указал гостье на кресло, в котором за час до этого сидела Эльфрида, затем с разрешения матери повел парня в другую комнату, где находилась его личная библиотека, чтобы непременно, с глазу на глаз поговорить с невестой.

Когда Иоганн вернулся, женщина, приветливо улыбаясь ему, первой протянула ему руку, назвавшись Магдалиной. Иоганн не произнес своего имени, зная, что оно хорошо известно ей по объявлению в газете, но с большим удовольствием прильнул своими сочными губами к ее белой, пахнущей духами маленькой ручке.

— О, Магдалина — чудесное имя! — с нарочитым воодушевлением воскликнул галантерейщик. — Этакое романтическое, библейское. Помните Марию Магдалину — близкую подругу Христа?!

Магдалина, кивнув белокурой головкой, признательно улыбнулась.

После недолгой беседы, когда выяснилось, что они симпатичны друг другу, галантерейщик решил, что пора заговорить о самом главном — приданом невесты, каким капиталом она располагает.

— Правда, я не так богата, — скромно сказала она, но тут же не без гордости добавила: — Но и не бедна.

— Точнее? — сдерживая волнение и нетерпеливо ерзая в кресле, спросил Иоганн.

— У меня пять тысяч марок...

Рука Иоганна вновь потянулась к лысой макушке, он, поднявшись с кресла, несколько раз молча прошелся по комнате взад-вперед. Потом, остановившись перед ней и неловко улыбаясь, сказал:

— К сожалению, не могу принять ваше предложение. И вот почему. Когда я указывал в своем объявлении

нии о том, что ребенок для меня не помеха, то я имел в виду не такого, как ваш сын...

— Чем же плох мой сын? — с недоумением и обидой спросила Магдалина. — Если мы поженимся, от него никаких забот и хлопот нам не будет. Он уже взрослый парень, ему семнадцатый год пошел.

— Это вы, фрау Магдалина, так думаете, — вежливо, но сухо возразил расчетливый галантерейщик. — А я думаю наоборот. Не знаю, как там у коммунистов в Восточной Германии, а у нас здесь, в Западной Германии, сейчас одна беда с такими юнцами. Многие из них ночи напролет пропадают в кабаре, на танцульках, увлекаются наркотиками, попадают в полицию... О, нет, нет, меня все это пугает...

Иоганн был почти искренен, когда говорил, что не может жениться на Магдалине, хотя она тронула его сердце. Но помехой этому был вовсе не возраст ее сына, а нависшая над его лавочкой угроза катастрофы. Два месяца тому назад его жена, молодая взбалмошная красотка, сбежала с одним американским офицером, с которым, видимо, у нее была давняя связь, а он, Иоганн, к несчастью, ничего не знал об этом. Да черт с ней, с женой. Лишиться такой подруги, пропади она пропадом, — не велико горе. Вся беда в том, что она, убегая с этим дон-жуаном, прихватила с собой все его сбережения — десять тысяч марок. Теперь он с содроганием думал о том, что, если в самое ближайшее время у него не окажется этой суммы, то ему грозит полное разорение и, может, придется вместо счетов взять в руки метелку и подметать улицы. Поэтому бедный галантерейщик чувствовал себя на краю пропасти.

Вот уже четвертый день по его объявлению в газете ходят к нему разные «невесты-блондинки», предлагая себя в жены. Но он каждый раз вынужден находить какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отказать: ни у одной из невест не было подходящего приданого. Правда, вчера приходила одна сильно накрашенная и разряженная молодая особа. Едва переступив порог, она налетела на него, жарко поцеловала в губы, уверяя при этом Иоганна, что она влюбилась в него по уши с первого взгляда и что у нее богатое приданое. Целых два часа «невеста» ела, пила с ним, играла в прятки, морочила ему голову, а на поверку оказалось, что она вовсе не

невеста с богатым приданым, а бедный, как корабельная крыса, безработный актер, выгнанный из театра за чрезмерное пристрастие к спиртному и дебошам.

...После ухода очередной невесты галантерейщик сидел, задумавшись, в своей тихой, как склеп, квартире и отсутствующим взглядом смотрел в окно. Холодный осенний день клонился к вечеру. Порывы ветра срывали с оголившихся деревьев последние листья, предвещая близкую зиму.

Поглощенный своими невеселыми думами, Иоганн не заметил, как в комнату вошла его жена-беглянка. Услышав ее голос, он вздрогнул, точно человек, которого напугали во сне. Она стояла в нескольких шагах от него, держа в руке маленький блестящий чемоданчик из крокодиловой кожи, и смотрела на мужа с виноватой улыбкой. Наверно, если бы жена его скончалась, а затем каким-то чудом вернулась к нему с того света, это не так поразило бы его, как ее неожиданное появление сейчас. Потом он, точно опомнившись, вскочил как ужаленный и, показывая рукой на дверь, крикнул на нее истошным голосом:

— Прочь с моих глазах! Прочь!..

Но она подошла еще ближе и опустилась перед ним на колени.

— Прошу тебя, прости меня, Иоганн... Мое сердце было все время с тобой...

— Простить тебя?! — горькая усмешка пробежала по гневному лицу Иоганна. — Мало того, что ты, будучи моей законной супругой, обвенчанной со мной святой церковью, сбежала с другим, да еще ограбила меня на-чисто, разорила!..

На глазах жены заблестели слезы, но ее тонкие накрашенные губы растягивались в улыбке.

— Иоганн, милый, не волнуйся, не сердись, — всхлипывая, проговорила она умоляющим голосом. — Твои деньги никуда не делись, все здесь, до единого пфеннига. — Она приподняла чемоданчик в руке и слегка потрянула им перед галантерейщиком. — Больше того...

Но то, что говорила дальше жена, Иоганн уже не слышал. С округлившимися глазами, он в два прыжка подскочил к ней и, выхватив чемоданчик у нее из рук, бегом устремился в другую комнату, точно хищная кошка, держащая в зубах трепещущего мышонка и спе-

шащая в угол, чтобы поскрее насладиться своей добычей.

Вскоре, когда Иоганн вышел к жене, медленно потирая лысину, на которой сверкали крупные капли пота, он был радостно возбужден, а на еле заметно вздрагивающих губах блуждала счастливая, прощающая улыбка...

## ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Я шел на ферму по крутому склону горы. Внизу, в глубоком ущелье, оглушительно грохотала бурная река. Потоки воды, пенясь и клокоча, с неукротимой силой кидались на гигантские валуны, торчащие из нее, словно стараясь сбросить их со своего пути.

Я уже почти достиг вершины горы, когда вдруг в тридцати-сорока метрах от меня, на краю вершины, показалась маленькая девочка лет пяти с непокрытой взлохмаченной головой, в ярком, пестреньком платьице. Увидев меня, она сразу повернулась назад, вскинула ручки над головой и крикнула тонким пронзительным детским голоском:

— Ой, па-а-па! Беги скорее, дядя идет! Ой, па-а-па!..

Она так же внезапно исчезла из виду, как и появилась. В голосе ее, когда она кричала, мне почему-то почудилось не то рыдание, не то смех. Мне все это показалось довольно странным и непонятым.

Когда я, наконец, взобрался наверх, предо мной открылась ровная, как скатерть, широкая зеленая поляна в цветах. Ее со всех сторон окружали высокие горы, покрытые лиловатым туманом. Посреди поляны, согнанные в кучу, послушно стояли сытые разномастные коровы. Доярки в белых халатах доили животных. Яркие лучи предзакатного солнца золотили шелковистую траву, освещали багряным светом загорелые лица и руки доярок, окрашивали в прозрачно-розовый цвет тугие струйки молока, с шелестом падавшие в ведра.

Шла обычная вечерняя дойка. Несколько коров, которые уже были подоены, слегка бодая и толкая друг друга, отделились от стада. В это время в двух-трех шагах от себя я увидел широкую мужскую спину и заросшую коричневую шею. Мужчина, как и все доярки,

подвязав халат и присев на корточки, молча доил корову.

То, что я увидел, было для меня необычно. Доить корову испокон веков считалось женским занятием, и не каждый человек, носящий на голове папаху, шел на это. Подойдя к дояру, я сразу узнал его: год тому назад, когда я приехал сюда, Хабибулла Даудов (так звали дояра) работал заведующим фермой.

Продолжая доить корову, Хабибулла сначала холодно и безразлично покосился в мою сторону, но потом его энергичное усатое лицо расплылось в приветливой улыбке: видно, узнал меня. Прекратив дойку, он порывисто поднялся, подошел ко мне и крепко пожал мне руку. Заметив мое недоумение, он слегка покраснел, смущенно улыбнулся.

— Теперь не я заведующий, а моя жена... Я только дояр, — потупив глаза, с той же смущенной улыбкой тихо произнес он.

Чтобы он не чувствовал себя неловко в моем присутствии и не отвлекать его от дела, я, извинившись, отошел в сторону, устало опустился на траву и стал искать глазами девочку в пестреньком платье. Почему она крикнула, увидев меня? Неужели ее предупреждение было обращено к Хабибулле? Ведь, кроме него, здесь никого нет из мужчин? Но девочки нигде не было видно. Какой-то суматошный рыжий теленок, по-собачьи высоко задрав хвост, резвился недалеко от меня.

Встреча с Хабибуллой вызвала у меня в памяти воспоминания о моем первом знакомстве с ним. Это было почти год назад. Приехал я тогда, как и сейчас, в качестве корреспондента. Был полдень. Стояла глубокая тишина. Ни на поляне, ни в коровнике не было видно ни коров, ни доярок. Видимо, пастух угнал стадо куда-то далеко от фермы. Лишь два новорожденных теленка с черными мокрыми носами, свернувшись калачиком, дремали на солнце. Вдруг чьи-то громкие голоса, донесшиеся из каменного домика, стоявшего рядом с коровником, привлекли мое внимание, и я сразу направился туда.

В неуютном помещении красного уголка на длинных некрашенных и грубо сколоченных скамейках сидели двенадцать женщин в белых халатах. Перед ними, небрежно засунув руки в карманы брюк и выпятив широ-

кую грудь, стоял с важным независимым видом смуглый, усатый мужчина лет сорока. Женщины, перебивая друг друга и всплескивая руками, запальчиво спорили с ним. Двенадцать пар глаз глядели на мужчину в упор с откровенным недовольством и возмущением. Но тот, слегка покачиваясь, насмешливо улыбался и пускал шуточки в их адрес.

Стараясь не привлечь к себе внимания, я уселся в дальнем углу и стал прислушиваться к спору между женщинами и мужчиной. Вскоре я уяснил себе причину этой перепалки. Оказывается, мужчина с усиками был заведующий фермой. Уже три года возглавляемая им ферма соревнуется с другой соседней фермой и все время отстает по всем показателям. Заведующий большую часть времени проводит в ауле за стаканом вина, а дела фермы совершенно забросил. Сегодня доярки обсуждали итоги соревнования за полугодие, результаты на сей раз окончательно расстроили их, вывели из себя.

— Не надо нам такого заведующего!

— Пусть убирается вон!

— Какой толк от него! — наперебой восклицали женщины.

Одна из доярок, молодая черноглазая женщина с большими круглыми серьгами в ушах, видно, самая бойкая из всех, вскочила с места и возбужденно заговорила.

— Я не знаю, почему нами — женщинами на ферме все время руководят они — мужчины, — сердито тыча пальцем в сторону самоуверенно улыбающегося заведующего произнесла она.

— Тут и знать нечего, — поглаживая ус, насмешливо бросил Хабибулла.

— Вот вспомните, подруги, — не обращая внимания на реплику Хабибуллы, еще запальчивее проговорила доярка, — сколько заведующих сменилось у нас на ферме за эти пять-шесть лет? — И она начала загибать один палец за другим. — Самед, Мамед, Рахматулла, Асадулла и вот он, да чтобы пес его укусил, Хабибулла. Кого попало подсовывают нам в заведующие, лишь бы на голове у него торчала папаха. Был же у нас Асадулла. От старости еле ноги передвигал, только и знал, что молился и дремал на топчане. Выходит: старому,

больному Асадулле и этому бездельнику Хабибулле можно быть заведующими, а таким нашим хорошим, добросовестным труженицам, как Айшат, Сакинат и Халипат, нельзя!

— Верно говоришь, сестра, машаллах! — раздался чей-то ободряющий голос за спиной доярки.

Хабибулла предупреждающе поднял руку.

— Эй, хватит тебе трещать, как сорока! — икая и дергая усом, прикрикнул он на доярку. — Меня в заведующие назначали не вы, а правление, а оно, скажу я вам, в ваших бабьих советах и указаниях не нуждается, знает, что делает. Это, во-первых. Во-вторых, ты говоришь, почему нас, мужчин, назначают заведующими, а не тебя или кого-нибудь из вашей сестры? — Хабибулла сделал многозначительную паузу и, самодовольно ухмыляясь, громко добавил: — Да потому, что у вас, у женщин, нет этой самой... руководящей жилки. Теперь тебе ясно, языкастая?!

Возмущенные женщины загалдели в один голос.

— Чушь говоришь! Где находится у тебя эта руководящая жилка, на пятке или на затылке?

— Если на то пошло, у нас больше жил, чем у вас, у мужчин!

— Наши горянки секретарями райкомов работают, министрами, а он, смотрите, что говорит. Пьет, гуляет за счет нашего труда и пота, да еще нас оскорбляет!

— Не быть ему заведующим, пусть с нами коров доит!..

Последняя фраза, брошенная кем-то из доярок, видно, задела за живое Хабибуллу. Лицо его сразу утратило самоуверенное и беспечно-веселое выражение. Мне показалось, что и хмель сразу вылетел у него из головы.

— Что я вам, баба, что ли, доить коров, глупые вы создания? — побагровел он, в сердцах стукнув кулаком по столу. — Вы, чего доброго, потребуете от меня сменить мою горскую папаху на ваш бабий платок?.. Провалитесь вы со своими коровами в джахандем!<sup>1</sup>

...С тех пор прошло более года. Не знаю, чем кончилась тогда вся эта история, хотя по возвращении в Махачкалу я написал заметку в газету о положении на ферме.

---

<sup>1</sup> Д ж а х а н д е м — ад.



Вечером мы с Хабибуллой сидели вдвоем у него в доме и мирно беседовали. Жены его не было дома. Она, оказывается, уехала в аул на собрание уполномоченных.

— Помните в тот день, какой галмагал подняли наши доярки в красном уголке? — потушив сигарету в пепельнице, вспомнил хозяин дома о прошлогодней истории.— Ох, и досталось же мне тогда от них. Я думал, что они все накануне съели «делю бугда» и от этого мозги у них воспалились. Не знаете, что такое «делю бугда»? О, это такой дурной знак, когда он попадает в хлеб или в пищу, человек на какое-то время теряет рассудок, становится как сумасшедший.

И Хабибулла в шутовском тоне рассказал, как однажды у них в ауле старик и старуха, мирно прожившие совместно более шестидесяти лет, случайно съев это самое «делю бугда» кинулись друг на друга. В завязавшейся драке старуха вырвала у мужа целый клоч из бороды, а тот откусил ей нос.

— Почему вы думаете, что женщины в тот день вели себя странно? — заступился я за доярок.

— Почему? Ведь до этого дня, скажу я вам, они никогда со мной не вступали в спор, не ругались, вели себя смирно. А потом вдруг, будто их, чертей, подменили до единой. Вот оно что.

— И вы из-за этого сердитесь на них?

— Раньше сердился, ругал их на чем свет стоит, а теперь нет,— чистосердечно признался Хабибулла.

Из дальнейшего рассказа Хабибуллы я понял, что вскоре после обсуждения его поведения на собрании работников фермы и появления заметки в газете правление колхоза отстранило его от должности заведующего, а на его место, по просьбе самих доярок, назначило его жену—лучшую доярку. Хабибулле предложили работать в полеводческой бригаде, но для этого надо было забрать семью отсюда и перекочевать в аул. А жена и слышать не хотела об этом. Она любила свою работу и зарабатывала хорошие трудовни. Тем более сейчас, когда ее назначили заведующей, ей ни за что не хотелось расставаться с фермой. И Хабибулле в конце концов пришлось, правда, скрепя сердцем, поступить согласно ее желанию: он остался на ферме и стал работать доярком.

— Не стану скрывать от вас, все равно второй раз плохого обо мне не напишите,— без тени обиды и упрёка продолжал рассказывать о себе Хабибулла.— Первое время я чувствовал себя на этой работе так, будто на меня наложили какое-то позорное клеймо. С женой я постоянно ругался, в глубине души желал ей провала. Но больше всего страдало мое мужское самолюбие. Если кто-нибудь из мужчин появлялся на ферме и заставлял меня за этим «милым» занятием — дойкой коров, я после этого долго ходил сам не свой. Чтобы в дальнейшем избежать этого, я наказал своей маленькой дочурке, чтобы она каждый раз, как только я приступлю к дойке, стояла на краю поляны и наблюдала за тропинкой, ведущей к ферме. Согласно моей «инструкции», она должна была криком предупредить меня о приближении мужчины. Тогда я немедленно прекращал дойку, оставлял ведро с молоком под коровой и убегал, на ходу сбрасывая с себя халат, не обращая внимания на язвительные шутки и дружный хохот доярок.

На минуту Хабибулла прервал свой рассказ, покачал головой и, неловко улыбаясь, продолжал опять.

— Но однажды дочурка сильно подвела меня. Она, погнавшись за бабочкой, забыла, что ей надо следить за дорогой. И вот в это самое время никем не замеченным появился на ферме наш односельчанин Мухтар. С ним, когда я был заведующим фермой, мы частенько выпивали. Он застал меня, как говорится, во всей форме: одетый в халат и опустившись на корточки, я доил корову и даже напевал ей песенку. Есть у меня такая корова по кличке «Солистка». Когда я пою, она ведет себя смиренно и лучше дает молоко. Я встал, протянул Мухтару руку, говорю: «С приездом, дорогой Мухтар, рад тебя видеть». А сам про себя думаю: «черт тебя принес сюда, лучше бы ты на дороге себе ногу вывихнул... Разнесет теперь, как ворон, недобрый хабар обо мне, скажет, обязательно скажет, людям: «До чего, мол, дошел Хабибулла: то был зав. фермой, а теперь, хе-хе, дояром стал. Остается ему только платок надеть на голову».

Весь день я был расстроен из-за этого. Вечером, проводив гостя, я, выпивший и злой, сорвал сердце на дочке: крепко побил ее. Потом сам всю ночь мучился. Девочка вздрагивала во сне, охала, стонала, а я ходил

вокруг её постели, целовал ручки, лобик, проклинал себя.

На следующий день я освободил дочурку от этой нелепой обязанности и сам с этого дня перестал обращать внимание на появление посторонних людей, делал свое дело. А чего стесняться, работа есть работа, пусть она даже и «женская». Самое главное — совесть у человека должна быть чиста. Когда я так твердо решил про себя, знаете, у меня как-то и на душе стало легче, будто камень с нее свалился и с женой перестал ругаться, скандалить по поводу и без повода. Не знаю, радоваться мне или огорчаться: моя уверенность в том, что дела на ферме пойдут вкривь и вкось, если ее возглавляет не мужчина, а женщина, не оправдалась. Наша ферма в самом деле работает намного лучше, чем тогда, когда я был заведующим. Вот какие дела, кунак, — с задумчивой улыбкой на лице закончил Хабибулла свой рассказ.

Мне показалось, что Хабибулла кое-что от меня скрывает. Я же видел его дочурку — это точно она — и слышал, как она, едва заметив меня, поднимающегося по тропинке на ферму, дважды громко крикнула, предупреждая отца. Пока я раздумывал, говорить мне ему об этом или нет, из внутренней комнаты, скрипнув дверью, к нам вошла, ступая босыми ножками по голому полу, та самая маленькая девочка, которую я видел сегодня на краю поляны. Она была сейчас в ночной рубашонке. Девочка подошла к отцу и, капризно надув губки, пожаловалась:

— Папа, мне скучно одной, хочу с тобой...

Отец посадил дочурку на колени и нежно поцеловал в лоб. Радостная улыбка осветила ее круглое миленькое личико с остреньким подбородком.

— Почему ты крикнула, когда увидела меня? — спросил я девочку, притворяясь обиженным, и шутливо пригрозил пальцем.

Девочка шаловливо откинула черную кудрявую головку на широкую грудь отца и залилась смехом, обнажив редкие маленькие зубки.

— Это я так, нарочно, — с детской непосредственностью произнесла она и, ткнув пальчиком в грудь отца, весело добавила: — Дразнила его, черта усатого!

## МАСТЕР КРАСОТЫ

— Знаете, каждый хочет быть красивым,— поднося бритву к моему намыленному горлу, назидательно произнес парикмахер.

У него мощная круглая бритая голова, отливающая синевой, неторопливые, но уверенные движения. На смуглом энергичном лице, со слегка выдающимися скулами торчат, словно пучки тонких прутьев, усы.

Когда он говорит, его левый ус то и дело шевелится и вздрагивает. Но большие темно-карие глаза смотрят на клиента с какой-то затаенной печалью.

— Так оно и должно быть,— не отрываясь от дела продолжает добровольно просвещать меня уста,<sup>1</sup>— на то он и есть человек, чтобы ценить и любить красоту. Это, извините за выражение, верблюду или козлу все равно, как они выглядят. Вот взять, к примеру, того же самого верблюда. Оттого, что у него шея кривая или горб торчит на спине, он, думаете, хоть сколько-нибудь чувствует себя несчастным? Наоборот, если вы обратили внимание, верблюд держится высокомерно, как чванливый лорд или высокородный бек. А вот у моей жены, к слову сказать,— в голосе парикмахера прозвучали печальные нотки,— на мою беду на кончике носа выскочила маленькая бородавка. Теперь из-за нее, проклятой, нет никакого спокойствия: жена вечно хнычет, ворчит, по пустякам раздражается, хоть убегай из дому.

На какую-то долю минуты парикмахер перестал двигать бритвой, задумчиво опустил глаза и шумно вздохнул, а на лице его легла тень. Должно быть, ему в эту минуту представлялся женин нос... Я от души пожалел его.

— Не нужна красота еще знаете кому? — продолжал философствовать парикмахер.— Не про нас с вами будь сказано, она, красота, не нужна еще покойнику, как не нужны ему освещение, отопление и прочие, так сказать, коммунальные услуги.

Мое лицо с намыленной щекой неудержимо стало растягиваться в широкой улыбке. Я затрясся от смеха.

— Смеяться, гражданин, во время бритья нельзя, запрещаю категорически!.. — нахмурив широкие брови,

---

<sup>1</sup> Уста — мастер, умелец.

строго произнес он, глядя на меня с таким выражением, с каким смотрят старшие на недозволенные шалости малышей.— Пока вы сидите у меня в кресле, я отвечаю за вашу жизнь, как хирург за жизнь своего пациента... Кроме того, гражданин,— мастер укоризненно покачал головой,— ничего, по-моему, смешного нет в том, что я вам рассказываю...

Справа от нас на широком подоконнике стояла маленькая зеленая елка с разноцветными игрушками. В ярком свете электрических ламп они таинственно блестели, вспыхивая и переливаясь всеми цветами радуги. За окном в зимних сумерках редкими пушистыми хлопьями лениво падал снег и спешили нагруженные покупками прохожие — был канун праздника.

Когда я перестал смеяться, парикмахер, как ни в чем не бывало, заговорил вновь:

— Вот к нам ходят клиенты: мужчины, женщины, молодые, пожилые. А почему они ходят? Чтобы выглядеть красивыми. А как же иначе. Вот, попробуй, к примеру, вас не обрить, не остричь целых три-четыре месяца, родная жена и та, извините, испугается вас. Правильно я говорю?

Парикмахер отодвинулся на полшага и в ожидании ответа вопросительно уставился на меня. В знак согласия я неопределенно хмыкнул и слегка кивнул головой.

— Но красоту тоже надо наводить умеючи,— добавил уста с нескрываемой гордостью за свою профессию.— Сделать человеку хорошую прическу, остричь волосы, это вам, извините, не траву в поле косить. Вот расскажу вам про такой случай. Не так давно я работал в дамском салоне. Приходит ко мне одна пожилая и очень полная дама и просит, чтобы я сделал ей прическу «офицеры за мной», на лбу кокетливые завитушки. Я внимательно посмотрел на свою клиентку и подумал: такая прическа не для ее возраста и комплекции. С такой прической моя клиентка скорее выглядела бы смешной, нежели как солидная дама. Мне, конечно, ничего не стоило бы взять да исполнить ее желание. Но брать деньги с человека за то, чтобы изуродовать его, я, как честный гражданин и член профсоюза коммунальных работников, не могу и не имею права. «Мадам,— говорю ей, галантно приложив руки к груди,— такая прическа, которую вы хотите, подойдет только молодень-

кой, совсем молоденькой...» Но дама не дала мне договорить, с жаром схватила меня за руку и говорит: «Вот, вот, пожалуйста, сделайте меня молоденькой...»

Парикмахер вздохнул и грустно улыбнулся.

— Не без труда, гражданин, я убедил ее, что такая прическа ей будет не к лицу и предложил ей другую, подходящую для ее возраста. Она, правда, без охоты, но все же согласилась.

Парикмахер прервал свою речь и, слегка прихрамывая, исчез за полотняной перегородкой. Через минуту-две он вынырнул оттуда с мокрой, горячей салфеткой, от которой валил густой пар, и сделал мне компресс.

Покончив с этой процедурой, он, вооружившись ножницами и металлическим гребешком, начал подправлять мне усы.

— Вы, наверно, слушаете меня, а про себя думаете: зачем, мол, я вам все это рассказываю? — словно угадав мои мысли, многозначительно улыбнулся мастер, возвращаясь к теме своего разговора. — Я это говорю к тому, что среди нас, парикмахеров, тоже есть свои, так сказать, «маяки», которые с любовью, творчески подходят к делу. А почему-то нашего брата никто надлежащим образом не ценит.

— Как не ценит? — спросил я. — Разве вам плохо платят за ваш труд?

Парикмахер поморщился, словно проглотил кислую алычу.

— Да разве все дело только в оплате, дорогой товарищ? — с укоризной произнес он. — Есть поговорка: «Не нужен мне твой плов, нужно твое внимание». Доброе слово иногда ценнее дорогой монеты. А вот я сейчас задам вам один вопрос: вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь из наших писателей сделал герсем своего рассказа, поэмы или романа нашего брата парикмахера? Нет, не видели. А ведь никто из них без наших услуг не обходится. Разве не обидно?..

Рассказчик на минуту умолк, продолжая стрекотать ножницами перед моим носом, потом тем же грустным тоном проговорил:

— А вот я знаю одного писателя, он земляком мне приходится, из одного селения мы. Он часто пишет о колхозниках, а сам-то в сельском хозяйстве разбирается так же, как я в китайской грамоте.

— Не может этого быть,— возразил я, заступаясь за незнакомого мне писателя.

— А вот послушайте,— уверенно произнес он.— Этот самый писатель, мой земляк, о котором я вам говорю, почти ребенком уехал из селения и все время живет в каком-то большом городе. Ездит он в свое селение раз в пять-шесть лет и то на свадьбу или на поминки. Мне кажется, что он сейчас с трудом различает камыш от кукурузы, осоку — от риса. А он, надо полагать, по меньшей мере раз в неделю ходит к парикмахеру, но писать ничего не пишет о нем. Я уже лет двадцать его не видел. Эх, попадись он мне под руку, я ему такое устрою...— в голосе парикмахера прозвучали мстительные нотки, и он злорадно захихикал.

Я, забыв о предосторожности парикмахера, беспокойно заерзал в кресле.

— А что бы вы ему сделали? — поинтересовался я.

— То же самое, что сделал цирюльник с Моллой Насретдином,— с жестокой улыбкой на лице произнес он.

Я как-то слышал эту историю. Говорят, однажды Молла пришел к цирюльнику побрить голову. Бритва у цирюльника оказалась очень тупой. Едва он проложил первую «борозду» на голове Моллы, тот весь скорчился от боли и на глазах выступили слезы. «Сколько у вас братьев, Молла?» — желая развлечь разговором своего клиента, вежливо осведомился цирюльник. «Было пятеро, дорогой уста,— всхлипнул Молла,— но с той роковой минуты, как моя несчастная голова попала под твою бритву, считай, что нас осталось четверо...»

Я стал внимательнее разглядывать в зеркале лицо своего собеседника и вдруг... похолодел от ужаса — я узнал его. Это действительно был мой земляк. Это он имел в виду меня, когда грозил «устроить такое...»

Салфетка, завернутая вокруг моей шеи, стала сжимать мне горло, словно петля. Я резким движением сорвал ее, мигом вскочил с кресла и поспешно кинулся к вешалке. Схватив пальто и шляпу, я, от волнения едва не сбив с ног ошеломленного парикмахера, почти бегом выскочил на улицу...

А ночью мне снились кошмары. Усатый парикмахер, размахивая тупой бритвой и прихрамывая, долго преследовал меня по открытой степи, залитой горячим летним солнцем. Вдруг, к своей несказанной радости, я уви-

дел перед собой, словно дремучий лес, густую кукурузу. Принадлежала она, оказывается, колхозу, который не раз ругали в газете за получение низкого урожая. И я решил укрыться в ней от своего преследователя, который хотел насильно сбрить мне бороду тупой бритвой. Но потом, когда немного пришел в себя, я понял, что это вовсе не кукуруза, а камыш. Мстительный парикмахер искал меня и в камыше. По соседству с камышом раскинулась рисовая плантация. Я бегом перебрался в нее. Но лишь тогда, когда я изрядно поранил себе лицо и руки, я сообразил, что это не рис, а осока.

С трудом оторвавшись от парикмахера, я, усталый, потный и запыхавшийся, вскоре оказался у высокого орехового дерева и с наслаждением растянулся в его прохладной тени. Где-то в чаще дерева заливался неугомонный соловей. Забыв об опасности, которую только что избежал, слушая вдохновенного певца, я сразу повеселел. Но в эту минуту небольшой орех упал с дерева прямо мне на лоб. Прижав рукой ушибленное место, я проснулся и тут же ощутил на подушке рядом со своей головой орех. Но то был не настоящий, а игрушечный орех, который упал с новогодней елки, стоявшей возле моей кровати. Потом, вспомнив о вчерашнем случае, я решил написать рассказ о парикмахере и отдать этим дань глубокого признания и уважения его скромной, но нужной всем нам профессии, которая делает нас красивыми.

## КАК Я ПИСАЛ ДИССЕРТАЦИЮ

— Почему бы тебе не написать диссертацию, не стать кандидатом наук? А там, как говорится, бог даст, и доктором будешь,— говорит мне жена ласково, словно уговаривая, когда мы сидим дома одни за вечерним чаепитием.

Вопрос жены показался мне настолько странным и неожиданным, что я даже поперхнулся. Поставив стакан на блюдце, я с полным недоумением посмотрел на свою дражайшую половину.

— А с чего это вдруг тебе пришло в голову, что я должен написать диссертацию? — недовольно спросил я ее. — Зачем мне это надо?



— Как зачем? — теперь уже не ласково, а с упрямыми раздражительными нотками в голосе произнесла жена, нахмурившись. — А что толку от того, что ты пишешь эти свои смешные хабары? Люди читают, смеются, а мне, скажу тебе, не до смеха, плакать впору.

— Почему?!

— Сама знаю — почему! — внезапно ожесточается жена, пускаясь в длинные рассуждения. — С тобой нельзя по-человечески ни посидеть, ни поговорить, ни посмеяться. Вечно сидишь в своем углу, как надутый индюк, и думаешь, думаешь, пока в твоей сумасбродной голове не сложится какой-нибудь хабаришка. А если и разговариваешь, то сам с собой, как помешанный, — дети даже начинают пугаться тебя. Если мы видим улыбку на твоей вечно озабоченной, угрюмой физиономии или слышим твой смех, так только тогда, когда ты пишешь эти свои злосчастные хабары, будь они неладны... Клянусь, житья в этом доме нет... — со слезами заключает жена.

Между прочим, эту песню я от нее слышу не в первый раз. Но насчет диссертации — это что-то новое для меня. Чтоб она на самом деле не расплакалась (у женщин, сами знаете, глаза на мокром месте), я, как можно мягче, будто оправдываясь, говорю ей:

— А что мне делать, если у меня профессия такая — писать?

— Что делать?! Перемени профессию, стань кандидатом, доктором. Брось свою проклятую писанину. Она у меня сидит вот тут, в печенке!

Я чувствую, как во мне поднимается злоба против нее. Мне очень обидно, досадно, что жена, самый, казалось бы, близкий человек, с таким пренебрежением говорит о моей трудной, но почетной профессии. Мне тоже хочется сказать ей в ответ что-то обидное, колкое, но, бросив взгляд на ее костяную перламутровую корбочку на серванте с набором разных склянок, пузыречков, таблеток от нервов, головной боли, давления, бессонницы и прочего, сдерживаю себя. И я пытаюсь как-нибудь объяснить ей, что у меня нет никакого призвания к профессии ученого, писать диссертацию для меня так же трудно, непосильно, как все равно иглой вырыть колодец.

— Чепуха! — громко возражает жена и тут же, понизив голос, добавляет другим тоном: — Конечно, среди

тех, кто пишет и защищает диссертации, много, очень много умных, талантливых людей, дай бог им здоровья. Но встречаются и такие, которых не назовешь ни умными, ни талантливыми.

И в подтверждение своих слов она ссылается на какого-то своего дальнего родственника, глупее и бестолковее которого она якобы никогда ещё не встречала в своей жизни.

— А вот, поди, защитил кандидатскую,— с завистью и обидой говорит она.— Глядишь, скоро и доктором станет. А ты что, хуже него?

Не скажу, чтобы довод жены, как говорится, попал мне в самую жилку. Но все же он произвел на меня впечатление, и я призадумался: с одной стороны, мне до смерти надоело вечное сетование жены по поводу моей профессии, а с другой,—я поневоле вспомнил с грустью, сколько боли и огорчений доставляют мне порою мои юмористические рассказы... Некоторые люди в моих героях узнают самих себя и при встрече косятся на меня, а иные даже открыто бранятся. Сталкивался я и с такими, которые ничего не смыслили в том, что скрывается за той или иной моей шуткой, а принимались толковать мои рассказы вкривь и вкось.

Поразмыслив и раскинув умом, я решил (правда, без особого энтузиазма) последовать совету жены. Но передо мной тут же встал вопрос: какую тему избрать для своей кандидатской диссертации, какую область научной мысли обогатить мне своим вкладом? «А что, если написать на тему: «Роль профсоюзной организации в обеспечении перегона овец с эйлага на кишлак и с кишлака на эйлаг?» — подумал я. Но тут же с сожалением отбросил эту мысль. Хотя эта тема сама по себе очень важная и к тому же представляет большой интерес для науки, но я сразу почувствовал, что она мне не по зубам, не осилю. Тем более, о профсоюзной работе у меня весьма туманное, отвлеченное представление. Вся моя связь с профсоюзной организацией, а профсоюзной организации — со мной, обычно сводилась лишь к уплате членских взносов.

— А скажи, пожалуйста, на чем защитил кандидатскую твой этот самый... бестолковый родственник? — озадаченно спрашиваю жену.

— На каких-то насекомых,— с готовностью отвечает жена уже с довольной приветливой улыбкой на лице, видимо, подумав, что благодаря ее настойчивым советам и стараниям я, хотя поздновато, но все-таки, наверно, решил взяться за ум, то есть за диссертацию.

Должен сказать, что услышав ответ жены, я почувствовал облегчение, можно сказать, почти обрадовался. Что-то, а уж насекомых, слава богу, я хорошо знаю. Мое детство и юность прошли в глухом селении. Наш дом всегда кишел блохами, клопами, тараканами, мухами, комарами и множеством других шевелящихся, копошащихся существ. Помню, однажды наш сосед, поздоровавшись с моим отцом, спросил его:

— Довуд! Как живешь-можешь?

— Валлах, сосед, живу клопотливо и блоховато, — с грустной усмешкой ответил мой отец, прищелпывая в сердцах в этот самый момент на своем черном от загара заросшем затылке блоху, неосмотрительно выползшую из его шубы.

И вот я тоже, как и родственник моей жены, решил написать о насекомых, точнее, об одном из самых распространенных видов насекомых — домашней мухе. Но когда я стал интересоваться нужной мне литературой, то оказалось, что о строении, жизни, биологии, вреде комнатной мухи написано немало трудов и среди них довольно солидных. Прочитав их, я даже изумился: у иного черствого человека и не угадаешь, есть ли у него сердце или душа, а ученые, оказывается, точно определили, что у малюсенькой ничтожной мухи и сердце на месте, и нервная система в полном порядке.

Но наличие богатой и разнообразной литературы о мухе не обескуражило меня и не поколебало мое решение писать о ней. Наоборот. Наука, как и Вселенная, не имеет границ. Я избрал себе новую тему, никем не исследованную: «Отличие характера городской мухи от сельской и главная истребительная мера борьбы с той и другой».

Чтобы придать больший вес и значение в глазах моих будущих оппонентов моей работе, я во введении, ссылаясь на авторитеты, не преминул указать, какую большую опасность представляет комнатная муха, будь она городская или сельская, для жизни и здоровья граждан. И что поскольку она — один из основных

переносчиков возбудителей многих заразных болезней (и насчитал их более сорока) и распространена во всех районах земного шара, любая новая работа о домашней мухе и средствах борьбы с ней, в том числе и моя, является ценной и полезной для науки, а стало быть, для человечества.

Перейдя к изложению одного из основных вопросов моей темы: «Отличие характера городской мухи от сельской», я напомнил, что хотя по своему строению, образу жизни, биологическим признакам городская муха ничем не отличается от сельской, но в их характере все-таки наблюдается известное различие. Городская муха в отличие от сельской более шустрая, подвижная, импульсивная, впечатлительная. У нее быстрая реакция, она более назойлива, если не сказать — нахальна. Когда гонишь ее через дверь, она опять тут как тут, без всякого стеснения лезет назад через окно. Пытаешься прогнать ее через окно, она липнет к стеклу и бежит по нему с виртуозностью канатоходца, будто знает, окаянная, что как из-за блохи шубу не сжигают, так из-за мухи ни один человек, будь он даже круглый идиот, не станет выбивать стекла на окнах, тем более сейчас, когда спрос на стекло очень велик. А сельская муха обладает более спокойным нравом. Она сонлива, малоподвижна, склонна к меланхолии, не так назойлива...

Я на обширном материале показал, что различие городской и сельской домашней мухи обусловлено внешними факторами и существенной разницей между обстановкой и условиями городской и сельской жизни. Наличие шума, постоянные сигнальные гудки, оглушительные сирены пожарных машин, раздражающая трескотня мотоциклов, всевозрастающая интенсивность транспортного движения, многоэтажные жилые дома, пыльный, дымный воздух и, конечно, недостаточность легкого «подножного корма» — все это накладывает определенный отпечаток на характер и поведение городской мухи. В то время как чистый деревенский воздух, покой и тишина, обилие разнообразной пищи и т. д. делают сельскую муху более спокойной, уравновешенной, менее нервной и назойливой.

Но главным достоинством своей диссертации и своей несомненной заслугой перед отечественной и мировой наукой я считал то, что первым из ученых указал

на возможность использования бесчисленных воробьиных стай как самое мощное и самое эффективное в перспективе средство полного уничтожения домашней мухи, хотя и не отрицал некоторое значение предлагаемых и проводимых до сих пор профилактических и истребительных мер борьбы с ней.

Почему я остановил свой выбор именно на воробье, а, допустим, не на ласточке, соловье или чижики, несмотря на то, что все они принадлежат к семейству воробьиных? Дело в том, что в отличие от этих птиц, которые, едва почуяв холод, сломя голову удирают в жаркие страны, а возвращаются лишь в разгар весны, воробей оседлая птица. Но он больше приносит вреда человеку, нежели пользы, нанося огромный ущерб садам и посевам. Ежегодно в ненасытных воробьиных зобах исчезают сотни тысяч тонн зерна, содержащегося на токах, зерносушилках, элеваторах и зерноскладах. В качестве конкретного и убедительного примера (то есть, как принято говорить в диссертации — полевого материала) я сослался на такой известный мне случай. Один из колхозных зерноскладов после уборки урожая почти до самой крыши был засыпан первосортной пшеницей. Спустя три месяца после этого пришли на склад члены ревизионной комиссии, чтобы проверить наличие зерна в нем и как оно хранится. И что же вы думаете? Как только колхозные ревизоры заглянули внутрь склада, так и ахнули от удивления. Им, конечно, было от чего ахнуть. Дело в том, что за все это время со склада по колхозной разнарядке не было отпущено ни одного килограмма зерна, но его, как ни странно, осталось меньше половины. Видя крайнее изумление ревизоров, завскладом, не долго думая, засунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. Тотчас же испуганная стайка воробьев дружно поднялась с груды зерна и поспешно скрылась между балками на потолке.

— Видите! — обрадованно воскликнул завскладом, указывая рукой на воробьиную стаю. — Все они сожрали, проклятые!

После того, как удивленные и расстроенные ревизоры, не выходя из склада, с горя распили вместе с завскладом несколько бутылок вина и основательно закусили, они составили акт, в котором указали, что причиной недостачи зерна в размере трехсот пудов являются,

дескать, воробьи, порази их чума! А что касается завскладом, то он чист, как стеклышко, невинен, как ангел.

Подтвердив, таким образом, на живом факте, сколь вреден и опасен воробей для наших хлебных запасов, я в своем научном труде выдвинул идею: заставить воробья переключиться с хлебных злаков и ягод на мух, будь они городские или лесские, и, как говорится, убить одним выстрелом двух зайцев.

Я не только подал идею, но и подсказал, как ее следует воплотить в жизнь: предложил произвести скрещивание ласточки с воробьем. Объяснял я это тем, что ласточка, в отличие от воробья, в основном питается насекомыми и главным образом — мухой. Летит она с быстротой сто двадцать километров в час и обладает большой маневренностью. Путем неоднократных скрещиваний и всевозможных экспериментов я рекомендовал эти полезные и нужные для нас качества ласточки передать воробью и таким образом вывести новую породу — помесь ласточки и воробья, занимающуюся исключительно вылавливанием и истреблением мух...

Пока я писал диссертацию, жена была очень внимательна и заботлива ко мне, как в первые счастливые годы нашей супружеской жизни. Сама она ходила осторожно, на цыпочках, кашляла в кулак. Если кто-нибудь из детей забывался и начинал шуметь, озорничать, она тут же одергивала его и грозно покрикивала:

— Тише, дети! Папа пишет диссертацию!

Когда я закончил свой труд, я первым долгом прочитал его жене. Она осталась очень довольна. Не откладывая дела в долгий ящик, я на следующий же день отправил свою диссертацию на кафедру биологии одного из университетов страны... Но вот беда: до сих пор от кафедры ни слуху ни духу, хотя с того времени прошло более года. Знаете, всякое приходит в голову... Но моя жена спокойна, не теряет надежды. Она все ссылается на своего глупого и бестолкового родственника...

## СТАРИКИ

Их всегда видели вместе, когда они бывали на прогулке. Шагали они тихо, медленно, ссутулившись, словно сгибаясь под бременем прожитых лет. Старик, ху-

дой, костистый, длинный, с большими растопыренными седыми усами на смуглом продолговатом лице, прорезанном крупными морщинами, бережно вел старуху под руку. Когда случалось ему встретиться взглядом с прохожими, он смущался и неловко улыбался. А она, маленькая, хрупкая, с шаткой походкой, доверчиво опираясь на руку своего «кавалера», все время смотрела вниз, словно боясь споткнуться о что-нибудь.

Встречные с сочувствием и умилением смотрели на них: вот, мол, какая милая, дружная пара. А он, чувствуя это, еще больше улыбался, стараясь этим скрыть свое смущение.

Раньше никогда он не ходил с женой под руку. У горцев это считается неприличным. Но теперь, когда жене было трудно передвигаться одной, без посторонней помощи, старик пренебрег «приличием», однако побороть смущение и чувство неловкости при встрече с людьми все же не мог.

Еще не так давно старик со старухой редко появлялись на улице. Жили они на четвертом этаже большого коммунального дома. Ей, страдавшей астмой, с трясущимися от слабости коленями, было трудно спускаться и подниматься по лестницам. Месяц тому назад старики обменяли с соседом двухкомнатную квартиру на однокомнатную на первом этаже в том же подъезде. И теперь они почти каждый день выходили на прогулку в сквер, чтобы посидеть там на свежем воздухе.

Обычно, придя в сквер, расположенный на берегу моря, они отыскивали «свою» скамейку. Сидя рядом с женой, старик с каким-то веселым любопытством и доброй, лукавой усмешкой в прищуренных глазах глядел на проходящие мимо парочки, на шумно забавлявшихся детей, на все, что окружало их здесь в эту прекрасную весеннюю пору. А старуха, наоборот, почти все время сидела в неподвижной позе, пригорюнившись, безучастная ко всему.

Надышавшись воздухом и устав от продолжительного сидения на жесткой скамье, они через час-другой возвращались к себе домой, купив по дороге кефир и свежие булочки. Придя домой, первой начинала разговор обычно молчаливая старуха.

— Ай, Гази, напрасно, валлах, ты это сделал,— поменял квартиру, не послушавшись меня,— произносила

она, с укором поглядывая на мужа.— Дай аллах, придет сын, мы его поженим, пойдут внучата, а комната теперь у нас одна...

Гази отвечал не сразу. Он знал, что разговор об обмене только повод, чтобы, как всегда, поговорить о сыне, а то можно подумать, что они начали забывать о нем и что еще хуже, не дай бог, его нет в живых. Он не спеша вынимал из пачки, лежащей перед ним на столе, сигарету, медленно разминал ее скрюченными узловатыми пальцами и закуривал.

— Зачем, Шекер, говоришь «напрасно»? Нам пока так удобно. Вернется наш сын, мы найдем другую квартиру. Была бы голова — папаха найдется,— оправдывался муж.

— «Найдем», «найдем»,—нахмутив лоб, сердито передразнивала старуха,— как будто это так легко найти другую квартиру. А он, свет моих очей, вот увидишь, скоро, очень скоро придет — сердце мне подсказывает.

Гази давно привык к разговорам жены о сыне, хотя и нелегко ему было слушать их. Но, чтобы не обидеть, не расстраивать жену, он всегда делал вид, будто согласен с ней. Но так, как сегодня, она никогда не говорила о сыне. Что с ней?..

— Откуда у тебя, мать, такая уверенность? — осторожно, со скрытой болью в голосе спросил он жену, гася в пепельнице недокуренную сигарету.

— Откуда? Сон видела вчера ночью,— загадочно улыбнулась старуха, и лицо ее в мелких морщинах сразу преобразилось, засияло великой материнской радостью.— Вижу во сне, мы лежим и вдруг — стук в дверь: «Мама! Мама! Это я, открой!..»

Слезы капаят из ее глаз, губы вздрагивают, дыхание становится прерывистым. Она умолкает, не в состоянии говорить больше. Краем легкого шерстяного платка дрожащей рукой вытирает непослушные слезы, а глаза продолжают улыбаться. Гази нахмуривается, молча склоняет голову, чтобы не выдать своего волнения. Он не верит снам и еще больше тому, что их единственный сын жив и здоров и когда-нибудь вернется к ним. Но как сказать об этом старухе, которая до сих пор не может смириться с мыслью о том, что сына давно нет в живых, а сейчас, как это видно из ее слов, вбила себе в голову, что он скоро должен вернуться.



Гази подымает голову и задумчиво смотрит на жену.

— Знаешь, Шекер,— говорит он совсем не то, что думает,— иногда сны сбываются. Скоро ли они сбываются, не знаю, но сбываются. Может, и твой сбудется...

Старуха молча, одними глазами улыбается ему сквозь слезы, благодарно кивает головой: это хорошо, очень хорошо, что и он верит, что их сын не только жив, но и скоро вернется.

Ночь... За окном темно и тихо. Город спит, погружившись в глубокое безмолвие. Рядом, уткнувшись лицом в подушку, посапывает старик. А ей, Шекер, все не спится. Перед глазами встает вся ее жизнь с того памятного дня, когда она, восемнадцатилетняя девушка, сбежала с Гази из родного аула в город. Родители хотели выдать ее за своего родственника, за нареченного. Но она любила Гази. Чтобы не вызвать подозрения у родителей (те уже готовились к свадьбе), Шекер в тот день, как это она делала в другие дни, рано утром вышла из отцовской сакли, направляясь с кувшином в ущелье, к роднику. Недалеко от источника, между высокими кустарниками, ее уже поджидал Гази в темной широкой бурке, накинутой на плечи, держа оседланную лошадь за повод. Гази мог бы за свою дерзость поплатиться головой, но любовь к Шекер оказалась для юноши сильнее угрозы смерти. Но, слава богу, ничего страшного не произошло. Родители Шекер, узнав, что похищение было совершенно с согласия их дочери, не стали мстить своему нежеланному зятю. Однако, возмущенные и оскорбленные поступком дочери, они не простили ей этого, отвернулись от нее.

Первое время беглецам приходилось очень трудно в чужом городе, без родных, без собственного угла. Но они были молоды, любили друг друга, и это помогло им легче переносить все тяготы и лишения, связанные с их бесприютной жизнью. Потом Гази удалось устроиться учеником бондаря на завод, а Шекер поступила на прядильную фабрику.

Вскоре в стране произошли великие перемены: совершилась революция, развернувшаяся вслед за ней гражданская война окончилась победой молодой Советской власти. Вместе с ней в жизнь молодых супругов, простых рабочих людей, вошло что-то новое,

светлое, но пока до конца еще неосознанное, и они никогда еще не чувствовали себя такими счастливыми, как сейчас. Но разве счастье когда-нибудь бывает полным и безоблачным? Годы шли, а детей у них не было. Шекер видела, что муж недоволен, и тревога закралась в сердце молодой женщины: неужели Гази бросит ее и женится на другой, забудет, как она ради любви к нему убежала с ним из отцовского гнезда, лишив себя родительского благословения и любви, и как он, рискуя жизнью, ждал ее?

Но Шекер чувствовала: рано или поздно наступит этот страшный для нее день, если у них не будет ребенка, и мучительно переживала это.

Судьба все же оказалась благосклонной к ней: на восьмом году супружеской жизни у них родился сын. Шекер назвала его в честь своего отца, который все еще продолжал хранить обиду на дочь, Юсуфом. И отцовское сердце, видно, не выдержало, растаяло. Узнав о том, что у дочери родился, наконец, ребенок и ему дали его имя, старик взял с собой старуху и, прихватив подарки, сразу приехал мириться с дочерью и зятем, а заодно посмотреть и на внука.

Шекер помнит первую улыбку на нежном личике сына-малютки. Навсегда, на всю жизнь сияющей радугой врезался в память день, когда ее малыш, радуясь и боясь, неустойчивыми дрожащими ножками сделал первые самостоятельные шаги, протягивая к ней пухлые ручонки. Шекер помнит, как будто это было не тридцать лет тому назад, а лишь вчера, как она, гордая и счастливая, с букетом ярких роз провожала сына в первый класс.

Муж хотел Юсуфику брата или сестру, но что делать, если в жизни не всегда получается так, как ты хочешь. Юсуф был у них первым и последним ребенком.

Когда началась война с Гитлером (да будет проклята мать, породившая такого изверга на горе миллионам матерей), ее Юсуфу шел только шестнадцатый год. У многих матерей гибли сыновья на фронте, а война все не кончалась. Пришло время и ее Юсуфу надеть военную форму и идти воевать с фашистами. Он сам добровольно ушел на фронт. Могла ли она удерживать его, пусть он у нее единственный сын, если все еще шла война и многие матери оплакивали своих сыновей? Ведь

кто-то другой должен встать на место павших, чтобы разбить, уничтожить, изгнать вражью стаю с родной земли.

Провожая сына на фронт (это было весной тысяча девятьсот сорок четвертого года), мать верила, надеялась, что Юсуф вернется живым и невредимым. Но весной тысяча девятьсот сорок пятого года, когда наши войска громили фашистов на их собственной территории, из части, где служил Юсуф, пришло письмо о том, что их сын пропал без вести. В письме не было сказано, что он погиб. И это оставляло матери надежду. Разве не было случаев, когда о том или другом солдате писали, что он пропал без вести, а потом оказывалось, что он жив?.. Если до сих пор, спустя много лет, он не вернулся к отцу и матери, думала Шекер, виною этому не он. Злобные враги не отпускают ее Юсуфа, держат его в плену, как злые дэвы свои жертвы в заколдованных замках. Если они, мстя ее сыну, так долго томят его в неволе, то, видно, немало он их, извергов, храброй рукой отправил на тот свет. Но не таков он, ее орел, чтобы они смогли вечно держать его в неволе. И ей, особенно после вчерашнего сна, верится, что ему, наконец, удалось вырваться на свободу и что он уже где-то в дороге, мчится, как на крыльях, в родную сторону, к своей многострадальной матери...

Взволнованная воспоминаниями и думами о сыне, старуха долго не может уснуть. Но усталость и сон, наконец, берут свое — она начинает засыпать. И вдруг сквозь дрему до нее доносятся чьи-то тяжелые шаги, которые внезапно затихают у дверей их комнаты. Старуха с трудом открывает глаза, прислушивается. Проходит минута, две, три, но в подъезде по-прежнему стоит глухая тишина. И когда старуха уже начинает думать, что это ей, наверно, просто почудилось, в дверь кто-то тихо, осторожно, словно, чтобы не вспугнуть спящих, трижды постучал. И вслед за этим Шекер слышит знакомый, бесконечно родной голос сына: «Мама! Мама! Это я, я приехал!..»

— Сын мой! — задыхаясь, почти не слышно кричит старуха, неожиданно потеряв голос.

Мать, охваченная безумной радостью, вскакивает с постели, в длинной ночной рубашке с растрепанными седыми волосами, протягивая руки вперед, она шатаясь,

как пьяная, устремляется к двери. Но, не дойдя до нее двух шагов, она как подкошенная падает.

— Мама! Мамочка! Что с тобой?!. Отец!..— слышится за дверью беспокойный, тревожный голос.

Потрясенный Гази стремительно подбегает к двери, дрожащей рукой распахивает ее и останавливается в оцепенении: в полусвеченном подъезде, у порога их двери стоит стройный, подтянутый юноша в солдатской форме, с чемоданчиком в руке. Это был соседский сын, приехавший на побывку домой. Он, видно, не знал еще, что его семья теперь уже здесь не живет.

...С тех пор старик ходит один, с палочкой в руке. Теперь, встречаясь взглядом с прохожими, на его лице уже не появляется смущенная улыбка, какую можно было заметить, когда он вел под руку свою старую подругу.

Недавно я шел по скверу и видел старика, сидевшего на той же самой скамейке, на которой он обычно любил посидеть со своей старухой. Весна по-прежнему была в разгаре. Деревья в своем зеленом уборе, трава на земле вокруг кустов, яркие цветы на клумбах, гладкая синь безбрежного моря — все празднично сверкало под яркими лучами солнца. Как и в последний раз, когда Гази был здесь с женой, мимо него по утоптанной ровной дорожке, усыпанной желтым песочком, проходили парочки, раздавался веселый детский смех, гуляли люди. А старик, сложив руки на палочке и оперев на них острый подбородок, усталыми, печальными глазами неотрывно смотрел куда-то вперед, думая о чем-то своем...

## СКАЗАНИЕ О ЛЮБВИ

### ТАТСКАЯ ЛЕГЕНДА

В тридцати-тридцати пяти километрах к югу от древнего Дербента среди задумчивых лесов, зеленых полей и глухих оврагов, над которыми висит глубокая, немного печальная тишина, приютилось мое родное селение Нюгди. Название села происходит от двух татских слов — «Нуьге дигь», что означает — «Новое селение». Кто и когда основал наше селение, почему его называли «Нуьге дигь» — об этом рассказывал мне отец, когда я еще был мальчиком.

Я, как сейчас, помню чудесный майский вечер, когда мы с отцом сидели у горящего костра на берегу неугомонной реки Григоринчая (так у нас в народе называют реку Гюльгерычай), и он рассказывал мне эту историю. До сих пор мне кажется, что я никогда еще не видел неба таким синим, высоким и звездным, как в тот вечер, а луну — такой полной и яркой. Все вокруг было залито ее прозрачным мягким сиянием: лес, сплошной темно-зеленой стеной стоявший справа от нас, точно молчаливая грозная рать перед боем, извилистая река в живописных берегах, с шумом катившая свои воды, старые развалины какого-то давно покинутого селения на пологом зеленом холме по ту сторону реки.

В такое время года отец обычно после работы на поле приходил сюда на рыбалку и всю ночь до рассвета проводил на берегу. Нередко он брал и меня с собой. Пока невод находился в воде, прикрепленный к березовым кольям, мы с отцом разводили костер, варили себе пищу, хабарничали или просто дремали на груде сухого сена, отдававшего чайным ароматом. Отец, крепкий, коренастый человек с суровым, смуглым до черноты, продолговатым лицом, обрамленным короткой, но густой смоляной бородой и пышными усами, сидел напротив меня у костра, скрестив под собой ноги, дымя кальяном с аршинным чубуком. Он, с отреченным видом глядя на огонь, о чем-то раздумывал. А я, от нечего делать ковыряя палочкой в горячей золе, тихо смотрел на него, ожидая, когда он заговорит со мной. Потом отец, точно очнувшись, поднял на меня свои большие черные, чуть грустные глаза и мягко улыбнулся. От этой его чудесной улыбки у меня на душе сразу стало весело и празднично.

Я очень любил отца. Незлечимая детская тоска по матери, которой у меня не было, еще сильнее привязывала меня к нему. Находиться возле него, быть рядом с ним всегда было для меня настоящим праздником. Отец тоже чувствовал это.

— Ложись, поспи, сынок! — вынув кальян изо рта, ласково сказал он. — Когда надо будет, я разбужу тебя и вместе вытащим невод из воды. Но это еще не скоро.

— Нет, я хочу посидеть с тобой, — возразил я.

Отец не стал настаивать. Потом, немного подождав, он спросил меня:

— Хочешь, я расскажу тебе одну историю.

— Расскажи, — обрадовался я.

Мой отец, как почти все наши односельчане его возраста, был совершенно неграмотен. Но он был отличный рассказчик, знал много сказок, песен и легенд, и я всегда любил слушать его.

— Видишь развалины на том берегу реки? — показывая рукой в сторону освещенных луной руин, спросил он меня.

— Вижу.

— Когда-то давным-давно здесь было селение и называлось оно Довид-кала, по имени знаменитого нашего односельчанина Довида.

Мне было приятно, что и моего отца тоже зовут Довидом, и в то же время грустно, что там, на холме, словно обтянутом зеленым бархатом, — мертвые развалины, а не цветущее селение.

— Почему люди ушли из этого селения и не захотели остаться жить в нем? — спросил я отца. — Посмотри, какая хорошая земля вокруг, да и вода рядом. Вот глупые!..

Отец, положив кальян рядом на большой серый бумажник, которыми был густо усыпан берег, немного помолчав, ответил:

— Вот об этом я и хочу рассказать тебе.

...Вот та трагическая и в то же время прекрасная история, которую поведал мне отец в тот памятный для меня вечер у костра на берегу реки Григоринчая.

## ВЕРЛОМНЫЙ ХАН

С незапамятных времен, еще до прихода грозного Абуमुслима<sup>1</sup> — военачальника багдадского халифа, огнем и мечом утвердившего ислам в Дагестане, предки наших односельчан-нюгдинцев жили в одном из табасаранских аулов. Прекрасны горы Табасарана. Если в раю есть горы, должно быть, они похожи на табасаранские. Склоны их, покрытые изумрудной травой, пестреющие разноцветными полевыми цветами, напоминают чудесные ковры, вытканые руками искусных та-

---

<sup>1</sup> По преданию, ислам в Дагестане был распространен Абу-муслимом — военачальником багдадского халифа.

басаранских ковровщиц. А леса там в весеннюю пору нельзя отличить от цветущих садов, столько в них плодовых деревьев. Не потому ли здесь так много ашугов и певцов и так звонко раздаются соловьиные трели с восходом зари и до поздней ночи.

Говорят, когда бог создал первых людей — Адама и его жену Хеву, — райский сад находился не на небе, а на земле. Кто знает, может быть, это были сады, раскинувшиеся на живописных долинах Табасарана.

И душа народа здесь подстать прекрасной природе его родной земли. Она щедра, как плодое дерево осенью, чиста, как бесчисленные родники, которыми так богат Табасаран. А необыкновенное гостеприимство табасаранцев вошло в поговорку. Самое страшное проклятие на устах их это: «Да чтобы гость не постучался в дверь твоего дома!».

Предки наших односельчан-нюгдинцев жили с табасаранцами в одном ауле. Хотя они были люди разной веры, но судьба у них была одна. И одно омрачало жизнь и тех и других, бросало тень, точно темное погребальное покрывало на чудесную природу родной земли, — жестокое иго ханов, полновластно повелевавших жизнью и смертью своих райятов — подданных.

Случилось это лет триста тому назад. У одного из табасаранских ханов был приближенный тат по имени Довид. Он был человеком начитанным и мудрым, немало странствовал по свету и немало испытал на своем веку. Он знал много историй из жизни разных народов и минувших поколений, многое мог рассказать о чужих краях, обычаях и нравах их населения. А сколько Довид знал сказок и песен — никто сосчитать не мог.

По вечерам Довид развлекал владыку занимательными повествованиями, услаждал его слух песнями и прекрасной игрой на сазе. Он владел еще искусством врачевания, знал, из какой травы какое лекарство изготовить, чтоб исцелить рану, изгнать из тела болезнь. Да и внешность он имел благородную: высокий, статный, с открытым, немного суровым, но добрым лицом, с пышной, великолепной бородой патриарха, учтивыми манерами. За эти его достоинства и приблизил хан Довида к себе. В народе его знали и любили, называли «визирем», хотя на самом деле он им не был. Но любой хан или падишах счел бы за благо иметь такого визиря.

Однажды хан, красный, веселый от выпитого вина, лежал на мягком тюфяке, покрытом ярким ковром и обложенном расшитыми шелковыми подушками, и слушал сказку, что рассказывал ему Довид.

Время уже было позднее, когда Довид кончил. Попросив позволения у хана, он встал, с почтительным поклоном пожелав ему спокойной ночи, хотел было направиться к выходу, но хан остановил его.

— Стой, Довид! — сказал хан. — Я слышал, что ты хочешь сыграть свадьбу своей дочери? Я еще слышал, что дочь твоя прекрасна, как Лейли?.. Правда ли это?

Да, это была правда. Единственная дочь Довида Шушен была так красива и нежна, что от нее невозможно было оторвать глаз. Все ее в глаза и за глаза называли Гури — райской красавицей. Но и жених ее Джумшуд был под стать своей невесте: красив лицом и строен, как молодой тополь, отличный наездник и смелый джигит. Он не был ни односельчанином, ни единоплеменником Довида, а был рожден табасаранской женщиной. Но Довид любил его, как родного сына. Родители Джумшуда умерли во время какой-то свирепствовавшей в горах болезни, когда он был еще почти ребенком. Отец его был близким кунаком и другом Довида. А у нас чего только не сделает человек ради близкого своего кунака и друга. Отец Джумшуда, умирая, завещал своему другу заботиться о его мальчике-сироте, как о родном сыне. И с тех пор Джумшуд воспитывался в доме Довида вместе с его маленькой дочерью Шушен. В детстве они относились друг к другу, как брат и сестра. Джумшуд, как и Шушен, называл Довида отцом.

Когда они стали взрослыми, постепенно дружба и привязанность в их сердцах переросли в нежную и пламенную любовь друг к другу.

Хотя Джумшуд и Шушен старались скрыть от Довида свою любовь, но не таков был Довид, чтобы не заметить, что творится в душе его детей. И вот однажды он вызвал их к себе и сказал с волнением в голосе: «Дети мои, я вижу, знаю, что вы любите друг друга. Из всех божьих милостей на свете любовь — самый ценный дар. Могут ли вы пойти наперекор чувству, внушенному вам самим богом. С этой минуты перед небом я объявляю вас женихом и невестой».



И вот теперь, когда Шушен собиралась стать женой избранника своего сердца, хан неожиданно спросил о ней.

— Да, мой хан, если на то будет воля бога, я собираюсь сыграть свадьбу моим детям этой осенью,— скромно проговорил Довид.

— Самое хорошее время для свадьбы: мука от нового урожая в кенду<sup>1</sup>, а молодое вино в хюмах<sup>2</sup>,— одобрительно отозвался хан и тут же, внимательно оглядывая стоящую в смиренной позе высокую фигуру своего приближенного, добавил: — Но не забывай, мой Довид, бог творит свою волю на небесах, а я, твой хан и господин, — на земле.

Смутная тревога, точно лед, коснулась сердца Довида. Но он, стараясь ничем не выдавать ее, спросил хана со спокойной почтительностью:

— Да простит мне мой хан: годы, видно, притупили мой ум. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду, напоминая мне сейчас о своей ханской воле?

Хана как будто позабавили слова Довида. Он, недоверчиво косясь на него, засмеялся громким пьяным смехом, покачиваясь всем телом. Потом внезапно прервав смех, уставился на Довида колючими глазами:

— Говорят, умному — намек, а глупому — объяснение,— сердито проговорил хан.— Ты же человек умный... Я хочу твоей дочери оказать честь... Пусть первую ночь она проведет на моем ложе...

Довид внезапно изменился в лице. Пол дрогнул и покачнулся под его ногами, в глазах его померк свет. Но он огромным усилием воли устоял на ногах. Гордый, честный и смелый, он никогда ни перед кем не преклонял свою голову, кроме как перед ханом, своим повелителем. Но на коленях не стоял даже и перед ним. Сейчас он, потрясенный, испуганный и взволнованный услышанным, упал на колени перед ханом, схватил рукой седеющую бороду, горячо взмолился:

— Мой хан, пощади мои седины, не покрывай ее позором хотя бы ради того, что я столько лет верой и правдой служил тебе. Дочь моя предпочтет броситься с высокой скалы в пропасть, чем согласиться на такой позор.

---

<sup>1</sup> Кенду — глиняные бочки для хранения муки.

<sup>2</sup> Хюм — огромные глиняные сосуды для хранения воды, вина.

А Джумшуд, который дорог мне, как родной сын, тоже скорее погибнет, чем согласится на поругание своей невесты.

Хан, который не привык, чтобы кто-нибудь перечил ему, если он даже намеренно творит злое дело, вскипел гневом на Довида.

— Другому я сейчас же велел бы отрубить голову за столь дерзкие слова,— вскочив с тюфяка и возбужденно шагая по комнате, громко произнес хан.— Дарю тебе жизнь, но желание мое должно быть исполнено!..

Довид вернулся от хана домой, подавленный и разбитый. Джумшуд, увидев Довида в таком состоянии, забеспокоился. Он подошел к нему, с тревогой и болью в голосе спросил:

— Отец, почему ты такой удрученный и печальный? Кто тот человек, который посмел нанести тебе обиду или оскорбление?! — И, сжав рукоятку кинжала, добавил: — Скажи — кто, я отомщу этому негодяю!..

— О, сын мой,— простонал Довид как от боли, хватаясь за грудь и медленно опускаясь на подушку,— если это оскорбление и обида касались бы лично меня, может, из любви к тебе и Шушен я покорно перенес бы их... У этих ханов, падишахов и разных правителей, избалованных и развращенных властью над людьми и ослепленных богатством, видно, нет ни сердца, ни души, ни жалости!..

— О чем ты говоришь, отец! — чувствуя что-то недоброе, спросил Джумшуд, хватая его за рукав черкески.

Довид закрыл глаза, произнес как в бреду:

— Хан хочет твою невесту...

То, что услышал сейчас Джумшуд, огнем обожгло его душу. Он вскочил на ноги и, выхватив кинжал из ножен, крикнул в ярости:

— Отец, хватит, не говори больше ни слова! Я ворвусь во дворец хана и не дам ему увидеть утра своими глазами. Один из нас в эту ночь должен погибнуть!

— Стой! — словно стряхнув с себя оцепенение, грозно крикнул Довид на бушующего Джумшуда.— Ты молод, горяч, не думаешь о последствиях своего поступка. Никогда не делай сразу того, что в горячности тебе диктует сердце: оно слепо. Допустим, ты этой ночью убьешь хана, а завтра его место займет его сын или брат

Все останется по-прежнему, а ты и твоя невеста погибнете.

— Не уговаривай меня, отец! — не в силах сдержать ярость и слезы, закричал Джумшуд, как смертельно раненный человек. — Я скорее положу голову на плаху, чем смирюсь с таким бесчестием...

Нелегко было Довиду успокоить Джумшуда, удерживать его от непоправимой ошибки. Он поклялся, что найдет, обязательно найдет выход и что проклятому хану никогда не видать невесты Джумшуда.

## КУПЕЦ И ПТИЦА

Прошло три дня после того тягостного вечера. Хан прислал своего нукера за Довидом. Тот, сев на лошадь, немедленно явился к хану.

Войдя в ханские покои, Довид, отвесив глубокий поклон, как ни в чем не бывало, приветствовал владыку. Хан, кивком головы ответив на приветствие своего приближенного и испытующе глядя на него, спросил с притворной любезностью:

— Наверно, мой Довид, все еще продолжает хранить обиду на своего повелителя?

— О нет, мой хан, — принужденно улыбаясь и склоняясь в поклоне, произнес Довид. — Смею ли я, твой подданный и раб, обижаться на тебя, если желание господина — закон для раба.

— Машаллах, Довид, машаллах! — похвалил его хан, довольный его ответом. — Я вижу не ошибся, приблизив тебя к себе. А теперь давай посидим, выпьем вина, закусим и ты расскажешь мне что-нибудь интересное. Я, право, за эти три дня соскучился по твоим песням и рассказам.

Хан, выпив много вина, в веселом расположении духа растянулся на тюфяке. И Довид начал так свой рассказ:

— Слушай, о повелитель! Жил-был один очень богатый купец. Этот купец часто отлучался из дому на год-два, водил свои караваны, груженные богатыми товарами, в разные страны мира.

Однажды, перед тем как отправиться в долгий путь, он подошел к своим четырем женам и многочисленным

домочадцам, чтобы узнать у каждого, кому какой подарок привезти.

В спальне купца висела золотая клетка, а в ней жила красивая пестрая птичка, которая умела петь и говорить по-человечьи... Купец и ее спросил:

— Эй, пташка, тебе какой подарок привезти?

Птица жалобно посмотрела на своего хозяина, потом негромко произнесла:

— Благодарю тебя, о господин, мне подарок не нужен. Если хочешь исполнить мое желание, прошу тебя об одном: в Индостане среди моря есть маленький островок. Называется он «Остров роз». Это моя родина. Там живет мой брат. Передай ему от меня поклон и скажи, что я жива, здорова, живу в золотой клетке.

— Хорошо, пташка,—сказал купец,—если доберусь, исполню твое желание.

С того дня прошло более года. Вернулся купец, раздал всем богатые подарки, а птице не сказал ничего.

Пташка молчала день, другой, наконец, не выдержав, спросила:

— О господин, почему ты мне ничего не говоришь, стараешься избегать меня? Был ли ты на острове? Удалось ли тебе увидеть моего любимого брата?

— Не хотел я тебя огорчать, моя певунья,—вздыхнул купец.— Был я на «Острове роз», видел твоего брата, но как только я передал ему то, что ты просила, он замерно упал с дерева.

Услышав это, птица в клетке издала жалобный крик и тоже испустила дух.

Удивленный и опечаленный купец открыл клетку. Убедившись, что птица мертва, он пожалел ее, но делать нечего — выбросил в сад.

А сад у купца был прекрасный — прямо райский. Как только купец выбросил птицу, произошло чудо: она вдруг ожила и, взмахнув крыльями, взлетела на самую высокую ветку самого высокого дерева.

— О птица, что все это значит? — недоуменно воскликнул купец. — Зачем ты так поступила? Вернись обратно в свою клетку! Я привык на заре и в полночь слушать твое веселое пение. Без тебя мне будет скучно.

— Я знала, что ты меня из клетки не выпустишь. А для птицы живая ветка дороже и милее золотой клетки. Оттого, что тюрьму выстроишь из золота и серебра,

она не перестает быть тюрьмой. Мне природа дала крылья, чтобы я могла летать на свободе, под синим куполом неба, купаться в лучах солнца, глаза — чтобы видеть красоту мира, сердце — чтобы наслаждаться жизнью и любовью. Но разве тебе есть дело до всего этого? А ведь я, хоть и маленькая птица, но рождена для радостей, как все живое на земле... Брат мой, которого ты видел на острове, не умер. Он только притворился мертвым, чтобы ты потом об этом рассказал мне. Я поняла его и тоже притворилась мертвой, чтобы ты выбросил меня. Теперь прощай, но знай, что птица, вкусившая сладость свободы, никогда не захочет вернуться в неволю.

С этими словами птица расправила крылья и, счастливо запев, улетела.

Хану понравилась сказка. Он долго смеялся над одуроченным купцом.

— А смотри-ка, такая махонькая пташка-невольница одурачила купца, — весело хихикая, проговорил хан. — А тебе, мой Довид, за хорошую сказку я завтра прикажу выдать новую черкеску с золотыми газырями.

## С О Н

Отяжелев от обильного ужина и выпитого вина, хан, как только ушел Довид, сразу уснул.

Под утро ему приснился странный сон.

В ауле свадьба. Раздаются веселые звуки зурны и барабана. Хан один в своей опочивальне. Кто-то снаружи открывает дверь, и входит Шушен в подвенечном платье.

Хан, сгорая от страсти, подходит к ней, дрожащими руками приподнимает вуаль с ее лица и, пораженный красотой девушки, говорит с волнением:

— Твоя красота выше всяких похвал, моя пери, отныне ты будешь жить в моих чертогах.

Хан, точно в лихорадке, срывает с девушки одежду и обнимает ее, обнаженную, прекрасную. Но в его объятиях вместо девушки вдруг оказывается пестрая птица, которая тут же с шумом выпорхает из его рук, подлетает к окну и, ударом крыла открыв его, устремляется в небо, навстречу утренней заре.

Хан, пораженный и раздосадованный, вскрикивает и в тот час же просыпается весь в поту, с сильно бьющимся сердцем. На его крик сразу же вбежали два вооруженных нукера.

— Сейчас же идите в аул и немедленно приведите ко мне дочь Довида, — приказал хан, дрожа, как в ознобе.

Дворец хана, окруженный высокой стеной с башнями и бойницами, стоял на вершине утеса. От него до аула, где жил Довид, полчаса езды. Не прошло и часу, как нукеры примчались назад с пустыми руками, растерянные и взволнованные.

— О повелитель! — падая ниц перед ханом, вскрикнули нукеры. В ауле нет ни одной живой души, точно всех поглотила земля!

Хан в злобной ярости кусал губы и, как зверь в клетке, метался по комнате.

Тревожная догадка, как отравленная стрела, прожгла его сердце.

— Теперь я понял, грязный кафир, к чему ты вчера ночью рассказывал мне эту историю про птицу в клетке! — в бешенстве закричал он, вспомнив сказку Довида. — Ты обманул меня, как та птица, и улетел из-под моей власти. Но я найду вас всех, даже под землей, и не пощажу никого. Ты — не птица, а я — не купец.

## СОВЕТ АКСАКАЛОВ

На другой день после того, как Довид поклялся избавить Джумшуда и его невесту от грозящего им бесчестья и гибели, он втайне от хана и его нукеров созвал в своем доме совет аксакалов, среди которых были таты и тибсаранцы.

— Почтенные аксакалы, — обратился Довид к ним. — Мы, жители этого аула, люди разных народностей, но представляем один джамаат. Веками живем мы вместе, ходим по одной земле, под одним небом, дышим одним воздухом. У нас одни и те же обычаи, одни и те же радости и горести. И прах наших предков покоится в одной земле, и дети наши растут и мужают вместе. Одно и то же иго давит нас. Жестокый хан грабит и угнетает всех нас одинаково жестоко и безжалостно. До каких пор мы будем терпеть и молчать?..

— Все то, что ты говоришь, о визирь, правильно, — согласились аксакалы, — но власть хана сильна, у него вооруженные нукеры, злые, как цепные псы. Попробуй не покориться хану — они сразу расправятся с нами. Против них мы бессильны.

— Надо нам уйти отсюда, — сказал Довид, — туда, где не достанут нас ханские нукеры. Далеко отсюда, на равнине, в поймах рек Самура и Григоринчая, среди девственных лесов лежит немало хороших и свободных земель. Уйдем туда тайком от хана и его злых нукеров. Начнем новую жизнь...

Нелегко было жителям аула согласиться на то, что предлагал им Довид: оставить свои дома, насиженные места, поля, обильно политые их потом. Но еще труднее, невыносимее казалось им тяжкое ханское иго.

И вот в тот вечер, когда Довид развлекал пьяного хана сказкой о купце и птице, население аула, погрузив свои вещи на арбы, завязав морды лошадям, буйволам и коровам, в строгой тишине покинуло ханскую землю.

Когда Довид вышел от хана, была глубская ночь. На ясном небе печально мерцали звезды.

Раньше Довид, возвращаясь за полночь от хана, любил слушать бойкую перекличку петухов, встревоженный лай собак, плач проснувшегося ребенка. А сейчас его аул, где он родился, вырос и состарился, где покоится прах его предков, где каждая тропинка, каждый камень до боли знакомы и дороги его сердцу, — его аул был пуст, как разоренное гнездо. Над покинутым аулом, словно над кладбищем, нависла гнетущая могильная тишина. Со слезами на глазах в последний раз медленно ехал Довид по узким, кривым, запутанным уллицам, мысленно прощаясь с ними, а потом, не в силах больше вынести этого печального зрелища, прищпорил кони и помчался вслед за беглецами.

## БОИ ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ

Долго шли люди в поисках новой свободной земли, подальше от ханской неволи, пробираясь в густых, диких, незнакомых лесах. Никто не роптал, не жаловался на трудности и лишения. Неистребимое желание жить свободными, без ханского гнета и его злых нукеров придавало им бодрость и силу.

Наконец, они нашли затерянную в глухих лесах землю на берегу реки Григоринчая и основали здесь селение, окружив его стеной. Назвали его — Довид-кала, в честь Довида, которого односельчане избрали главой общины.

Прошел год, как беглецы основались на новом месте. Был снят первый урожай, и как это водится у нас, осенью, после сбора урожая, Довид стал справлять свадьбу Джумшуда и Шушен.

Эта свадьба была общим праздником — праздником освобождения из неволи.

Три дня и три ночи мужчины и женщины, девушки и парни под звуки зурны и барабана веселились, пели, танцевали. И вот на третий день, словно гром среди ясного неба, в разгар веселья обрушились на селение ханские нукеры, вооруженные копьями и мечами. Целый год искали они пропавшее селение и, наконец, попали на его след.

— Братья! — крикнул Довид, обращаясь к джамаату. — Подумайте, мы были свободны, теперь же позор и страдание, а многих и смерть ожидают в ханской неволе. Будем драться до последнего вздоха!

Веселые звуки музыки, задушевные песни любви, радостные голоса сменили звон мечей, плач детей, крики раненых, ржание лошадей, слова проклятий. Все от мала до велика, вооруженные чем попало: кинжалами, топорами, копьями, вилами, — вступили в бой.

Силы были неравны. Многие честно сложили головы в кровавом бою. Пал с рассеченной грудью Джумшуд, который дрался, как разъяренный лев, с ханскими нукерами.

Он упал на руки своей невесте, едва успев крикнуть Довиду, сражавшемуся во главе односельчан:

— Отец! Бейтесь насмерть! Берегите Шушен!..

Немало ханских нукеров погибло в этот день, но они все еще были сильны и многочисленны, с кровавадной яростью наседали они на беглецов. Когда победа клонилась уже на сторону хана и обессиленные и обескровленные беглецы стали отступать, в это время между сражавшимися пронеслась, словно видение, девушка в черном платье с распущенными черными волосами, верхом на черном коне. Лицо ее было гневно и прекрасно. В руках ее блестел меч. То была невеста Джумшу-



да — Шушен. Великая любовь и беспредельная ненависть придали ей неслыханную храбрость и бесстрашие. Она неслась навстречу врагу, подобно грозовой туче, гонимой ураганом, выкрикивая имя своего возлюбленного:

— Джу-у-ум-шу-у-уд!

Крик ее могучим эхом прокатился по лесам и полям. И они вслед за ней, со стократной силой повторяли тоже:

— Джу-у-у-ум-шу-у-уд!..

Увидев ее, суеверные ханские нукеры оцепенели от ужаса: она показалась им ангелом мести и смерти — Азраилом в образе девушки, сошедшем с неба, чтобы покарать их за слезы и кровь невинных людей. Обессиленные люди воспрянули духом, с новой яростью и отвагой вступили в бой и прогнали со своей земли ненавистных ханских псов..

Шушен недолго жила после смерти своего жениха — Джумшуда. Дни и ночи она проводила на его могиле. Горе и слезы иссушили ее, превратили в каменную статую. Так и осталась она, как надгробный памятник над могилой своего возлюбленного. Говорили, много лет, пока могила не сравнялась с землей и не заросла травой, стояла так эта каменная девушка. Такой видели ее днем. А в тревожные грозовые ночи перед рассветом доводилось людям увидеть девушку в черном платье, с развевающимися черными волосами, с лицом, гневным и прекрасным. Сжимая в руке мечь, как вихрь, неслась она на черном коне, выкрикивая имя своего возлюбленного. Да и сейчас, спустя триста лет, все еще встречаются люди, которые клянутся, что видели своими глазами, как она ночью перед рассветом, словно стрела, спущенная с тетивы, мчалась на черном коне вокруг этих развалин, где проходило жестокое сражение, в котором пал ее жених.

Вскоре после позорного бегства ханских нукеров оставшиеся в живых люди, во главе с Довидом, опасаясь нового нашествия вооруженных ханских дружин, перешли реку, спустились дальше вниз и основали среди дремучих лесов и глухих оврагов новое селение и назвали его «Нуьге дигь».

Вот так возникло наше селение Ньюди.

.....

Рассказав мне эту историю, отец вновь закурил свои каляны и вскоре улегся спать. Но я, взволнованный его рассказом, еще долго не мог уснуть. Растянувшись на соломенной постели, я во все глаза смотрел в сторону молчаливых развалин, залитых призрачным лунным светом... И вдруг я увидел, как грозная тень девушки на коне пронеслась над землей. Я заткнул уши пальцами, чтобы не слышать ее жуткого зова...

Не знаю, показалось ли мне это или было наяву.



# ВОЗМЕЗДИЕ

ПОВЕСТЬ

*Перевод с татского автора*



### ПО СЕЛУ ИДЕТ ГУДИЛ<sup>1</sup>

Было начало мая. В садах, сплошным кольцом опоясавших небольшое селение Нюгди, пышно цвели деревья. Легкий теплый ветерок доносил душистые запахи, которые, точно молодое бродящее вино, кружили голову. Как охмелевшие на пиру ашуги, самозабвенно пели соловьи.

Последние дни по-летнему пригревало солнце. Поэтому озимые на полях быстро пошли в рост, леса оделись в пустую ярко-зеленую листву, а сады зацвели буйно, словно вспенились. Но сегодня внезапно похолодало. По низкому серому небу, будто длинный караван лохматых верблюдов, клубясь и подталкивая друг друга, поплыли тяжелые дождевые облака.

Селение будто вымерло. Узкие, кривые улочки с приземистыми, глинобитными домишками, окруженными невысокими плетеными заборами, были, безлюдны и пустынно. Все взрослые и подростки находились в поле: был разгар весенних полевых работ. Даже собаки и те притихли — не на кого лаять.

---

<sup>1</sup> По обычаю татов, весной, когда посевам требовалась влага, чтобы вызвать дождь, кто-нибудь в селе обряжался гудилом и ходил по дворам. Гудила плотно обвязывали свежесрубленными ветками и с песнями водили по селу. Каждый должен был плеснуть на него водой со словами: «дай бог дождя» и чем-нибудь отблагодарить. Обычно гудилом обряжался самый бедный, чтобы иметь заработок. (Прим. автора.)

Тихо, безлюдно и на майдане, где на досуге обычно собираются нюгдинцы, чтобы похабарничать о том о сем, послушать разные новости. Нюгдинец, хоть и не любопытен по натуре, но верит в пророческую силу известной поговорки: «Если в течение целого дня человек не услышит хотя бы одного хабара, он или оглохнет, или ослепнет». А где, как не на майдане, можно услышать хабар о том, кого забодал буйвол или лягнул осел, чей зазевавшийся глупый геленок угодил в голодные пасти хищников, у кого благополучно разрешилась жена или стала жертвой грозы рожениц — нагой богини Дедей-Ол<sup>1</sup>, какой еще новый налог придумала казна?..

Только двое нюгдинцев в этот день были на майдане. Один из них — горбоносый, коренастый плотный мужчина с густой смолистой курчавой бородой, похожей на виноградную гроздь, и гордой осанкой — сидел на завалинке, широко расставив крепкие мускулистые ноги, обутое в мягкие сапоги. На нем была серая каракулевая папача, зеленый атласный бешмет, схваченный в талии узким наборным поясом, на котором висел небольшой кинжал с серебряной рукояткой. Темно-карие глаза из-под черных взлохмаченных бровей смотрели на мир строго и чуть насмешливо. Это был сельский староста Гомуил.

Возле него, прямо на земле, устроился худой старик с короткой жиденькой седой бородкой, тонкой жилистой шеей. Как и у многих его односельчан, вся одежда старика состояла из бязевой рубашки и бязевых шаровар. Они, видимо, служили ему и верхней одеждой и нижним бельем в будни и в праздники. Поэтому одежда на старике, покрытая заплатами и насквозь пропитанная потом и грязью, не имела определенного цвета. А когда он наклонялся, из-под рубахи резко выступали, как обручи на бочке, худые ребра и сутулая костлявая спина.

Гомуил и старик, пожалуй, были единственные мужчины, которые остались в селе. Дымя кальяном с длин-

---

<sup>1</sup> Дедей-Ол — одно из злых божеств. По-татскому народному поверью, это божество появляется в образе красивой женщины. Она ходит нагой. Одеждой ей служат длинные черные волосы, ниспадающие до пят. Чтобы обмануть роженицу, она является к ней в образе одной из её родственниц. Приблизившись к роженице, Дедей-Ол вынимает её внутренности, легкие, печень, сердце и спешит в лес, где полощет их в речке и тут же проглатывает. В ту же минуту роженица умирает. (Прим. автора.)

ным аршинным чубуком и шумно вздыхая, староста временами долго молчал, сурово нахмурив брови.

— Вот дождя бы сейчас! Начало мая, а дождя все нет и нет!.. — прервав молчание, с нескрываемой досадой в голое негромко, будто про себя проговорил Гомуил, провожая долгим, тоскливым взглядом ползущие тучи.

Старик, не поднимая головы, исподлобья, украдкой бросил на старосту мрачный взгляд.

«Если бы влага нужна была только твоим полям и бог справедлив, он не должен бы проронить ни одной капли. Пусть бы сгорело все...» — со злобой подумал он, а вслух сказал совсем другое, пытаясь придать своему голосу сочувственные нотки:

— Бог милостив... Пошлет дождь. Ты же видишь, все небо обложило тучами, как скошенный луг скирдами. Может, даже сегодня пойдет. Зря ты волнуешься, староста.

Гомуил, не повернув головы, искоса, испытующе посмотрел на собеседника и вспыхнул, почувствовав к нему острую неприязнь: глубокие морщины, которыми было изборождено лицо старика, напомнили ему вдруг зловещие кривые трещины на иссушенном и опаленном засухой поле. Полные, чувственные губы старосты, почти скрытые под пышными усами, скривились в злой усмешке. «Зря ты волнуешься, староста...» — мысленно передразнил Гомуил старика, с трудом скрывая свое раздражение. — Тебе что, ты гол, как ободранная липа. Тебе терять нечего. Если мои посевы и виноградники, не дай бог, загубит засуха, а скот повалит чума, ты даже рад будешь. Знаю я вас, голодранцев. С виду заискиваете передо мной, а в душе завидуете...»

Но староста, как и его собеседник, произнес вслух совсем не то, о чем он только что думал.

— Ах, не говори так, джан Шелбет. — Вот и в прошлом году в это время стояла такая же погода. И что же? Тучи прошли караваном в сторону Хазари<sup>1</sup>, не уронив на землю ни капли влаги. — Потом, немного помолчав и сделав обиженное лицо, добавил: — Клянусь богом, не понимаю, почему в этом году никто не обрягается гудилом? То ли все чересчур заняты, то ли никого еще

---

<sup>1</sup> Х а з а р и — от слова «хазар». В разговорной речи оно обозначает север.

не одолел голод... Не знаю. Я бы сейчас с радостью плеснул бы на гудила кружку воды.

Не прошло и полчаса, как, словно в ответ на сетования старосты, с окраины села, где за окрестными садами начинался лес, неожиданно донеслись дружные задорные голоса ребятишек.

— Э-э-э-э-эй!.. Гудил идет! Идет гудил!..

Селение, несколько минут тому назад погруженное в глубокое безмолвие и казавшееся безлюдным, вдруг ожило, наполнилось шумом, движением. Из разных уголков села, точно юркие мышата из нор, почуявшие поживу, стали выскакивать босоногие ребятишки. Они с радостными возгласами устремлялись бегом навстречу гудилу. Из домов поспешно выходили оставшиеся в селе старухи и беременные женщины. Они, поджидая гудила возле своих домов, держали наготове глиняные кружки и кувшинчики, наполненные холодной, родниковой водой. Следом за ними, нетерпеливо помахивая пушистыми хвостами и косясь по сторонам, выбегали со дворов удивленные, озадаченные псы, не зная: лаять им наобум или повернуть назад, туда, где они только что сладко позевывая, спокойно дремали под навесами. Всполошилась, взъерошив перья, как ёж свои острые иглы в минуты опасности, ворчливая наседка с цыплятами. Завидев приближающуюся крикливую ораву ребятишек и засуетившихся женщин, она с громким тревожным кудахтаньем бросилась со своим пискливым потомством под ветхий плетень.

Гудил медленно двигался к майдану. Он с головы до ног был так обвязан длинными ветками с молодыми маслянистыми листьями, что самого его не было видно. Поэтому казалось, что по улице идет не человек, а плотная связка ветвей.

Рядом с ним, держа в руке конец коричневого мягкого ивового прута, которым гудил был обвязан, шел худой, бледнолицый мальчик лет тринадцати в ободранной лохматой папахе, одетый в длинную просторную рубашку из старой мешковины. На плече мальчика висел длинный мешок, почти касавшийся земли. Он чуть охрипшим голосом выкрикивал какие-то слова, а шумная босоногая детвора, веселой гурьбой неотступно следовавшая за гудилом, во всю силу своих звонких голосов нестройным хором вторила ему: «Хо! Хо!»



— Идет гудил по селу! — громко, нараспев произносил мальчик. А ребятишки с горящими глазами на озорных, радостно возбужденных лицах неистово выкрикивали:

— Хо! Хо!

— Да ответит бог от вас все беды и невзгоды! — краснея от натуги, кричал поводырь.

— Хо! Хо! — приходя в неопикуемый восторг, повторяли дети.

— Да пошлет бог небесную влагу!..

— Хо! Хо!

Около каждого дома гудил останавливался. Под веселые выкрики разошедшейся детворы мальчик-поводырь каждый раз громко, нараспев произносил положенные слова песни-заклинания. А женщины, молодые — с задорным смехом, пожилые — с молитвенным шепотом, выплескивали на гудила холодную родниковую воду и тут же бросали мальчику в мешок куски чурека, сыпали муку, совали в руки яйца.

Увидев приближающегося гудила, обычно суровый и степенный староста по-мальчишески повеселел. Выхватив из рук молодой беременной женщины кружку с водой, он с улыбкой на лице стал терпеливо поджидать, когда гудил поравняется с ним. Но, узнав поводыря, староста нахмурился и на лице его появилось явное разочарование. Было видно, что эта встреча ему неприятна. На минуту рука, готовая выплеснуть на гудила воду, будто застыла. Но Гомуил все же заставил себя улыбнуться и плеснуть водой на гудила, громко приговаривая: «Дай бог дождя, дай бог дождя!».

Наблюдая из-за веток за старостой, гудил увидел, как тот к общему удивлению протянул мальчику серебряный полтинник. Но вместо того, чтобы быть благодарным старосте за его щедрый пишкеш, он вдруг в ярости затрясся мокрыми ветками, брызгаясь водой, и хриплым, простуженным голосом крикнул ему:

— Староста! Этой подачкой не искупишь тяжкого греха, который лежит на твоей совести... Поглядим, чья мать заплачет. Я еще жив!.. — Гудил подтолкнул боком мальчика. — Брось, сынок, монету, пусть он подавится ею!

Растерянный и смущенный мальчик нехотя выбросил монету и, понуро опустив голову, медленно поплелся

за гудилом. Больше он не стал выкрикивать слова песни-заклинания, зазывать людей и ждать подаяния.

Ватага ребятишек, увивавшаяся за ними, огорченная и разочарованная тем, что так скоро и неожиданно закончилось веселое зрелище, стала понемногу расходиться.

Гудил и мальчик не успели еще дойти до своего жилья, расположенного у южной окраины села, как, словно горный обвал, многократно загрохотал гром, а огненные зигзаги в нескольких местах прорезали небо, будто стремясь расколоть его на части. Долго собиравшийся дождь пошел внезапно, гулко барабанил по засохшей земле тугими струями.

— Сын, развяжи меня скорее! — раздался нетерпеливый сдавленный голос гудила.

Мальчик, поспешно поправив на плече мешок, принялся быстро распутывать на отце ивовые прутья. Вскоре тяжелые мокрые связки веток глухо шлепнулись о землю. Теперь, несмотря на серую дождевую пелену, нависшую над землей, можно было почти отчетливо разглядеть человека, который только что ходил гудилом по селу. Это был высокий, худой мужчина лет сорока с сутулившейся спиной, впалыми щеками и редкой бородкой, в серой, не по росту короткой, изодранной рубашке, сквозь прорехи которой местами просвечивало посиневшее от холода землистое тело. Он дрожал, стуча зубами. Вдруг гудил покачнулся и, чтобы удержаться на ногах, оперся рукой об острое плечико сына.

— Отец, тебе плохо? — спросил мальчик, с тревогой поглядывая на него.

Тот в ответ лишь кивнул головой.

Отец и сын, промокшие до нитки, подхлестываемые холодными струями дождя, крепко ухватившись друг за друга, медленно побрели домой. А небо продолжало яростно греметь, пуская им вслед огненные стрелы, словно желая сразить их, поджечь, как высохшие деревья в лесу, которые еще стоят, цепляясь корнями за землю, но которые давно уже не живут, не зеленеют.

Мужчина кое-как с помощью сына добрался до дому и, дрожа от холода, сказал мальчику:

— Сосун, скорее постели мне!

Дом у них, как и у всех нюгдинцев, был глинобитный. Вместо окна в середине потолка зияло небольшое круг-

лое отверстие, затянутое бычьим пузырем, отчего углы комнаты даже в ясные солнечные дни тонули в полумраке и напоминали скорее пещеру, нежели человеческое жилье. В одном углу было устроено подобие очага: прямо на голом полу, между двух больших серых булыжников горел огонь, а дым выходил через отверстие, проделанное в крыше. Сейчас, когда во дворе шел дождь, оно было закрыто сверху опрокинутым деревянным корытом. Поэтому едкий дым стелился по комнате, ел глаза. И чтобы не задохнуться совсем, приходилось время от времени открывать дверь, проветривать комнату.

Сосун торопливо сбросил с плеч мешок, подошел к нише в стене, похожей на темный провал, взял оттуда сложенный вчетверо полуистертый палас, облезлый бараний тулуп и рваное грязное одеяло, пропахшее потом и прокисшим сыром. Расстелив на полу палас, а сверху него одеяло, мальчик уложил отца и накрыл его тулупом.

Возле очага, на голом глиняном полу сидела со скупаящим видом, обняв худые коленки, маленькая глазастая девочка лет шести с бледным острым личиком, с круглой родинкой на щеке и копкой давно невымытых, спутанных волос на голове. Она безучастно, словно со стороны, глядела на происходящее в доме.

Сосун устало опустился на пол, у постели отца, который, свернувшись в комок под тулупом, все еще дрожал, как в лихорадке. Приглушенные стоны, глуховатый надрывный кашель отца терзали сердце мальчика, вызывая в его встревоженной памяти печальную картину кончины матери осенью позапрошлого года.

Кто-то тихо толкнул дверь и в комнату неслышно вошел низенький, плотный человек с коротко подстриженной густой ярко-рыжей бородкой, держа в руке маленький узелок. Он считался в селе мастером на все руки: был знахарем, цирюльником, мюрдешуром<sup>1</sup>, но официально числился чаушем<sup>2</sup> при старосте. Звали его Илогу.

Нюгдинцы относились к нему отчужденно, а некоторые — с неприязнью, но без него не обходились. Любую болезнь они объясняли вмешательством нечистой силы. А чтобы изгнать её из тела больного, нюгдинцы пригла-

---

<sup>1</sup> Мюрдешур — человек, который оmyвает покойников.

<sup>2</sup> Чауш — посыльный.

шали Илогу. Иногда, не дожидаясь приглашения, Илогу сам являлся к больному, чтобы кровопусканием и заговором излечить его. Если больной выздоравливал, то это приписывали чудодейственной силе процедур Илогу, а если умирал, то вину за это возлагали на мрачного и неумолимого божьего посланца — ангела смерти Азраила. И в том и в другом случае, престиж Илогу оставался непоколебимым.

Окинув быстрым взглядом зеленоватых глаз полутёмную комнату с голыми глиняными стенами, притихших детей, Илогу неторопливо подошел к постели больного. Опустившись на корточки, знахарь с деловитым видом приподнял край тулупа и посмотрел в пылающее лицо больного.

— О-о! Ты что, дорогой Ишмаил, и впрямь заболел? Как себя чувствуешь? — с сочувствием в голосе спросил Илогу.

— О-о-ой, плохо, очень пло-о-хо! — глухо простонал больной.

Илогу положил руку на лоб Ишмаила и сразу, почувствовав жар на ладони, убрал её.

— Ничего, дорогой, поправишься, — бодро проговорил знахарь, а потом тихим, дружеским тоном добавил: — А я не знал, что ты болен, случайно завернул к тебе. Я только что вернулся из Молла-Халила<sup>1</sup>, вызывали туда пустить кровь больному, поэтому аккурат и нештер<sup>2</sup> при мне.

— О-о-ой, пло-хо, пло-о-хо... — жалобно повторил больной.

В комнате было слышно, как по крыше и в дверь хлещет дождь, временами доносились отдаленные раскаты грома. Положив узелок на пол, Илогу зябко поежился и, передергивая плечами, энергично потер руки, не сводя глаз с больного. С его рыжей бороды и мокрой одежды каплями стекала вода на голый пол.

— Наверное, сам бог внушил мне завернуть к тебе, — после короткого молчания вновь заговорил знахарь. — Шёл мимо твоего дома и вдруг вспомнил о тебе: думаю,

---

<sup>1</sup> Молла-Халил — соседнее селение, которое расположено недалеко от Ньюди.

<sup>2</sup> Нештер — обоюдоострый нож, которым вскрывают вену для кровопускания.

зайду проведу беднягу Ишмаила... Не горюй. Пушу тебе кровь, прочитаю заговор и ты поправишься. У меня рука легкая.— Илогу тихо, самодовольно захихикал, обнажив мелкие острые зубы.— Бог даст, встанешь на ноги — тогда и уплатишь мне за лечение,— деловито заключил он.

Знахарь приказал мальчику принести таз, а сам тем временем помог больному приподняться. Взяв Ишмаила за локоть, Илогу засучил до плеча рукав его рубашки, а затем принялся с силой тереть худую, как палка, руку больного, пока на ней не вздулись синеватые жилы. Поставив перед Ишмаилом таз, Илогу короткими проворными пальцами быстро развязал узелок, достал оттуда что-то блестящее, похожее на темную обоюдоострую бритву. Уверенным, точно рассчитанным движением, он воткнул нож острым концом в вену больного. Тот вздрогнул и громко застонал от боли. В то же мгновение из вскрытой вены тугой струей брызнула черная, как деготь, кровь, ударившись в голую стену комнаты. Знахарь придвинул таз, повернул мелко дрожащую руку больного, и кровь с тонким звоном застучала о гулкое дно медного таза.

С каждой минутой кровь в тазу прибывала, но знахарь продолжал цепко держать руку Ишмаила. А когда он начинал делать беспокойные движения, Илогу, недовольно косясь на него, еще крепче стискивал его руку в своей, строго и вместе с тем наставительно предупреждал:

— Не веди себя, как маленький, потерпи еще немного!..

Вдруг Ишмаил обмяк, голова бессильно свалилась на грудь, и он потерял сознание.

— Папа! Папа! — кричал истощенным голосом Сосун и заметался вокруг постели отца.

Услышав голос брата, девочка, которая все это время молча сидела у тлеющего огня, со страхом и удивлением наблюдая за этой жуткой процедурой, заплакала.

— Ой, мой папочка!.. Ой, мой папочка! — отчаянно колотя себя сжатыми кулачками по коленкам, причитала она.

На какую-то долю секунды растерялся и знахарь. Но тут же лицо его вновь приняло жесткое и суровое выражение.

— Да что вы разревелись?! — недовольно прикрикнул он на плачущих и дрожащих от страха детей. — Ничего с вашим отцом не случилось. Так бывает, пройдет. — И, пронзив Сосуна острым взглядом, добавил с укором, кивнув на ревушую девочку: — Она девчонка, да еще маленькая, а ты ведь парень, папаху носишь, не стыдно тебе?!

Большого опять уложили в постель. На рану наложили липкую паутину и перевязали грязной тряпкой. Затем знахарь вынул из кармана своего чохо<sup>1</sup> куриное яйцо, покрутил его несколько раз над головой Ишманла, бормоча какие-то непонятные слова. После этого, обернувшись к Сосуну, он посмотрел на него дружески и ласково.

— Ну, теперь всё в порядке,— облегченно вздохнул он, ободряюще улыбаясь. Затем, протянув яйцо все ещё встревоженному и напуганному мальчику, мягко добавил: — Возьми это и отнеси в лес, отыщи дерево с дуплом и разбей об него. В яйце заложен зародыш живого существа. Пусть он будет жертвой за твоего отца.

Отдав распоряжение, знахарь быстро связал узелок с инструментами и поспешно удалился своей неслышной, крадучей походкой...

## «ЧЕЛОВЕК МЕЧТАЕТ, СУДЬБА СМЕЕТСЯ»

... По широкому скошенному зеленому лугу разбрелось стадо. Ярко светит солнце, заливая все вокруг теплым веселым сиянием.

Сельский пастух Ишмаил, опершись на длинную кизилую палку с крючковатым концом, мечтательно смотрит на далекий край ясного синего неба, на фоне которого отчетливо выступают круглые, как куполы мечетей, кудреватые зеленые кроны громадных вековых деревьев.

Никогда жизнь не казалась пастуху Ишмаилу такой ласковой и доброй, как сейчас. Поэтому он мечтает. Но мечты его не пустые, не несбыточные, о которых говорят: «На пашне мечтаний растет лишь ослиный навоз», а реальные, обнадеживающие. Оттого на его лице застыла

---

<sup>1</sup> Чохо — верхняя мужская одежда, черкеска.

задумчивая улыбка. Он улыбается своим мечтам, как добрым, приветливым друзьям и заступникам.

Вот скоро, даст бог, настанет, наконец, время, когда он бросит навсегда осточертевшую пастушью палку и станет владельцем собственной земли. Пусть это будет небольшой клочок, но зато свой. А своя земля — надежный кусок хлеба, независимое положение.

Ишмаил ненавидит работу пастуха, однако вынужден заниматься ею в течение многих лет. С детства он слышал, что быть пастухом — унижительно. Слово «нэхирчи» — пастух — звучало как оскорбление. Даже сами пастухи, стегнув в сердцах какое-нибудь непослушное животное, норовящее улизнуть из стада, нередко ругали не только беспокойную скотину, а заодно и того, кто много лет жизни отдал безрадостной профессии пастуха.

В Нюгди в пастухи обычно нанимались калеки или нищие, не имевшие ни земли, ни скотины. Нюгдинцы считали для себя зазорным породниться с пастухом. Не каждый, даже самый бедный нюгдинец, согласился бы выдать за него свою дочь или сестру, как будто он в их глазах потерял мужское достоинство, опозорил честь своей папаше. А папаше, если верить нюгдинцам, мужчина носит не для того, чтобы предохранить голову от жары или стужи, а как символ мужского достоинства. Хотя сами нюгдинцы не отличались ни веселым нравом, ни склонностью к забавам и развлечениям, но в песне, которую они нередко распевали на свадьбах или просто к случаю, пастух изображался как угрюмый, озлобленный и немного с придурью человек. В ней отец говорит дочери, что хочет отдать её за пастуха, а она умоляет его не губить её юную жизнь. Пастух, мол, рано утром уйдет со стадом, а вернется домой лишь поздно вечером, угрюмый и злой, и, вместо того, чтобы приласкать молодую жену, примется колотить её пастушьей палкой.

Может, такое пренебрежительное отношение к пастуху и такой унижительный взгляд на его профессию объяснялся тем, что односельчане Ишмаила главным и достойным для здорового мужчины занятием считали только выращивание хлеба, риса, винограда, разведение садов. А может, еще и потому, что пастуха на каждом шагу подстерегали неприятности. Нередко каждый, у кого была корова в стаде, считал своим правом делать ему выговор, даже обругать его. Пастух как будто для того

и существовал, чтобы угодить каждому, кто держит свою корову в стаде и за это платит ему мерку пшеницы. Одни ругали его за то, что он будто слишком рано выгоняет коров на пастбище и хозяйки не успевают управиться с дойкой, а другие, наоборот, считали, что он лодырничает, долго задерживает стадо по утрам в селе, а телята, разлученные с матерями, чуя их присутствие, беспокойно мычат, надрываются, болеют. Если корова почему-либо убавила молока, хозяйка сразу же бежит к пастуху и принимается обзывать его самыми обидными словами, подозревая в нечестных поступках. А иной нюгдинец, которого даже собственная жена перестала бояться, придирается к бедному пастуху, сам не зная зачем и почему.

Поэтому Ишмаил мечтал рано или поздно избавиться, как от занозы, от этого неблагодарного занятия, стать хозяином хотя бы маленького участка земли. Эта давняя мечта его, слава богу, теперь, как никогда, близка к осуществлению. Вот уже скоро год, как подпаском у него работает не чужой человек, а родной сын Сосун. Свой заработок ни с кем делить не придется. Часть зерна, полученного от владельцев коров после уборки хлебов, он оставит для семьи, а остальное перемелит на муку, чтобы затем продать её в городе. Так года через два-три, бог даст, он накопит немного денег, а потом по сходной цене купит и небольшой участок земли.

Ишмаил уже в мыслях видел себя хозяином этой земли: вот он идет за сохой, прокладывая на ней первую борозду, затем с лукошком на шее уверенной рукой разбрасывает по вспаханному полю семена, вот он любит, как налитые зреющие колосья волнами переливаются под порывами свежего ветерка, потом на телеге, доверху нагруженной тяжелыми золотистыми снопами, гордо въезжает в родное село...

Пастух, увлеченный своими думами, даже не заметил, как быстро пролетело время. Солнце уже опускалось за ближний лес. Он спохватился, когда случайно взглянул на свою тень, темной узкой полоской вытянувшуюся на лугу до фантастических размеров.

— Сосун! — окликнул размечтавшийся пастух сына, который в это время усердно лупил палкой двух упрямых бычков, выставивших рога для драки. — Собирай стадо, пора домой!



Вскоре сытое, отяжелевшее стадо, поднимая по дороге тучи пыли, нестройно двинулось мимо созревающих пшеничных полей, залитых багряным золотом заката, мимо огородов, сплошь покрытых буйными темно-зелеными плетнями дынь и огурцов, мимо садов и виноградников.

У майдана уже собрались с хвостинками в руках женщины, ожидающие возвращения стада. Оглашая воздух разноголосым мычанием, коровы, подрагивая вздутыми боками, быстро разбрелись в разные концы селения.

Распустив стадо, отец и сын, не задерживаясь, направились домой. Сбросив с себя одеревеневшие чарыки и пропитанные пылью портянки, они стали умываться, готовясь к ужину.

Маленькая дочь пастуха Пери, привыкшая целыми днями оставаться дома одна, играла во дворе. Подражая взрослым няюдинкам, она усердно хлопала в ладоши и бойко бранилась, приговаривая: «Да лишится глаза тот, кто глазил мою буренушку, да отсохнет селезенка у того, кто завидует моему добру...»

Увлеченная игрой, девочка не заметила, как во двор вбежал опрятно одетый мальчик лет десяти с живыми карими глазами на круглом нежном курносом лице. Он хотел было направиться прямо в дом пастуха, но, увидев маленькую Пери за потешной игрой, остановился. Девочка сразу умолкла, заметив чужого мальчика, молча, с лукавой усмешкой наблюдавшего за ней. В смущении опустив кудрявую головку, она принялась водить босой ногой по голой земле. А чужой мальчик, продолжая глядеть в зардевшееся лицо девочки, вдруг весело и звонко расхохотался.

— Клянусь папой, ты ругаешься и хлопаешь в ладоши точь-в-точь, как старая бабка Эвшаг,—с откровенным восхищением на простодушном мальчишеском лице проговорил маленький гость.— Каждое утро на заре она взбирается на крышу, хлопает в ладоши и так кричит на весь магал, так ругается, оглохнуть можно.

— А почему она ругается? — поборов смущение, но не глядя на словоохотливого мальчика, с любопытством спросила Пери.

— Она ругается потому, что кто-то по ночам у нее с крыши таскает сушеные сливы и абрикосы,—охотно

пояснил мальчик. — А может, никто у нее ничего и не тащит, но она любит ругаться. Я, например, у нее никогда ничего не таскал, клянусь папой.

— Почему же она тогда ругается? — несмело повторила Пери, все еще не решаясь взглянуть на гостя.

— Знаешь, может, она ведьма, эта старая Эвшаг, — понизив голос, с сомнением произнес мальчик, — а ведьмы, говорят, бывают злые, поэтому они ругаются.

Мальчик, вдруг спохватившись, прервал свои объяснения, быстро заморгал глазами, и на простодушном лице его появилась виноватая улыбка.

— Вай, меня же послали сказать... — он запнулся, почесал затылок, потом, стараясь казаться строгим и важным, добавил: — Знаешь, иди скажи твоему папе, что мой папа велел ему прийти к нему сейчас же, поняла? Мой папа — староста, а меня зовут Эсеф, — с видимой гордостью уточнил мальчик.

Девочка ничего не ответила, сразу же сорвалась с места и стремительно побежала в дом.

— Приходи на нашу улицу играть! — крикнул ей вслед Эсеф, уже не строгим, а ласково-дружеским голосом, почему-то приподнявшись на цыпочки.

Девочка на минуту задержалась у двери, обернулась к гостю.

— Я с мальчишками не играю! — бросила она в ответ и тут же, как мышонок в норку, юркнула в комнату.

Не прошло и четверти часа, а пастух Ишмаил уже стоял на улице у ворот старосты с покорным, но совершенно спокойным видом, слушая то, что говорил ему Го-муил. Он жаловался, что одна из его коров по кличке Джейран не вернулась со стадом.

— Она самая молочная из всех моих тридцати коров, — с нескрываемым беспокойством говорил староста. — Джейран одна стоит десяти коров. Знай, если она не найдется, мира между нами не будет, — мягко, но внушительно пригрозил он пастуху.

Ишмаил не придавал значения этой угрозе. Нередко бывали случаи, когда чья-нибудь корова, отбившись от стада, забиралась на полянку с вкусной травой, скрытую за лесом, или в густые заросли и задерживалась там. Вечером, когда становилось темно, животное, боясь одиночества, едва слышав тоскливый вой шакалов или подозрительный шорох, сама спешила в селение. Иногда

заблудившуюся корову разыскивали и пригоняли обратно. Поэтому Ишмаил не стал тратить время на то, чтобы успокоить преждевременно разволновавшегося хозяина. Он, не задерживаясь, отправился на поиски животного в полной уверенности, что через час-два найдет пропавшую скотину и пригонит в село.

Но вернулся он домой поздней ночью без коровы. Ишмаил обошел поля и луга, по которым бродил сегодня со стадом, забирался в глухие лесные чащи, спускался в темные овраги, лазил по камышовым зарослям, а пропавшую корову так нигде и не встретил.

В течение нескольких дней пастух, оставляя стадо на попечении сына, бродил по лесам и полям в поисках Джейран. Он спрашивал о ней всякого встречного, описывая её приметы, но все без толку. Корова как сквозь землю провалилась.

Пастух за эти дни вконец изодрал последнюю одежду, износил до дыр чарыки, похудел, осунулся, лишился сна и покоя.

Староста, окончательно потеряв терпение, стал грозить пастуху судом, клялся, что не заплатит ему ни одной мерки пшеницы за пастьбу его коров.

На восьмой день после пропажи коровы начальник Уллуссуйского участка в селе Кулларе<sup>1</sup>, находящемся в четырех-пяти километрах от Ньюди, вызвал Ишмаила на допрос, и он больше оттуда не вернулся. В селении прошел слух, что пастуха посадили в тюрьму за кражу коровы старосты.

А спустя несколько дней после ареста Ишмаила Гомуил, пользуясь своим положением старосты, запретил Сосуну пасти общественный скот.

Неизвестно, сколько еще пастуху Ишмаилу пришлось бы томиться в тюрьме, если бы неожиданно не объявилась пропавшая Джейран. Произошло это в первых числах апреля. День был праздничный, и все сельчане находились дома. Седобородые старики сидели у старых токов на мягкой траве, греясь на солнце и мирно беседуя между собой. На почтительном расстоянии от аксакалов молодежь играла в чехарду. Женщины, тесными кучка-

---

<sup>1</sup> До революции Ньюди в административном отношении подчинялось Уллуссуйскому участку, входящему в состав Кюринского округа.

ми собравшись у своих дворов, лузгали семечки, громко разговаривали, перебивая друг друга. Вдруг недалеко от старых токов, на окраине села, где начинались сады, раздалось громкое протяжное мычание коровы. Вскоре, точно из-под земли, выросла пятнистая Джейран. Она бежала во весь опор, словно спасаясь от преследования хищников. Корова, как только ступила в черту села, внезапно остановилась. Задрав высоко голову, она деловито осмотрелась по сторонам, будто желая убедиться: туда ли она попала, куда спешила. И в то же мгновение животное с радостным громким мычанием стремительно помчалось мимо удивленных людей.

Неожиданное появление коровы старосты очень обрадовало земляков пастуха. Прошел почти год, как Ишмаил был заключен в тюрьму. Сельчане узнали недавно, что пастух в неволе тяжело заболел. Дети его страшно бедствовали. Они жили на то, что давали сердобольные соседи. Теперь все убедились, что пастух ни в чем не виноват. Было решено написать жалобу всем джамаатом окружному начальству, которое находилось в Касумкенте.

... Однажды под вечер нюгдинцы, собравшиеся на майдане, увидели приближающегося к ним выскокого, худого и чуть сгорбленного человека.

— Хо-о-о! Да это никак Ишмаил, мой дорогой сосед! — радостно воскликнул невысокий, плотный нюгдинец Рахмон, узнав пастуха, и сразу же бросился ему навстречу.

Как только Ишмаил подошел к сельчанам, они тотчас же окружили пастуха и каждый, с чувством пожимая руку земляка, радостно приветствовал его:

— С приездом, дорогой!

— Чтоб тебе век жилось на радость твоим детям!

— Да минуют тебя все беды и невзгоды!

Ишмаил, растроганный и взволнованный до глубины души сердечным вниманием и горячим сочувствием земляков, с благодарностью пожимал дружески протянутые руки, добрым словом выражая каждому свою признательность.

— Теперь скажи, как жилось тебе в этой проклятой тюрьме, — выступив вперед, спросил его старый Шелбет.

— Э-э-э! — недовольно покосился на него Рахмон. — Разве по нему не видно, что жилось бедному не лучше,

чем грешному в аду, Дай бог, так жить старосте и всем его близким.

Только теперь односельчане обратили внимание на то, как Ишмаил за эти одиннадцать с лишним месяцев, что провел в тюрьме, изменился, преждевременно состарился. Лицо его вытянулось, заострилось, лоб и щеки прорезали морщины. Глубоко запали, будто потухли, карие глаза, еще недавно полные жизни и света. Седина посеребрила его бороду. Ишмаила покачивало: видно было, что он через силу держится на ногах.

Как ни велика была радость пастуха встречей с односельчанами, ему не терпелось скорее увидеть своих детей, прижать их к своей истосковавшейся груди. И скоро попрощавшись с сельчанами, он поспешил домой.

Сердце Ишмаила учащенно забилось, когда он приблизился к своему осиротевшему дому. Но прежде чем открыть калитку, он немного постоял на улице, чтобы побороть волнение, выжидая пока уймется расхолодившееся сердце. Охваченный радостным нетерпением, Ишмаил еще с порога хотел бодро окликнуть детей, но голос изменил ему, осекся и прозвучал, как сдавленное рыдание. Сосун и Пери, увидев отца, вне себя от радости, бросились ему на шею. Ишмаил, задыхаясь от волнения, обнимал детей, прижимал к груди, ласкал, гладил по голове, по лицу, осыпал их поцелуями. С болью в душе всматриваясь в землистые, изможденные лица детей, он не мог удержаться от слез.

— Бедные мои детки, маленькие мои страдалцы! — с трудом сдерживая рыдания, проговорил он дрогнувшим голосом.

На другой день Ишмаил проснулся рано. Его разбудил чей-то тонкий плач и сердитый шепот. Ему сначала показалось, что он все еще находится в тюремной камере, усталый, тоскующий и больной. Но открыв глаза, Ишмаил понял, что он дома, и, несмотря на сильное недомогание, которое он испытывал сейчас, ощутил острую радость. Закрыв глаза, он стал прислушиваться: почему плачет дочурка? Зачем на нее сердится сын?

— Хлеба хочу, хоть корочку, — услышал он тихое хныканье маленькой Пери.

— Замолчи, сатана, откуда я возьму тебе сейчас хлеб?! — говорил Сосун, угрожающе выставя кулак перед носом плачущей сестренки и бросая беспокойные

изгляды в сторону спящего больного отца. — Потерпи немного, сбегаю в лес, наберу грибов, нарву тара<sup>1</sup>, сварю похлебку, не умрешь!

Но ни уговоры, ни угрозы брата не действовали на голодного ребенка.

Из стесненной груди Ишмаила вырвался глубокий вздох, похожий на стон. Сосун сурово посмотрел на внешне запно смолкнувшую сестру.

Ишмаил, кряхтя и вздыхая, присел на постели, горестно опустив голову.

— Сосун! — упавшим голосом окликнул он сына. — Зайди к Рахмону и попроси у него топор, пойдем с тобой в лес. Нарубим веток, и ты обрядишь меня гудилом, будешь водить по селу. С неделю проживем на то, что подадут, а там бог милостив...

Сосуну тяжело было слышать от отца эти слова. Мальчик знал, что обычно гудилом обряжаются нищие, которые не стесняются просить милостыню, или же озорные юноши, потехи ради. Поэтому вместе с жалостью к отцу, усталому, больному человеку, он почувствовал глубокое оскорбление за него. И он еще злее посмотрел на сестру.

— Обойдемся как-нибудь, не надо, — попытался он отговорить отца.

— Другого выхода нет, сынок, — более решительно произнес Ишмаил, с трудом поднимаясь с постели.

... После неприятной встречи с гудилом на майдане, староста Гомуил тотчас же вернулся домой, взволнованный и очень раздраженный. Его бесило то, что какой-то пастух, нищий, осмелился пригрозить ему, нанести оскорбление, с презрением швырнув на землю его деньги. Староста привык к тому, что никто в селе не смел ему перечить, и вдруг — такая пощечина. Гомуил сам удивился, как его рука в тот момент, невольно схватившись за кинжал, не выхватила его из ножен и не нанесла удара обидчику... Сейчас, сидя у себя дома на двух подушках, он как бы заново переживал происшедшее на майдане и жаждал мести.

— Проклятый Илогу! Это он во всем виноват! — в сердцах произнес Гомуил, крепко стиснув зубы.

Вспомнив о своем чауше, староста в бессильной зло-

---

<sup>1</sup> Тара — съедобная трава, из которой варят похлебку.

бе начал в душе яростно ругать и поносить всех его живых и мертвых родственников, призывая на их головы тысячи напастей и проклятий. Поэтому, когда несколько минут спустя к нему пришел ничего не подозревавший Илогу, насквозь промокший под дождем, староста, багровев от злости, вместо ответа на его приветствие, устремив на чауша свирепый взгляд, обрушился на него с бранью и упреками:

— Скажи, негодяй, как ты мог так подло обмануть меня?!.. Не ты ли уверял меня, что обделаешь это дело так, что, кроме меня и тебя, ни одна душа об этом знать не будет. Теперь по твоей милости все на селе шушукуются, перешептываются за моей спиной, провожают меня недовольными взглядами. А еще этот голодранец Ишмаил полчаса тому назад...

Староста, шумно вздыхая, прервал свою речь, нервным движением сунул руку в боковой карман атласного бешмета, вынул оттуда кальян и кисет с табаком. Илогу, улучив момент, быстро достал кресало с кремнем, торпливо выбил искру и зажег сушеный мох. Угодливо опустившись перед старостой на корточки, он почтительно положил дымящийся, приятно пахнущий мох на набитый табаком кальян Гомуила.

— Я же не раз, джан староста, рассказывал тебе об этом случае. Если вышло не так, как нами было задумано, клянусь твоей жизнью, я не виноват, — проговорил он, заискивающе глядя в глаза своему хозяину.

... Случай, на который намекал чауш, произошел почти год тому назад. Как-то весенним вечером Гомуил сидел дома и сосредоточенно стучал костяшками на счетах. Он прикидывал во что ему обойдется задуманная им постройка новой водяной мельницы. От мельницы он рассчитывал получить немалый доход, и все же было жалко тратить на нее много денег.

— А что если я дам пастуху Ишмаилу не шестьдесят мер пшеницы, которые ему причитаются, а?.. — Гомуил вопросительно уставился на своего чауша, который сидел напротив старосты и любопытными глазами следил за движениями его волосатых пальцев, которые медленно перебирали костяшки на счетах.

Безмерная алчность старосты даже у Илогу вызвала отвращение. Но он, чувствуя свою зависимость от Гомуила, боялся его и всячески угодничал перед ним.

— Хм, конечно, если каждому раздавать по шестьдесят мер пшеницы, хе-хе, разориться можно,— с притворным сочувствием заметил Илогу. Затем, немного помолчав, словно обдумывая что-то, Илогу, подавшись вперед и вытянув короткую шею, заговорил тихо и доверительно, хитро прищурив глаз: — Если ты хочешь, можно всё устроить так, что пастух не получит даже одной мерки пшеницы.

Староста, откинувшись к стене, завешенной большим разноцветным ахтынским ковром, невольно засмеялся, недоверчиво и насмешливо поглядывая на своего подчиненного.

— Тебе, я вижу, хочется пошутить?..

— Кроме шуток! — с серьезным видом произнес Илогу.— И это можно сделать очень просто. Как? Вот послушай. Можно днем тайком от пастуха вывести из стада одну из тридцати твоих коров, угнать её в какое-нибудь дальнее селение и продать на стороне. А потом, когда обнаружится пропажа коровы, обвинить пастуха в... краже.— Илогу, не сводя испытующего взгляда с лица старосты, которое сразу приняло озабоченное выражение, хитро улыбаясь, таинственно добавил: — Это же сущий пустяк по сравнению с тем дельцем, которое мы с тобой когда-то обтяпали на берегу Григоринчая. Помнишь?..

Что-то дрогнуло в лице Гомуила. Резко подавшись вперед, он, пронзив колючим взглядом приземистую фигуру своего чауша, с нескрываемой тревогой скосил глаза на прикрытую дверь соседней комнаты.

— Замолчи же ты, безумный! — глухо и угрожающе прошипел староста.— Там же жена, услышит!.. Хм, тоже нашел время вспоминать об этом,— осуждающе покачал он головой.

Но через минуту Гомуил успокоился и, ободряюще глядя на Илогу, приветливо улыбнулся:

— А насчет коровы, клянусь богом, ты неплохо придумал.

От похвалы начальника рыжая физиономия Илогу расплылась в угодливой самодовольной улыбке.

И вот в тот самый летний день, когда пастух Ишмаил, пустив стадо на широкий зеленый луг и опершись на свою кизилковую палку, видел себя в мечтах хозяином собственного участка земли, чауш, поминутно оглядываясь по сторонам, осторожно, как зверь, подстерегающий



добычу, подкрадывался к стаду, пробираясь через густые камыши, росшие на краю луга. Когда одна из коров старосты, пятнистая Джейран, беззаботно пощипывая траву, оказалась рядом с камышовыми зарослями, Илогу, бросив веревку, ловко, как заправский конокрад, заарканил её и с силой потащил в заросли.

...Неожиданное появление Джейран, которая сбежала от нового хозяина и примчалась в Ньюджи, не только спутало расчеты Гомуила, но вызвало у него серьезное беспокойство и волнение. И вот сейчас оба сообщника сидели вдвоем и ломали голову, как выпутаться из этой неприятной и скандальной истории.

— Ладно, давай теперь решим, что нам делать,— примирительно проговорил Гомуил, но тут же, строго посмотрев на собеседника, угрожающе добавил: — Учти, если твоя проделка с коровой станет кому-нибудь известна, я ничего не знаю, отвечать будешь ты, только ты!

Он откинулся спиной к ковру и сделал несколько глубоких затяжек. Сквозь табачный дым староста испытующе и выжидательно глядел на угрюмо молчавшего чауша.

Илогу внутренне возмутился неслыханной наглостью этого своевластного человека, но внешне выразил полную покорность ему.

— Я многим обязан тебе, староста, — со смиренным видом и деланным спокойствием проговорил Илогу. Затем, смело и предано глядя ему в глаза, решительно добавил: — Ты можешь положиться на меня: если надо, я готов не только взять все на себя, но и принести самого себя в жертву своему благодетелю.

Первый раз за время разговора Гомуил улыбнулся, ласково и признательно посмотрев на своего верного чауша.

— Да ты особенно не сокрушайся,— вдруг пожалел его староста.— Есть выход...— Он, наклонившись к нему, проговорил тихо, почти шепотом.— Говорят, пастух очень болен. Если это так, то надо немедленно пустить ему кровь.

На лице Илогу отразилось крайнее удивление.

— Как же так,— невольно усмехнулся он, слушая, как ему показалось, нелепый совет старосты,— мы пускаем кровь, чтоб больной выздоровел, изгнать из его тела болезнь, нечистую силу...

Гомуил выпрямился и, раздосадованный несообразительностью своего чауша, с укором посмотрел на него.

— Неужто ты не знаешь: душа человека блуждает в его крови...

— Ну и что? — робко спросил Илогу, опять не поняв, на что намекает староста.

— Не даром же говорится: умному — намек, глупому — объяснение, — окончательно разозлился Гомуил, окинув маленькую, сгорбившуюся фигуру чауша недовольным, презрительным взглядом. И понизив голос, тихо, но внушительно добавил: — Если пустить больному больше крови, чем следует, то вместе с нечистой силой можно изгнать из тела и его душу. Понял?

На некоторое время Илогу уставился на старосту застывшими от удивления глазами: он был поражен не столько неприкрытой жестокостью Гомуила, сколько его простой, вместе с тем хитрой и коварной выдумкой. И он с готовностью принял его совет, вернее, приказание. Не произнеся более ни слова, даже забыв попрощаться с Гомуилом, Илогу поспешно вскочил с места и, с силой распахнув дверь, выбежал на улицу под шумный проливной дождь...

## ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА

К вечеру состояние больного резко ухудшилось. Временами он впадал в беспамятство и не узнавал людей, приходивших навестить его.

Сосед Ишмаила Рахмон всю ночь, не смыкая глаз, провел у изголовья больного, стараясь хоть сколько-нибудь облегчить его страдания. Холодный пот заливал еще более осунувшееся после «лечения» знахаря, почерневшее лицо Ишмаила. Неестественно блестящие глаза смотрели тупо, бессмысленно, а в груди хрипело и kloкотало. Больной задыхался и беспокорно метался в постели.

Обычно веселый, жизнерадостный Рахмон, сейчас, глядя на соседа, на его подавленных горем детей, напуганных страхом близкой смерти отца, глубоко страдал, поминутно вытирая непослушные слезы.

Рахмону едва минуло тридцать, а он уже ходил в дедушках. Нюгдинцы обычно рано женили своих детей,

словно боясь, что или родители, или сами дети не успеют дожить до этого «счастливого события». Мальчика в четырнадцать лет уже принимали за жениха, мужчину, а девушку в возрасте двенадцати-тринадцати лет нередко выдавали замуж.

Самого Рахмона женили, когда ему шел пятнадцатый год. В прошлом году он выдал замуж свою тринадцатилетнюю дочку, которая недавно стала матерью. Кроме того, у Рахмона было еще девять детей мал мала меньше. Жена его, Майрам, маленькая, смуглая, худенькая женщина с бледным измученным лицом и заостренными скулами, рожала чуть ли не каждый год. Про нее говорили в селе, что она вечно беременная. Дважды жена Рахмона родила двойню, однажды — тройню. Такая чрезмерная плодовитость жены, которой сама она, бедняга, была не рада, не на шутку огорчала и пугала мужа. Он нередко, тяжело вздыхая, говорил жене с горькой усмешкой:

— Эх, корова из тебя вышла бы на зависть всему свету, а как жена, скажу я тебе, ты божья кара для бедняка.

— Ах, не гневи бога, Рахмон,— страдающим голосом умоляла она его.— Ведь это он, всевышний, дает нам детей, то ли за нашу доброту, то ли за наши грехи.

— Если бог добр к нам, почему наша единственная корова часто остается яловой, из-за этого у нас в доме ни молока, ни сыра, а ты рожаетшь чуть ли не каждый год, да еще по два-три едока в один раз? — не унимался Рахмон, продолжая распекать жену.

Майрам, боясь, что жалобы и упреки не сдержанного на язык мужа вдруг не понравятся грозному богу и как бы он потом в отместку за это не послал бы на них новые беды, каждый раз умоляла Рахмона не сетовать на судьбу.

Однажды ночью повитуха Эвшаг, пожилая, полная женщина с выкрашенными хной волосами под черным платком, при свете керосиновой лампы принимала у Майрам роды.

Рахмон, окруженный детьми, сидел, как наседка с цыплятами, в другой комнате.

— Рахмон! Поздравляю! У тебя сын! — заглушая плачь новорожденного, громко и радостно крикнула Эвшаг из соседней комнаты.

Через пять-шесть минут опять раздается её же голос, правда не такой громкий и торжественный, как в первый раз.

— Рахмон! Да смилостивится над тобой господь, у тебя еще один младенец — дочь!

Рахмон молчал. Немного погодя, он опять услышал:

— Рахмон! Поздравляю...

Говорят, перепуганный и растерявшийся Рахмон, не дослушав до конца повитуху, чтобы узнать, кто у него еще родился, подбежал к двери и крикнул, как на пожаре:

— Тетя Эвшаг, ради бога, скорее погаси лампу! А то они, эти дармоеды, один за другим, выскакивают как мошкара на свет.

Но Рахмон, несмотря на то, что был обременен большой семьей и жил в бедности, никогда не унывал. Он был веселым, жизнерадостным, любил шутить, балагурить, прекрасно играл на зурне, а иногда сочинял и песни. За эти «пустые затеи» степенные крестьяне считали его чудачком, легкомысленным человеком.

Но этот «чудаковатый» и «легкомысленный» человек имел очень доброе и отзывчивое сердце. И вот сегодня, после тяжелой работы в поле Рахмон, несмотря на усталость, ни на шаг не отходил от больного, ни на минуту не смыкал глаз. Он то вытирал полотенцем пот, заливавший больному лицо, глаза, то придерживал его, когда тот в бредовой горячке порывался вскочить с постели.

После полуночи Ишмаил, совершенно обессиленный, лежал уже тихо, почти неподвижно. Глаза его потеряли напряженный, неестественный блеск, затаились мутной пеленой. Вместо бурного дыхания в груди теперь раздавался лишь слабый хрип. Жизнь еле тлела в нем, как угасающие угольки под остывшей золой.

Когда в разных концах села пропели петухи, возвещая о близком рассвете, внезапная судорога пробежала по телу больного. Он вздрогнул, судорожно вытянулся и больше не шевельнулся. С вторжением смерти в комнате нависла жуткая тишина, потом раздался тихий, полный безысходной печали и тоски дрожащий голос Рахмона, который причитал, закрывая веки покойного:

В мире все — ничто, суета сует,  
Один ты, бог, вечен на небесах...

Утром тело покойного обмыли, зашили в саван, купленный в лавке старосты на гроши, собранные у сельчан, положили на катафалк и быстро понесли на кладбище. Саван был, пожалуй, единственной обновкой, которую впервые видели на пастухе.

Предав покойного земле, нюгдинцы собрались неподалеку от кладбища, где с монотонным журчанием протекал ручеек, заросший по краям темно-зеленой осокой. Наскоро умывшись, они, молча, повернувшись лицом к востоку, застыли в молитвенных позах.

Один из пожилых мужчин — раби Шафад, худой, высокий человек с длинной курчавой квадратной бородой ассирийского царя, поманил пальцем к себе сына покойного:

— Повторяй вслед за мной, что я скажу, сын мой, — сказал он мальчику тихо, но внушительно: — Я — родной сын своего отца, кровь от крови и плоть от плоти его, — отчеканивая каждое слово, произнес раби.

— Я — родной сын своего отца, кровь от крови и плоть от плоти его, — сдерживая рыдания, смущаясь и волнуясь, повторил Сосун при суровом и торжественном молчании присутствующих.

— Заявляю перед лицом всего джамаата, — продолжал раби диктовать мальчику, — что, кроме меня, у моего отца нет сына. Если кто-нибудь под моим обликом и под моим именем явится к моему отцу и будет тревожить его покой, терзать его, пусть того постигнет божья кара и проклятие народа. Амины!

Когда Сосун слово в слово повторил все, что сказал раби, нюгдинцы в один голос воскликнули: «Аминь!»

Вечером в осиротевший дом пастуха пришли односельчане, чтобы почтить память усопшего, разделить горе его детей. Мужчины, набив кальяны табаком и расположившись поудобнее, повели беседу. Их лица, освещенные скупым, колеблющимся светом дымящейся коптилки, были задумчивы и торжественно-печальны.

Разговор, как принято в таких случаях, зашел о покойнике, о том, какой он был добрый, честный человек, заботливый отец. Расхваливая его действительные и мнимые достоинства, сельчане говорили о том, что не произоиди этот роковой случай с пропажей злополучной коровы старосты, не проводи Ишмаил почти целый год в тюрьме, он был бы жив, находился среди них, растил

бы своих детей. Потом разговор незаметно перешел на старосту. Собравшиеся открыто роптали на него, давая выход накопившейся в душе обиде.

— Теперь нам и податься некуда, — с горечью проговорил Офдум, мужчина лет тридцати пяти с большими черными усами на смуглом бритом лице. Сельчане между собой в шутку называли его Офдум-Четверть быка за то, что он вместе с тремя другими юндинцами сообща владели одним единственным рабочим быком. — Куда сейчас не ступишь, чуть ли не везде натыкаешься на владения старосты. Мало ему своего добра, да еще наши общинные луга и леса начинает прибираться к рукам. Скоро и за выпас, и за лес он потребует, чтобы мы платили ему.

— Да, к этому дело идет, — поддержал Офдума сидевший рядом с ним Одом, маленький, бледный пожилой мужчина с густой проседью в пышной бороде и красным кушаком, повязанным поверх старого бешмета.

У Одома было четверо дочерей и ни одного сына, поэтому он считался «хьомолом» — несчастным бездетным. Чтобы обратить внимание бога на свою печальную судьбу, старик носил, как велит обычай, красный кушак бездетности. Несмотря на то, что в комнате было жарко натоплено, Одом сидел в шубе, накинутой на худые плечи, так как его постоянно мучила болотная лихорадка.

— И без того, обратите внимание, сколько приходится платить разных поборов, — царю плати подушный налог — раз, — старик заломил один палец на левой руке, — хозяину за аренду земли — два, старосте за то, что стоит над нами, — три, рабы за то, что молится за нас, — четыре, знахарю за то, что бреет нас и пускает кровь, — пять...

— Да будет счастливым твой конец, дядя Одом, не надо, не считай, все равно пальцев не хватит, придется их занять у меня, — перебил его Рахмон и, хитро усмехнувшись в черные усы, добавил: — Чем вести бесполезный счет, кто сколько с нас шкур сдирает, давайте лучше я расскажу вам, как наш староста, да чтоб он провалился, ездит к губернатору и выпрашивает у него купчую на наши общинные земли и леса, наивные вы глупцы!

Рахмон молча обвел присутствующих карими, лукаво-насмешливыми глазами. Его слова вызвали у одних

недоверчивые улыбки: знаем, мол, какой ты чудак и пустомеля, а у других — откровенный интерес и любопытство. Но и те и другие приготовились слушать его со вниманием. И когда в комнате воцарилась тишина, Рахмон начал говорить о губернаторе, о его привычках, вкусах, торжественных выездах и семейных делах с такой «осведомленностью», словно нюгдинец не раз проводил время в обществе губернатора и лично знал правителя Дагестана.

По рассказам Рахмона, губернатор Дагестана живет в роскошном мраморном дворце в Темир-Хан-Шуре, как все равно падишах. Да и сам он, оказывается, приходится царю Николаю не чужим, а родным племянником и даже чуть ли не наследником, так как царь не имеет сына, у него одни дочери. Но царь вместо «кушака бездетности» на бедре носит голубую шелковую ленту через всю грудь. Если Николай умрет «хьомолом», губернатор Дагестана взойдет на его престол, как законный наследник. Поэтому он держится чрезмерно важно. И каждый, кто идет к губернатору, будь то по делу или просто поглядеть на него, должен согласно обычаю преподнести ему, как пишкеш, целую четверть монопольной водки и вареную свиную голову.

По словам Рахмона, от чрезмерного употребления крепкой монопольной водки и жирной свинины губернатор и его жена, которую зовут Каспожой, так раздвлись, растолстели, что их возят на арбе, запряженной четверкой, а то и шестеркой здоровенных рысаков.

Рахмон, все больше воодушевляясь собственным рассказом и вниманием слушателей, принялся затем, не жалея красок, описывать характер и поведение Каспожи губернаторши.

— На виду у всех она ходит почти раздетая, с открытой белой грудью и широкой голой спиной, — уверенно продолжал Рахмон. — Больше того, Каспожа позволяет всякому мужчине целовать ее руку при муже, а нередко на виду у него даже танцует в обнимку с офицерами.

Мужчины весело засмеялись, а женщины в ужасе от услышанного, неодобрительно цокая языком, осуждающе покачивали головами.

— Вай! Вай!.. Как же её муж, этот самый губернатор, терпит такое: не отрубит кинжалом ей голову или

не прогонит вон из дому? Где же его намус? Зачем он носит папаху? — удивленно воскликнула Эвшаг.

— У них обычай такой, — с видом знатока уверенно заявил Рахмон. — Да и носит губернатор на голове, скажу тебе, тетя Эвшаг, не папаху, как наши мужчины, а фуражку.

— Неужели и Гомуил носит губернатору свиную голову? — возмутился старик Шелбет и брезгливо поморщился. — Да как же он не боится прикасаться к свинье, осмеливается нарушать святые законы наших отцов?

— А ты что думал? — не унимался Рахмон, как бы дразня старика и глядя на него насмешливыми глазами. — Из-за богатства жадный Гомуил не только святой закон, и родную мать продаст. И если хочешь знать, — он еще раз оглядел всех и, понизив голос, доверительно произнес, — Гомуил сам не прочь откусать вместе с губернатором и Каспожой от свиной головы, только бы ему прирезали лишний участок нашей общинной земли или леса.

— Вай! Хватит!.. — запротестовал кто-то, прикрыв ладонью рот.

— Клянусь богом, пошел бы я к губернатору с жалобой на нашего старосту, но, как вспомню, что ему надо нести пишкеш — свиную голову, дрожь меня пробирает, — не то в шутку, не то всерьез проговорил Шелбет, оглядывая сочувственно улыбающихся односельчан.

В разгар беседы в комнату вошел староста. Его сопровождал раби Шафад. Все поднялись и продолжали стоять, пока староста и раби не прошли вглубь комнаты, где расположились мужчины, и не уселись между ними. Собравшиеся, соблюдая приличие, почтительно молчали, ожидая, пока раби заговорит первым.

Некоторое время раби сидел молча, неподвижно, точно погруженный в глубокое раздумье, и медленно оглаживал длинную, в колечках, наполовину уже седую бороду. Все поняли, что раби Шафад сейчас мысленно подыскивает тему, которая подходила бы для двшеспасительной беседы в этот вечер, поэтому терпеливо и выжидательно смотрели в его сторону. Будучи людьми религиозными и очень суеверными, они с доверием и почтением относились к своему духовному пастырю, хотя многие из них и осуждали его про себя за дружбу со старостой.



Раби начал говорить о душе, о том, как душа человека после смерти, отделившись от его бренного тела, предстает перед божьим престолом на небесах. И там в присутствии ангелов бог взвешивает на чашах весов все добрые и злые дела покойного, затем решает, куда поместить его душу: или в райские сады, находящиеся на седьмом небе, где её ожидает вечное блаженство, или в подземный ад, где души грешников горят в вечном огне...

Раби говорил о врожденных дурных наклонностях человеческой природы, легко поддающейся соблазнам, злым и губительным страстям. И чтобы хранить душу в чистоте, не отягощать её грехами, он советовал обуздать плотские желания, за мирской суетой не забывать о боге, прощать обиды, не завидовать ближнему...

Гомуил сидел рядом с раби и с напускной скорбью на лице, делая вид, будто все, о чем говорит раби, его, как набожного человека, глубоко трогает. А темные, забитые нюгдинцы слушали своего красноречивого проповедника с неподдельным чувством покорности судьбе и почтительного страха перед всемогущим господом.

Когда раби закончил проповедь, на некоторое время в комнате воцарилась глубокая тишина.

Первой нарушила ее любопытная Эвшаг, сидевшая с женщинами в нижней половине комнаты, отдельно от мужчин.

— Прости, раби,— тихо, почти боязливым голосом произнесла она, скромно прикрывая рот краем черного платка,— вот когда покойный Шемей, да простит нам бог, что произносим его грешное имя, приходил к нам с того света, его душа была с ним?

Вопрос Эвшаг насторожил всех. Присутствующие с выражением острого любопытства и некоторого замешательства напряженно уставились на раби. У каждого еще был свеж в памяти этот неслыханный трагический случай, о котором упомянула Эвшаг.

... Лет десять тому назад нюгдинцы похоронили своего односельчанина Шемея. Это был высокий, крутоплечий мужчина лет сорока, удивлявший всех своей недюжинной силой. Работая на току, Шемей без особых усилий поднимал с земли тяжелые мешки с зерном и легко перебрасывал их в арбу. А если случалось, что его лошадь не могла вытянуть повозку, застрявшую в липкой

грязи или в ухабе, то Шемей сам впрягался в оглобли и вытаскивал её.

Как-то раз Шемей отправился в лес заготавливать уголь. Но крестьяне, возвращавшиеся к вечеру домой, нашли его в лесу лежащим у дороги, возле большой кучи дымящегося угля. Он не подавал никаких признаков жизни. Сельчане на руках принесли его домой. Шемей отливали холодной водой, тянули за бороду, кололи шилом пятки, хлестали по щекам, но он все не приходил в себя. Тогда старейшины решили, что дело тут не в угаре, что когда Шемей один спал у дороги в лесу, ангел смерти Азраил, видимо, спешивший в это время за чьей-то душой, случайно наткнулся на него и забрал его душу вместо той, за которой шел. Поэтому решили немедленно предать тело Шемея земле, как этого требует обычай.

На следующее утро всем джамаатом похоронили Шемея. Нюгдинцы то ли по издавна установившемуся у них порядку, то ли потому, что там, за околицей села, за оврагом, где размещалось кладбище, подпочвенные воды были близки, обычно рыли для покойников неглубокие могилы, в полчеренка лопаты глубиной. Сверху ямы прокладывали толстые сучья, которые накрывали ветками, сухой соломой, а затем засыпали свежей землей.

Ночью того дня, когда селение было погружено в сонное оцепенение и лишь время от времени далеко раздавались в застывшей ночной тишине хриплые, похожие на протяжные стоны крики петухов и недовольный лай собак, вызванный печальным завыванием шакалов в садах и ближних лесах, какой-то человек огромного роста, совершенно голый, преследуемый целой стаей неистово лающих собак, забежал во двор, откуда сегодня вынесли покойника, и нетерпеливо постучался в дверь.

— Кто там? — послышался схрипший от плача печальный голос вдовы покойного.

— Это я, Шемей, открой скорее! — ответил голый человек, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

Жена сразу узнала до боли знакомый, бесконечно родной голос мужа. Но как ни странно, вместо того, чтобы отшвырнуть засов, распахнуть дверь и в безумной радости кинуться на шею чудом воскресшего мужа, кричать на все село, на весь мир об этой своей радости, голос мужа поверг её в панический страх. Суеверная женщина решила, что к ней стучится душа Шемея, мечуща-

яся после расставания с телом, или дьявол, приняв его образ, явился к ней с недобрым намерением.

— Вернись в свою обитель, дорогой, успокойся,— с дрожью в голосе принялась умолять Шемея жена, трепеща от страха.

Но Шемей, услышав такой ответ и потеряв терпение, начал ломиться в дверь, крича на весь двор.

— Клянусь богом, если ты сейчас же не откроешь дверь, я пересчитаю все твои ребра, дочь хромой Божи!..

Шемей всегда так ругал жену, когда он почему-либо сердился на неё. Но она, боясь, что «покойник» вот-вот ворвется к ней, искалечит её и детей, подняла дикий вой.

Разбуженные среди ночи криками жены Шемея, его угрозами и неутрахающим лаем взбудораженных собак, мужчины и женщины вскочили с постелей и сбежались к ним во двор. Неожиданная встреча с «покойником» ошеломила и сбила всех с толку, вызвав у нюгдинцев страх и замешательство. А Шемей, увидев родные, знакомые лица односельчан, перестал ломиться в дверь. Шатаясь, как пьяный, он вышел на середину двора и, прикрыв руками наготу, закатился долгим истерическим смехом.

— О джамаат, жена меня усыпила и похоронила как покойника, и теперь боится пускать домой потому, что у нее спрятался ошне. — Он внезапно умолк, потом жалобным, умоляющим голосом заговорил опять, обращаясь к собравшимся. — Ради бога, помогите мне войти в мой дом, обнять моих детей.

Сельчане, оцепенев, продолжали глядеть на Шемея в немом ужасе. Никто из них не в состоянии был вымолвить слова. Все то, что сейчас видели нюгдинцы, было непостижимо для них. Они знали, что умершие не воскресают. Но они твердо верили, что иногда дьявол может принять образ покойного и явиться в село, чтобы покалечить скот, повредить посевы, напустить на людей мор, чуму...

— Чего стоите, как истуканы! — крикнул Гомуил, с трудом пытаясь унять дрожь, охватившую его. — Убейте его, это не Шемей, а дьявол в его образе!..

Услышав грозный призыв старосты расправиться с ним, Шемей сначала оцепенел, потом, видно, от волнения забыв, что он голый, протестующе взмахнул руками и с возмущением крикнул:

— Староста! Побойся бога, почему меня должны убивать? Разве вы не видите, что я не дьявол, а ваш односельчанин Шемей?!

Едва Шемей произнес эти слова, как тут же почувствовал тупой удар в бок. Он закричал от боли, еле удержавшись на ногах. Увидев стоявшего перед ним старика Шелбета с искаженным лицом и тяжелым колом в руке, он не пошел на него с кулаками, а громко взмолился:

— Шелбет, отец мой, не бей меня!.. Что я сделал плохого вам, своим односельчанам. Почему вы меня снова хотите загнать в могилу?!

— Если ты Шемей, то где саван, в котором мы хоронили тебя сегодня? Разве Шемей показался бы в селе с открытым срамом? — подал голос кто-то стоящий позади всех.

Голый человек сделал несколько шагов вперед, вытянув голову, видимо, чтобы узкать, кто это говорит, но заметив, как односельчане, плотно стоявшие друг к другу, вспорхнулись, в испуге подались назад, а женщины вскрикнули от страха, сразу остановился.

— Да вы не бойтесь меня! — с обидой и насмешкой в голосе проговорил он. — Саван я сбросил на дороге, а то эти проклятые собаки мне проходу не давали и чуть не загрызли. — Он нагнулся и показал рукой на свои искусанные ноги. — А голого человека, как знаете, собака не кусает.

Мольба Шеменя, его слова, обращенные к односельчанам, на минуту заставили их поверить в то, что перед ними, действительно, Шемей — их односельчанин, а не какой-то оборотень. Но вновь раздавшийся тревожный голос Гомуила, который больше всех боялся, как бы дьявол не искалечил его скот и не погубил посевы, поколебал их уверенность:

— Не давайте бесу попутать себя. Беда обрушится на ваши несчастные головы. Прогоните этого дьявола или убейте его!..

В одно мгновение в чьей-то руке угрожающе блеснул кинжал и с размаху опустился на бритую голову Шеменя. Он с протяжным воплем ухватился обеими руками за голову и, обливаясь кровью, стал кружиться по двору, стараясь вырваться из людского кольца, но та же неумолимая рука снова настигла его. От второго удара

Шемей громко застонал, отпрянув назад, закачался и тут же плашмя упал на голую землю.

Несколько минут спустя два соседа Рахмон и пастух Ишмаил стремительно ворвались в толпу взволнованных и возбужденных нюгдинцев и принялись, перебивая друг друга, громко кричать им:

— Он — Шемей!

— Не трогайте его!..

— Вот его саван!

— Могила его открыта!..

— Своими глазами видели!

— Не берите греха на душу!

Но было уже поздно. Шемей лежал на спине во всю длину своего богатырского роста, разметав руки в стороны, с рассеченной головой и зияющей раной на груди. Глаза его еще были открыты. Они с немим криком смотрели на мерцающие в небе звезды, словно призывая их в свидетели дикой безжалостной расправы над неповинным человеком.

На следующий день Шемя хоронили вторично, на этот раз на склоне высокого холма, на краю кладбища, отдельно от остальных покойников. Раби даже запретил родственникам Шемя поставить ему надгробный памятник. Могила его заросла терновником и колючими кустами ежевики, исчезла, скрылась навсегда из глаз.

Но то страшное ночное происшествие продолжало жить в памяти сельчан, тревожить воображение суеверных нюгдинцев, вызывая самые разнообразные толки и догадки.

И когда в этот вечер вновь вспомнили об этой ужасной трагедии, раби, поглаживая свою окладистую бороду, произнес задумчиво и не совсем уверенно:

— Трудно судить: был ли то Шемей или дьявол в его образе. Если это даже и был Шемей, то он, наверное, вернулся с того света по наущению дьявола.

Сын покойного пастуха сидел рядом с Рахмоном, печальный и напуганный. То, что он сам пережил сегодня, и то, что услышал сейчас от взрослых, казалось ему каким-то тяжелым, запутанным сном, полным ужасов и гнетущей тоски. И стоит только проснуться, — исчезнет этот кошмар и все встанет на свои места. Тогда ничто не будет угрожать ни ему, ни его отцу, ни этим бедным людям, которых он видит перед собой.

Но как ни наивны были думы и размышления мальчика, в глубине души он с болью сознавал, что, к несчастью, все происходящее — не сон, не наваждение, а горькая действительность, от которой ни ему, ни его односельчанам не уйти, не спрятаться.

## «ПИРАМИДЫ ФАРАОНА»

Лето было в разгаре, июльское солнце обливало землю горячим зноем. Травы давно выгорели, пожелтели хлеба и, когда налетал ветерок, тугие колосья, ударяясь друг о друга, тихо звенели, как струны саза, перекатываясь волнами. Накаленный дрожащий воздух, будто вырвавшись из горячей печи, дышал жаром, обжигал лицо. Кое-где уже начали осыпаться хлеба, поэтому сельчане спешили с уборкой.

Всю свободную землю вокруг села крестьяне заранее очистили, разровняли, утрамбовали и превратили в тока. И вот, когда почти вся пшеница была скошена и вывезена в село, у токов сплошными рядами выросли неровными желтыми холмами скирды, ожидая обмолота. С утра до вечера под палящим солнцем кипела на токах напряженная работа: одни со свистом, размахивая длинным кнутом, гоняли по кругу мокрых от пота, взмыленных лошадей, тянувших по раскинутым снопам молотильные доски, другие деревянными вилами веяли мякину, третьи свшили зерно и ссыпали его в сучвалы.

Для Гомуила подготовили несколько токов. Словно горы, возвышались огромные скирды старосты. Сельчане между собой называли их «пирамидами фараона», вкладывая в эти слова свою скрытую ненависть к старосте и сравнивая его с библейским фараоном, на крови и костях невольников построившем себе знаменитые пирамиды.

Много батраков, начиная от престарелого Шелбета и кончая подростком Сосуном, работало в эти страдные дни на Гомуила. Его тока были самым оживленным местом не только днем, но и после окончания трудового дня. Когда наступали первые сумерки и прекращалась работа, а воздух уже начинал дышать прохладой, почти все мужское население стекалось на тока Гомуила. Де-

тям нравилось играть среди «пирамид» в прятки и в разбойников, а взрослым тока Гомуила на период обмолота хлебов заменяли майдан. Они шли сюда, чтобы после жаркого, напряженного дня, отдыхая на свежем воздухе, скоротать время за приятной беседой.

Почти каждый вечер приходил вместе со всеми на тока Гомуила и Рахмон, захватив с собой свой волшебный инструмент — зурну. В вечернем воздухе далеко разносились то печально-заунывные, то задорно-весёлые звуки его зурны. Нередко молодые нюгдинцы, когда отсутствовали старики, повинуясь душевному порыву, лихо пускались в пляс, а остальные азартно хлопали в ладоши, подзадоривая танцующих.

Взрослых сельчан тянуло на тока Гомуила и другое. Его старший сын Шоул, который учился в городе в гимназии, каждый год во время летних каникул приезжал в родное село. Это был худощавый юноша среднего роста, со светло-кариими, слегка близорукими глазами, с открытым добродушным лицом.

Сельчане относились к нему с большой симпатией, любили его. В отличие от отца он вел себя с односельчанами просто, как равный с равными. Очень часто он рассказывал нюгдинцам, для которых весь мир заключался в пределах их маленького заброшенного селения, удивительные истории, которые были для них откровением.

В один из лунных вечеров, когда на току было особеннолюдно, Шоул говорил сельчанам, как три года тому назад в морозный январский день русские рабочие огромной толпой шли к царскому дворцу со своими женами и детьми. Они шли, чтобы просить у царя хлеба для своих голодающих семей, искать защиты от своих притеснителей-хозяев.

— Ну, а царь? Он, наверно, поговорил с народом, встал на их защиту? — спросил у Шоула Офдум-Четверть быка.

Когда Шоул сказал, что царь не только не выступил в защиту рабочих, но и приказал войскам стрелять в безоружную толпу, нюгдинцы были потрясены услышанным. Хотя никто из них даже не представлял себе, где, в какой части света находится столичный город Петербург, но в эту минуту у каждого было такое чувство, словно горе русских рабочих было их собственным горем.

Один только Илогу, язвительно усмехаясь, позволил себе усомниться в правдивости того, что сказал гимназист.

— Трудно поверить, что царь стрелял в своих подданных, если они шли к нему с миром,— вставил Илогу своё слово.

В вечерних сумерках Шоул плохо видел лицо Илогу. Но почти все заметили, как обычно спокойный и уравновешенный гимназист, резко подняв голову и невольно подавшись вперед, уставился на чауша своими близорукими глазами, полными откровенной ненависти и презрения. Казалось, вот-вот он бросит ему в лицо что-то злое, обидное. Однако ничего этого не произошло. Шоул сдержал себя и после непродолжительного молчания вновь заговорил своим обычным спокойным тоном.

— К сожалению, рабочие, идя к царю, тоже думали, что царь выйдет к ним, выслушает их жалобу, выразит им свое сочувствие и тут же удовлетворит их просьбы. Но в этот кровавый день они убедились, что царь не любит бедных. Ведь сам царь — первый помещик в России, первый богач, самый крупный хозяин. А хозяин всегда на стороне хозяина. Вот поэтому царь Николай и приказал стрелять в рабочих, которые пришли жаловаться на своих хозяев.

— Известное дело: ворон ворону глаз не выклюет! — как бы в подтверждение словам гимназиста злобно воскликнул Рахмон.

Продолговатое загорелое лицо Шоула осветилось доброй улыбкой. Ему было приятно, что Рахмон, у которого на любой случай находилось в запасе меткое слово, этой короткой поговоркой выразил суть того, что хотел внушить им Шоул в этой беседе.

— Верно ты сказал, дядя Рахмон, верно,— с одобрением в голосе проговорил сын старосты.

— А как же такое злодейское дело сошло царю с рук? — беспокойно заерзав на ворохе соломы, на которой сидели участники собрания, подал голос старый Шелбет.

— Хо-хо! Вот и сказал! — удивился Рахмон наивности старика. Похвала гимназиста, казалось, воодушевила его. — Попробуй пойти против царя — мигом на тот свет отправит. У него ведь войска, генералы.

Все напряженно молчали, ожидая, что скажет Шоул.



— Да, верно, у царя большое войско, генералы, полиция,— подтвердил гимназист,— но это не испугало русских рабочих.

И Шоул рассказал, как рабочие, возмущенные чудовищной жестокостью Николая II, с оружием в руках боролись с казаками, а крестьяне в деревнях сжигали усадьбы помещиков.

Гимназист говорил нюгдинцам в этот вечер и о такой человеческой общине, где не будет ни бедных, ни богатых, которая называется социализмом.

Все, что рассказывал Шоул нюгдинцам, казалось похожим на сказку, в которую трудно поверить. Несмотря на это, его беседы волновали их воображение; вызывали у них смутные догадки, какие-то новые чувства, расширяли их понятие о жизни, о мире, вселяли добрые надежды. И они готовы были слушать своего юного земляка бесконечно, забыв об отдыхе и сне.

Для нюгдинцев, работавших на токах старосты, рабочий день обычно начинался задолго до восхода солнца, когда в воздухе было еще очень зябко от предутреннего холода, а ноги мокли в холодной росе. Каждый занимался своим делом. Одни развязывали снопы и раскидывали их на токах, другие запрягали в волокуши лошадей, успевших за короткую летнюю ночь отдохнуть, набраться сил, и гоняли их по кругу. Часть людей, вооружившись широкими деревянными лопатами, перекидывали зерно, иные провеивали мякину.

Утром в разгар работы на ток явился староста. Лицо его было угрюмым, злым, чувствовалось, что он чем-то расстроен и явно не в духе. Остановившись на краю тока, у двухъярусного шалаша, в тени которого обычно отдыхали батраки во время короткого перерыва, Гомуил хмуро и рассеянно смотрел, как лошади с лоснящимися от пота боками, поминутно фыркая и мотая головами, кружились на току, с шуршаньем волоча за собой по сухим помятым колосьям волокуши. На другом току, гладком и чистом, как пол в комнате у аккуратной хозяйки, стояли, словно желтые холмы, тяжелые бунты очищенной пшеницы, а за токами вздымались к небу, будто горные утесы, огромные скирды.

Люди усердно работали, несмотря на усиливающуюся жару. Но старосту, казалось, ничто не радовало сегодня: ни усердный труд батраков, ни громадные бунты

золотистой пшеницы, ни горой вздымавшиеся скирды. Казалось, он словно искал случая на ком-нибудь сорвать зло. И такой случай подвернулся. Маленький батрак Сосун, зажав в зубах папироску, длинным жестким венчиком подметал плотно утрамбованную землю вокруг пшеничного вороха.

— Эй ты, поди сюда! — сердито крикнул Гомуил, поманив его пальцем.

Мальчик, швырнув веник, прибежал на зов старосты и из почтительности к нему стыдливо спрятал папироску, которая предательски продолжала дымить в зажатой ладони.

— Это что у тебя в руке? — побагровел староста, окинув злым взглядом худую фигурку маленького батрака, облепленного соломой.

Не дожидаясь ответа, Гомуил несколько раз в сердцах хлестнул по лицу ошеломленного и перепуганного Сосуна. Из его разбитого носа хлынула кровь. Бросив папиросу и инстинктивно прикрыв запыленными руками окровавленное лицо, он упал на землю. Вид крови, казалось, еще больше взбесил и разъярил старосту, и он принялся пинать мальчика ногой, не обращая внимания на его отчаянные вопли.

— Ты что, поджечь меня хочешь, гаденыш, разорить?! Вот тебе, вот, вот!.. — иступленно кричал разбушевавшийся староста.

Услышав крик мальчика, несколько батраков, бросив работу, прибежали к месту происшествия. Откуда-то появился и Рахмон, хотя его маленькое гумно было расположено на противоположной стороне села. Он без колебания кинулся к старосте и с силой толкнул его кулаком в грудь, едва не сбив с ног.

— Не смей бить мальчика! — закричал Рахмон на Гомуила, дрожа от гнева.

Гомуил, оставив плачущего Сосуна, с изумлением посмотрел на Рахмона.

— А тебе какое дело, мерзавец?! — вскипел Гомуил, взбешенный дерзким поступком Рахмона.

Тотчас же со всех сторон на старосту посыпались упреки и недвусмысленные угрозы батраков:

— Если мальчишка сирота, его, по-твоему, можно обижать, бить, калечить?!

— С жиру бесится, вот и дерется!..

— Ничего, найдется и на него управа!

Гомуил на минуту опешил, растерялся; вертя головой, он с недоумением оглядывал присутствующих. Староста словно не верил своим глазам и ушам: еще не было случая, чтобы батраки позволяли себе так дерзко и вызывающе разговаривать с ним, а тем более поднять на него руку, угрожать ему. И Гомуил не нашел сразу, что им сказать.

— Бу-у-унт?! — вдруг еще больше багровея и задыхаясь от злости, истошно закричал он. — Бунт?! Вы все, все за это поплатитесь!

Но увидев подходившего Шоула, он резко повернулся к нему и, негодуя, обрушился на сына с упреками.

— Это ты во всем виноват! Ты!.. Никогда бы эти люди не дошли до такой наглости так разговаривать со мной, если б не твои безбожные, подстрекательские речи!..

Шоул, не слушая отца и не обращая внимания на его раздражение, подошел к плачущему мальчику, который все еще лежал на земле, вздрагивая всем телом. Он поднял Сосуна, вытер платком его испачканное кровью лицо и, сказав ему несколько утешительных слов, отослал назад на гумно. В угрюмом и суровом молчании разошлись и батраки, приступив вновь к работе. А Гомуил все еще продолжал кипеть и негодовать на сына.

— Не кричи, отец! — строгим голосом произнес Шоул, бросив на Гомуила суровый взгляд. — Если ты хочешь что-нибудь мне сказать, говори спокойно.

Непочтительный, грубый тон сына смутил и оскорбил отца. Но сейчас его больше всего злило и возмущало другое — то, что сын по вечерам рассказывал односельчанам.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты вчера вечером болтал здесь этим голодранцам? — кивнув в сторону работающих на току батраков, негодующим голосом произнес Гомуил. — Мне все известно, все..

Трясущимися руками Гомуил вынул из кармана кальян, набил табаком и сделал несколько глубоких затяжек. Затем, отойдя к шалашу, он устало опустился на ворох измятой соломы. Легкий ветерок зашуршал сухими листьями срубленных веток над головой старосты. Сопя и попыхивая кальяном, староста не спускал недобвольного, осуждающего взгляда с сына.

— Подумать только,— сокрушенно заговорил староста, словно рассуждая сам с собой,— человек казенный, учится в гимназии с сыновьями благородных отцов, сын старосты, а якшается с этими голштанниками, будь они трижды прокляты. И чего он нашел хорошего в этих недостойных людях — ума не приложу! Разве для этого его учил, тратил уйму денег? — Гомуил, шумно вздыхая, печально покачал головой, потом, зло и испытующе взглянув на сына, строго спросил: — Ты мне скажи, кто этот смутьян и злодей, о котором ты вчера упоминал здесь, этот самый... Социализм, не к добру будь помянуто его окаянное имя! Кто он? Русский? Мусульманин? Еврей?..

— А на что это тебе? — невольно усмехнулся сын, заложив руки за спину и со скучающим видом поглядывая в сторону.

— Не твое дело! — снова вспыхнул Гомуил. — Раз отец спрашивает — отвечай! Кто этот проходимец. Ты знаешь его?!

— Допустим, а что? — уклончиво ответил юноша, будто нарочно дразня отца.

Староста стиснул зубами чубук от кальяна, укоризненно покачал головой.

— Вай, вай, горе мне из-за тебя, — продолжал сокрушаться он, покачиваясь, как от нестерпимой боли внутри. — И ты, сын старосты, вместо того, чтобы сообщить о нем полиции, избавить царя и народ от этого преступника, повторяешь его бредни, да еще перед кем? Перед своими же работниками! В своем ли ты уме, сын?! — чуть не плача от отчаяния и обиды, воскликнул отец.

Но услышав от Шоула, что опасный государственный преступник по имени Социализм, который в глазах старосты выглядел во сто крат худшим злодеем, чем сам Кирххарам баша<sup>1</sup>, арестован, не то заточен в тюрьму, не то сослан в Сибирь, он несколько успокоился.

— Ага! Повесили ему замок на язык! — с мстительным злорадством воскликнул он. — Теперь ему не удастся распространяться о том, что все богачи, дескать, такие-сякие, насильники и живодеры, а бедняки — ангелы

---

<sup>1</sup> Кирххарам баша — персонаж татской народной сказки «Двоюродный брат и двоюродная сестра», главарь разбойников.

и мученики, поэтому, мол, надо отобрать добро у богатых и раздать бедным.

Понемногу обычное бодрое настроение вернулось к старосте, и он даже совсем повеселел, когда к нему подбежал радостный, возбужденный его младший десятилетний сынишка Эсеф и кинулся ему на шею, едва не свалив отца.

Гомуил обнял мальчика, погладил по головке, прижал к груди.

— Тебя, сынок, я не отдам ни в какие гимназии, будь они неладны,— как бы в укор старшему сыну, произнес Гомуил.— Лучше куплю тебе быстрого иноходца и хорошую плеть. Будешь разъезжать на коне и охранять отцовские владения. От учения одна лишь путаница и вздор в голове.

Мальчик вдруг вырвался из объятий отца, забежал ему за спину и с разбега вскочил верхом на Гомуила. Вообразив себя на лихом скакуне, он, ногами прищпорив «оседланного коня», победно гикнул:

— Гей!.. Поехали!..

У Гомуила от неожиданного резкого толчка выпал изо рта кальян, но он не рассердился на проказы малыша, а схватив его маленькую руку, с чувством поцеловал её.

День медленно угасал. Хотя край неба, за которым спряталось солнце, еще горел пурпуром, но на высоком синем небе отчетливо обозначился бледный серп полумесяца. Постепенно замирали дневные звуки. Становилось тише и прохладнее. Из ближних лесов, расположенных неподалеку от села, слышались привычные для слуха нюгдинцев тоскливые вечерние завывания шакалов. Как всегда, в ответ со всех концов селения недовольно залаяли собаки.

Уставшие после напряженного дня под палящим солнцем, нюгдинцы, как обычно в такое время, группами и в одиночку начали сходиться к токам старосты. Они расположились у одного из стогов-«пирамид», как утомленные путники у подножья горы. Набив кальяны табаком и свернув сигарки, сельчане, мирно беседуя меж собой, наслаждались коротким вечерним отдыхом.

Среди собравшихся на току сегодня не было Рахмона. Его отсутствие больше всех чувствовал Сосун. У мальчика ни со стороны отца, ни со стороны матери

совсем теплые внутренности животного. Рахмон с напряженным вниманием следил за каждым движением раби. Наконец, Шафад поднялся, рассеянно глядя на свои запачканные кровью руки, мрачно произнес:

— Харам!<sup>1</sup>

Роковое слово, произнесенное раби, точно удар дубины, ошеломило Рахмона. В груди будто что-то оборвалось, ноги подкосились, стало трудно дышать.

— Раби! — придя в себя, взмолился Рахмон. — Какой харам?! Смотри лучше, корова здоровая, тучная. Не губи меня и мою семью, заклинаю тебя богом и памятью твоего отца!..

— Как бы ты ни просил, сын мой, — угрюмо произнес раби, неторопливо вкладывая нож в кожаный футляр, — я ничего не могу сделать, не могу разрешить единоверцам есть такое мясо. — И, помолчав, добавил: — У неё в легких порча...

С этими словами, раби удалился. Весь остаток дня Рахмон метался по селу в поисках телеги и лошадей, чтобы отвезти мясо на вокзал и продать там русским железнодорожникам или распродать его в соседнем лезгинском селении. Но все лошади были заняты на токах и на полях. К вечеру, когда ему удалось найти подводу и лошадей, было уже поздно: от жары мясо стало портиться, вонять, густо покрываться белыми червями...

— Идите вы к черту, проклятые! — вдруг сердито крикнул Рахмон, обернувшись назад.

Мальчик с удивлением посмотрел на соседа, а потом перевел недоуменный взгляд в ту сторону, куда крикнул Рахмон. Сосун только сейчас увидел, как шагах в десяти от тока целая стая голодных псов, сердито рыча друг на друга, рвет желтовато-белую коровью тушу.

— Не могу спокойно смотреть, будто они моё тело терзают, — страдающим голосом произнес Рахмон, — и в доме все, как в трауре, плачут, точно по покойнику.

Сосун не знал, как успокоить, подбодрить этого горем сломленного человека. Поэтому молчал, подавленный несчастьем старшего друга и заступника. На небе

---

<sup>1</sup> Согласно своей религии, таты могли есть мясо животного, зарезанного только человеком, обладающим духовным званием, и разрешенное им к употреблению. Словом «харам» накладывался запрет на мясо.

продолжал тускло светить холодный, кривой, как сабля палача, нависшая над миром, острый полумесяц. Равнодушно глядели на землю далекие мерцающие звезды, которым нет никакого дела до людского горя, до людских забот и тревог. Молчало, безмолствовало всё вокруг...

## ТАЙНА РЕКИ ГРИГОРИНЧАЯ

Щедра и благодатна земля нюгдинская, красивы и живописны густые леса и изумрудные поляны, раскинувшиеся вокруг Нюгди. Кушая нюгдинскую дыню, мало кто задавался «праздным» вопросом: почему здешняя дыня источает такой аромат, будто ты в руке держишь не дыню, а букет благоухающих роз, и такая она сладкая, словно ее вырастили на почве, сдобренной мёдом? А есть ли где во всем Дагестане вкуснее и прозрачнее виноград, красивее и сочнее персики, зернистее пшеница, чем в Нюгди?! Видимо, недаром нюгдинцы в своих песнях сравнивают дыню с грудью возлюбленной, сочную виноградную ягоду — с оком красавицы, а про свою пшеницу говорят поэтическим иносказанием: «Пшеничный хлеб — стальной желудок».

Своей живописной красотой и плодородием нюгдинская земля обязана прежде всего быстроводной реке Григоринчай, берущей своё начало с горных вершин с нетающими снегами. Вода в ней не совсем прозрачная, немного илистая, но мягкая, как шелк, и приятная на вкус.

Как сердце человека, которое не перестает работать и тогда, когда он спит, чтобы питать его клетки кровью, так и река Григоринчай, неугомонная и шумная, течет день и ночь, летом и зимой, посылая живительную влагу полям и садам. Если бы не было рядом реки Григоринчай, не было бы и жизни вокруг неё, наверняка, не было бы и самого селения. Поэтому нюгдинцы смотрели на нее, как на свою кормилицу и защитницу. Может, поэтому нередко влюбленная девушка, которая не в силах противостоять упрямой воле самовластных родителей, запрещавших ей выйти замуж за избранника своего сердца, бежала не куда-нибудь, а к реке, чтобы найти в ней вечное успокоение, как испуганное дитя в объятиях

родной матери. Выбрав обрыв покруче или забравшись на высокое дерево, повисшее над Григоринчаем, она, проклиная судьбу, в предсмертном крике в последний раз произнося имя возлюбленного, бросалась вниз головой в быструю реку с дном, усеянным тяжелыми, как пудовые гири, черными булыжниками. Случалось не раз, что следом за девушкой, устремляясь на её зов, бежал к реке и юноша с разбитым сердцем, чтобы скорее разделить участь любимой, для которого вечная разлука с ней казалась во сто крат горше самой смерти. Наверно, поэтому с Григоринчаем у нюгдинцев было связано много самых разнообразных историй и преданий.

Река не только несла живительную влагу нюгдинским полям, принимала в свои материнские объятия отчаявшихся влюбленных, даря им вечный покой. Она, кроме того, кормила нюгдинцев рыбой, которая водилась в ней в изобилии. И нередко на ее берегах можно было видеть пылающие в ночи костры рыбаков.

... Летним вечером сидели на берегу реки Григоринчая у ярко горящего костра дедушка Шелбет и маленький батрак Сосун. Было темно и тихо вокруг. Только шум говорливой реки, блестящей при лунном свете, нарушал эту тишину. Языки пламени освещали склоненные у огня фигуры рыбаков, отбрасывая на их задумчивые лица красноватые отсветы, закатным багрянцем заливали обкатанные, густо рассыпанные на берегу тяжелые булыжники, застывшие в строгом молчании дерева. На бескрайнем синем небе светящимися алмазами горели далекие звезды. От реки тянуло успокаивающей прохладой. Временами налетал ветерок, и тогда багровая стена леса начинала слабо колыхаться, как парчовый занавес, а трепетные листья на ветках шелестели, будто о чём-то перешептываясь друг с другом.

Обычно старик Шелбет с ранней весны и до поздней осени работал на чужих полях, а вечером ловил рыбу в реке Григоринчае. Жил Шелбет одиноко. Детей у него не было, а старуха умерла несколько лет тому назад от укуса змеи. Не было у Шелбета ни земли, ни хозяйства. И дом старика, ветхий, покосившийся от времени, сиротливо стоял на отшибе, словно стыдясь своего убожества.

Шелбет слыл среди односельчан хорошим рыбаком и опытным пловцом. Никто лучше его не знал, где нуж-



но ставить сеть, чтобы наловить побольше рыбы. Часть добычи он продавал по дешевке односельчанам, а другую — солил на зиму.

Придя вечером на реку, старик всегда брал кого-нибудь из сельчан и по-братски делил с ним весь улов. И чтобы при этом земляк не чувствовал себя неловко, он говорил ему:

— Тяжело мне одному с неводом управляться, годы не те, спасибо, что пришёл...

Сегодня Шелбет пригласил на рыбалку Сосуна.

— Наверно, ты забыл вкус свежей рыбы,— с сочувствием сказал старик мальчику, предлагая ему пойти с ним рыбачить.

Сосун, по-домашнему усевшись у костра и подобрав под себя босые ноги, с весело блестящими черными глазами и задумчивой улыбкой на раскрасневшемся лице смотрел на огонь. Время от времени он отрывал взгляд от огня, с зачарованным видом оглядывался вокруг. Что-то волшебное и таинственное чудилось ему в звездном небе, в неясном говоре реки, текущей, как расплавленное серебро, в своих живописных берегах, в молчании стоящего рядом леса, наполненного неясными шорохами,— во всем, что окружало его сейчас. В душе мальчик радовался, что в такую пору, когда его сверстники спят дома, он сидит здесь, рядом с бывалым человеком, прославленным рыбаком дедушкой Шелбетом, как взрослый мужчина, а рано утром появится в селе нагруженный добычей. Мальчишки узнают об этом и будут с завистью и уважением смотреть на него. Все это поднимало Сосуна в собственных глазах, наполняло гордостью.

— О, если б ты знал, дядя Шелбет, о чем говорил нам сын старосты вчера вечером на току!.. Ой, как было смешно и интересно! — тихо засмеялся Сосун.

Шелбет, ссутулившись, сидел молча с дымящим кальяном во рту.

— О чём?.. — посмотрев на Сосуна, спросил Шелбет, улыбаясь ему одними глазами. — А ну, расскажи.

— Он говорил о луне и о звездах,— откинув голову назад, Сосун с любопытством посмотрел на звезды, буд-то желая удостовериться, на месте ли они и такие ли, какими он их знает. Затем, глядя на старика и загадочно улыбаясь, добавил: — А еще он нам вчера говорил об обезьяне...

Хотя старик тоже был вчера на току и слышал то, что говорил гимназист, но сделал вид, будто он ничего не знает и ничего не слышал.

— Ну-ну, что же говорил Шоул?

— Он говорил, будто звезды — это вовсе не звезды, и луна вовсе не луна, а... вроде как наша земля, а человек... хи-хи... произошел от обезьяны...

Мальчик, сдерживая улыбку, испытующе посмотрел озорно блестящими глазами в сухое, морщинистое лицо старика, желая угадать, какое впечатление произвело на него это сообщение.

Шелбет вынул изо рта трубку и стал выбивать из нее пепел, слегка постукивая о загнутый кверху носок своего чарыка. Затем вытащил из костра догоравшую сырую головню, которая шипела и сильно дымила, будто мешала ему сейчас думать, сосредоточиться, выбросил её в сторону реки. Огненная дуга очертила воздух, и головня, упав на булыжники, рассыпалась на тысячи горящих светлячков.

— Шоул умный, учёный, а главное — любит нас, бедных, — заговорил старик тихо, глядя на разругавшееся лицо мальчика. — Много хорошего узнал он у русских, разным наукам обучился у них. Ведь это они же, русские, проложили железную дорогу, пустили по ней паровоз и вагоны. Но с неумными людьми тоже, видно, встречался, немало глупостей от них наслышался. Посуди сам: разве могут эти махонькие звезды быть такими, как наша Земля, которой нет ни конца, ни края и на которой разместилось бессчётное количество стран и царств? Да они ни одного мига не удержались бы там, на небе, эти звезды, давно попадали бы на землю и раздавили бы всех нас в лепешку. Я видел обезьяну — обыкновенный зверь. И никогда не поверю, чтобы она могла породить человека, вроде меня или тебя. Не думаю, чтобы и сам Шоул, такой учёный, умный человек, верил этому, — стараясь не уронить авторитет Шоула в глазах мальчика, заключил дедушка Шелбет.

Старик умолк, чуть отодвинулся от костра и, сняв с головы мохнатую папаху, вытер ею пот с лица и обратно водрузил ее на место.

— Да, чуть не забыл тебе сказать, дядя Шелбет, — словно спохватившись, весело заговорил Сосун, — раби Шафад так обозлился на гимназиста за его слова, так

обозлился, что стал кричать на него, потрясая бородой: «Скажи, говорит, богохул, сукин сын, ты произошел от обезьяны со стороны отца или со стороны матери?» Шоула, ты знаешь, все уважают, а после слов раби люди громко засмеялись. Мне самому тоже было неудобно за Шоула.

— А что ему ответил Шоул? — спросил Шелбет, пряча хитрую улыбку в седые усы.

— Что ответил? А Шоул сказал так: «Лучше, говорит, быть обезьяной, ползать на четвереньках, чем, говорит, быть обманщиком...»

Заметив улыбку на лице Шелбета, мальчик, решив, что старик сомневается в правдивости того, что он сказал, горячо воскликнул:

— Клянусь богом, я не вру, он так и сказал.

Шелбет кивнул головой, давая понять, что он верит ему.

— Что же было потом?

— Потом все смеялись над раби Шафадом, когда Шоул сказал ему, что, мол, обезьяна—существо безобидное, живет и никого не обманывает, а ты, говорит он раби, обманщик, да еще за свой обман с каждого берешь пожертвование, даже не смотришь, сыт этот человек или голоден, вдова или сирота. Скажи, говорит, после этого, кто из вас лучше: ты или обезьяна?

Хотя Шелбет сам был свидетелем словесной перепалки, разыгравшейся на току между гимназистом и священнослужителем, но после рассказа мальчика он вновь представил себе эту сцену, смеялся от души над публично посрамленным раби Шафадом, которого старик недолюбливал из-за его дружбы со старостой.

А Сосун, глядя на старика и довольный тем, что его рассказ заинтересовал и развеселил его, заговорил вновь:

— Знаешь, дядя Шелбет, я одного не могу понять: как это раби Шафад осмелился при всем джамаате оскорбить отца Шоула — Гомуила. Ведь тот не кто-нибудь, а староста. Кроме того, раби и староста — друзья.

Сосун с удивлением заметил, как после его вопроса улыбка исчезла с лица старика и тень скорби легла на нем, резче обозначились морщины.

— Гомуил не отец Шоулу,— после продолжительного молчания, тихо, с печалью в голосе, произнес Шелбет.

Широкие брови Сосуна удивленно взметнулись вверх.

— А разве он биж<sup>1</sup>?

— Нет, нет,— поспешил ответить старик, как бы защищая Шоула от оскорбления. Затем, оглядываясь вокруг, словно опасаясь, что их могут подслушать, со скрытым волнением в голосе проговорил: — Гомуил убил отца Шоула, когда тот был еще в утробе матери. А труп Юсуфа — отца Шоула — я нашел вот здесь, в реке, на этом самом месте. — Старик указал взглядом в сторону реки, которая, извиваясь гигантской змеей с блестящей чешуей, с глухим рокотом текла рядом.

Радостно-веселое настроение, которое было у мальчика с самого начала вечера, внезапно упало, будто померкло. И все вокруг показалось ему не таким уже красивым и привлекательным, как еще минуту назад. В багровом отблеске костра, падавшем на деревья, на рассыпанные по берегу камни, почудился ему какой-то кровавый туман, а в гуле реки — вопли убитого. Ему стало как-то неуютно и даже жутко от того, что придется влезть в воду, откуда извлекали мертвого Юсуфа.

Шелбет достал кيسет с табаком, скрюченными пальцами медленно набил кальян. Потом, выхватив из костра раскаленный уголек и подбрасывая его в ладони, осторожно, чтоб не упал, положил на трубку и большим пальцем чуть придавил его сверху. Сделав несколько глубоких затяжек, Шелбет рассеянно посмотрел на притихшего мальчика, затем снова промолвил:

— И вот как это было,— глубоко вздыхая, начал Шелбет свой рассказ.— Жил у нас в селе старый мельник по имени Худодот. До того он был стар, что годы согнули дугой его спину, а седые брови закрывали подслеповатые глаза. И был у Худодота единственный сын, такой славный, который стоит десяти иных сыновей. Звали его Юсуфом. Он был красив собой и характер имел добрый, веселый. И никто на наших свадьбах так лихо не отплясывал лезгинку, как Юсуф. Бывало, музыканты уже устанут дуть в зурну, а у демкеша<sup>2</sup>, казалось, вот-вот лопнут, надутые, как меха, потные щеки, барабанщик собьется с ритма, а Юсуф все продолжал кружиться, как вихрь, вызывая восхищение всех.

---

<sup>1</sup> Биж — незаконнорожденный.

<sup>2</sup> Демкеш — второй зурнач.

Старик умолк, придерживая слегка дрожащей рукой дымящийся кальян во рту, задумчиво опустил покрасневшие от огня глаза, но через минуту заговорил вновь, продолжая рассказ.

— А самой красивой девушкой в Ньюди была тогда Гюзюргул, дочь старой вдовы Мозол. Много парней сваталось к ней. Набивался в женихи и Гомуил. А он уже двенадцать лет, как был женат. Первую жену он взял из Дербента, из богатой семьи. Но она оказалась бесплодной. Гомуил несколько раз посылал сватов с богатыми подарками к Гюзюргул, но та отвергла его. Она полюбила сына мельника — Юсуфа, и вскоре они поженились.

Гомуил никак не мог простить Гюзюргул то, что та предпочла ему, богачу, сына какого-то бедного мельника, а Юсуфу — то, что тот стал мужем красивой женщины, которую он в мыслях считал своей. И Гомуил задумал черное дело — убить Юсуфа и Гюзюргул. Для этого злодейства он избрал самый светлый для жениха и невесты день — день их свадьбы. В тот вечер, когда свадебная процессия направлялась от дома невесты к дому жениха, Гомуил укрылся на крыше, под стогом сена, держа наготове заряженное ружье. Но что-то помешало ему в тот вечер осуществить свой подлый замысел.

После свадьбы Гомуил как будто смирился с замужеством Гюзюргул. Он даже сумел завоевать доверие и расположение ее мужа, подружился с ним. Гомуил часто бывал у Юсуфа в гостях, хвалил его на людях. И никому в голову не пришло бы, что этот человек мог стать убийцей своего друга.

Шелбет опять умолк, нахмутив брови. Взяв несколько сухих сучьев, он подбросил их в костер, и когда они с треском разгорелись, а оранжевые языки пламени ярко осветили лица собеседников, он заговорил со сдержанным волнением в голосе.

— Как-то под вечер сижу я один на этом самом месте у костра. Кругом — тишина. Только слышно, как гудит река и перекликаются соловьи в чаще деревьев. Постепенно меня стало клонить ко сну, и я вздремнул. Но вдруг слышу сквозь сон кто-то меня тревожным голосом окликает: «Шелбет-халу, Шелбет-халу<sup>1</sup>». Открываю глаза, вижу: передо мной стоит лезгин Гасан. Он одно

---

<sup>1</sup> Х а л у — дядя; почтительное обращение у лезгин к старшему.

время жил в нашем селении, сторожил наши виноградники, а в субботние дни разжигал огонь в очагах и получал за это от наших односельчан хлеб, сыр, тем и кормился. И вот этот Гасан стоит передо мной бледный, взволнованный и слова не может вымолвить.

— Да минует тебя беда, что случилось, Гасан? — спросил я его. — На тебе лица нет.

— Убили, Шелбет-халу, убили... Вот на моих глазах только что убили!..

Как услышал я это, сон мой будто ветром сдуло. И я как ужаленный вскочил на ноги, спросил:

— Скажи, кого убили, кто?..

Прежде чем ответить мне, он, подавленный, медленно спустился на землю, горестно покачал головой.

— Недалеко отсюда, с полверсты... — наконец промолвил он. — Я косил траву на полянке, вдруг слышу — выстрел и чей-то крик. Такой ужасный крик, и сейчас он в ушах у меня стоит. Как я не оглох, не знаю. Коса выпала у меня из рук. Выбегаю на опушку леса, смотрю: Гомуил и Илогу с ружьями за спиной и кинжалами на поясе поднимают с земли тело убитого ими Юсуфа. Я скорее спрятался за деревья. Убийцы перекинули труп через седло, сели на лошадей и поскакали вверх по течению. А за полчаса до этого я видел, как Юсуф шел с лопатой на плече к реке, чтобы заделать плотину, отвести больше воды для мельницы.

Мы долго сидели вместе и думали, не зная что делать, что предпринять. Но потом решили никому об этом не говорить.

— Почему?! — почти крикнул мальчик.

— Свидетелей-то, кроме Гасана, никого не было, — проговорил Шелбет. — А Гомуилу, у которого много друзей среди больших начальников в округе, ничего не стоило бы свалить всю вину на бедного Гасана... Да, так просидели мы с Гасаном до позднего вечера, вспоминали покойного и ругали на чем свет стоит Гомуила. А когда Гасан ушел, я разделся и полез в воду. Только приблизился к неводу, смотрю, что-то большое и тяжелое коснулось моих колен. Сначала я думал, что это теленок, которого унес поток. Ощупываю — человек. Дрожь прошла по моему телу. Еле живой от страха выволок я утопленника на берег, уложил у костра, смотрю — это Юсуф.

Много лет, сынок, прошло с тех пор, но я и сейчас отчетливо вижу его перед собой. Он лежал вот здесь, у шалаша, который я тогда себе строил. Глаза его были открыты, как у живого. Они смотрели на меня в упор. Казалось, покойник что-то силился сказать мне, но не мог. Я снял с него пояс с кинжалом, спрятал его в шалаше под соломой, а затем побегал в село сообщить отцу и жене Юсуфа о нем. Но о том, что рассказал мне лезгин Гасан, я, конечно, умолчал. А спустя два месяца Гомуил уговорами и угрозой заставил Гюзюргул венчаться с ним. Через пять месяцев после этого брака родился первый и последний сын покойного Юсуфа — Шоул.

Шелбет тяжело вздохнул, прервав свой рассказ. Раскрыв коричневый объемистый кисет, он опять набил кальян, рассыпая мелко нарезанный табак между непослушными дрожащими пальцами.

— А Шоул не знает, что Гомуил убил его отца? — спросил мальчик, взволнованный и потрясенный рассказом старика.

— Знает, — устало кивнув головой, едва слышно произнес Шелбет. — Раньше не знал, теперь знает. В прошлом году, когда он приезжал, как всегда, на лето домой, я встретился с Гасаном и мы с ним договорились обо всем рассказать Шоулу. Было бы тяжким грехом скрывать от сына тайну гибели его отца.

И старик подробно рассказал, как они это сделали.

Шелбет, как и многие батраки в Нюгди, почти каждый год в разгар лета работал на токах Гомуила. Однажды вечером, когда Шоул шел домой, его догнал старик Шелбет. Поравнявшись с ним, он шел некоторое время молча и затем сказал ему:

— Шоул, зайдем ко мне, я тебе расскажу об одном очень важном для тебя деле.

Юноша сначала не придавал никакого значения ни словам старика, ни тому, с каким волнением они были произнесены. Но все же пошел с ним. Когда они вошли в убогую избушку Шелбета, освещенную чадающей копилкой, там их уже ждал худощавый, но крепкий на вид пожилой человек с седеющими длинными усами на бритом лице. То был лезгин Гасан. Он сразу встал, крепко, по-дружески пожал руку юноши, расспросил о здоровье, об учебе.

Шелбет усадил гостей рядом, а сам нетвердой старческой походкой подошел к деревянному сундуку, стоявшему у голой закопченной стены. Старик поднял крышку сундука, вынул оттуда пояс и длинный кинжал и молча положил их перед гимназистом.

— Что все это значит, дядя Шелбет? — с недоумением спросил Шоул, сдержанно улыбаясь и показывая сощуренными, чуть близорукими глазами на кинжал с поясом. — Не собираешься ли ты подарить их мне, как гостю?

— Я ничего не собираюсь тебе дарить, — сурово проговорил старик, опустившись на пол перед юношей. — Они и так принадлежат тебе.

— Мне?! — невольно засмеялся Шоул, пожав плечами, приняв слова старика за добрую шутку.

— Да, сынок, Шелбет-халу прав, — заговорил молчавший до сих пор лезгин Гасан. — Этот кинжал и пояс твоего покойного отца Юсуфа. Покажи их матери, и она сразу признает их.

Полудетское, добродушно-веселое лицо гимназиста с едва обозначившимся темно-каштановым пушком на губе стало печальным и задумчивым. Он осторожно и бережно взял пояс с кинжалом и принялся внимательно разглядывать их, словно силясь по ним представить себе родные, но незнакомые черты отца, ушедшего из жизни раньше, чем его сын успел появиться на свет. Первый раз в жизни он держал в руках вещи, принадлежавшие отцу. И это вызвало в нем такое сладостно-мучительное ощущение, будто он почувствовал сейчас прикосновение живого, бесконечно дорогого и родного ему человека, которого потерял и вновь нашел. Какая-то горячая волна поднялась из бездны сердца и захлестнула его всего. Ему захотелось прижать отцовский кинжал к груди, но он сдержал себя. Шоул лишь тяжело вздохнул и с волнением в голосе спросил Шелбета и Гасана:

— А как они попали к вам?

Сначала Гасан, а затем Шелбет поведали юноше все, о чем уже известно читателю.

Пока старики рассказывали, лицо Шоула, искаженное болью, то бледнело, то вспыхивало краской гнева. Перед мысленным взором юноши неотступно маячила зловещая фигура Гомуила — вероломного и жестокого убийцы, возникал отец, лежавший на берегу реки с про-



стреленной грудью и открытыми неподвижными глазами. Шоул тяжело дышал и, покачиваясь, стискивал зубы, словно корчась от нестерпимой боли, а взгляд выражал ярость и бесконечную муку. Судорожно сжав рукоятку кинжала, он вдруг резким движением выхватил его наполовину из ножен. Болезненным воображением юноши тот час же представилось, как он, мстя за кровь отца, наносит один удар за другим ненавистному отчиму. Из глаз его капнули скупые, злые слезы и упали на холодную сталь. Старики молча взирали на юношу, всем своим видом показывая ему своё сочувствие, разделяя его печаль и горе. Наконец, тем же резким движением он с глухим стуком загнал обратно кинжал в ножны и вернул его Шелбету и Гасану.

— Пусть пока он будет у вас, — с влажными от слез глазами, дрожащим голосом, произнес он. — И прошу вас, чтобы эта тайна осталась между нами. Ни прямо, ни намеком, ни единым словом не говорите об этом моей матери. Придет время, я сам всё ей расскажу.

Старики поклялись честно исполнить просьбу юноши. После этого Шоул встал и, будто двигаясь ощупью в потёмках, медленно вышел из дому.

... Закончив рассказ, Шелбет устало опустил голову, молча, невидящими глазами долго глядя на костер, который уже слегка подернулся пеплом. Потом, словно очнувшись от забытья, он посмотрел на своего маленького собеседника, на лице которого было написано удивление и испуг, и через силу заставил себя улыбнуться.

— Ну, теперь вставай. Пора уже проверять невод, — мягко приказал старик.

Раздевшись, они вошли в бурный поток холодной воды. Держа друг друга за руки, чтобы течение не сбilo их с ног, рыбаки подошли к неводу. Отцепив его от березовых кольев, забитых в реке, они с трудом вытащили полный невод и вытряхнули содержимое на берег.

Скользкие кутумы, шлепая гибкими хвостами, отскакивали к воде. В свете догорающего костра, чешуя на них блестела серебром. Сосун бегал по берегу, хватая то одну, то другую рыбу, глушил их булыжником. Потом, собрав всю добычу и разложив ее в ряд, принялся считать.

— Ой, как много! — с детской радостью на лице громко воскликнул мальчик, все еще тяжело дыша после

«отчаянной схватки» с рыбами.— Пятнадцать кутумов и две лососины!

Шелбет, тощий и весь мокрый, с трубкой во рту воился у горящего костра, подкидывая в него сухие сучья, и с улыбкой наблюдал за своим помощником. С его седой бороды светло-розовыми каплями все еще стекала вода и с шипением падала в огонь.

— Вот и не пожалеешь, что пришел со мной. Половина рыбы— твоя,— с княжеской щедростью распорядился Шелбет, выпрямляясь. — А теперь давай немного вздремнем. Завтра с утра нас ждут «пирамиды фаона».

Сосун с довольной улыбкой на сияющем лице улегся возле костра на груду полувysохших веток, покрытых сверху пахучим сеном. Утомленный нелегкой работой на токах Гомуила, согретый благодатным теплом, исходящим от костра, и убаюканный монотонным гулом реки, он сразу уснул, по-детски подложив ладонь под щеку. Но старый Шелбет долго еще не спал, взволнованный воспоминаниями. Он сидел, сгорбившись, дымя кальяном, и задумчиво ковырял палочкой в горячем пепле, машинально перебирая в нем красные угольки. Было далеко за полночь, когда Шелбет, одолеваемый дремой, улегся тоже спать.

Но вскоре перед рассветом чуткий сон старика был нарушен громким цокотом лошадиных копыт: какие-то люди неподалеку скакали верхом. Ударяясь о булыжники, железные подковы лошадей высекали искры. Не прошло и пяти минут, как двое вооруженных всадников осадил разгоряченных коней у тлеющего костра, где расположились рыбаки. То были староста и его чауш Илогу.

Не поздоровавшись с Шелбетом, Гомуил, злой и мрачный, спросил старика: не показывался ли Рахмон сегодня ночью в этих местах?

— Нет! Да будет к добру ваш приход, а что случилось? — предчувствуя беду, с тревогой спросил старик Шелбет.

— Этот собачий сын,— потрясая поднятым над головой кулаком, сердитым голосом ответил за Гомуила Илогу,— нынче ночью поджег две скирды старосты и сбежал, как трусливый заяц. Всех в селении переполошил, негодяй!

— Я все равно найду его! — злобно сверкнув глазами, крикнул Гомуил, размахивая плетью и с трудом придерживая лошадь. — Из-под земли найду, повешу, в Сибири сгною, попомнит меня!..

Гомуил в сердцах стегнул лошадь и поскакал дальше, сопровождаемый чаушем. Брызги искр разлетелись из-под копыт. Их стук о прибрежные камни гулко раздавался в напряженной тишине. Вскоре всадники скрылись за лесом, растворились во мгле

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### МЕЧТЫ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Единственный родник в Нюгди находился на южной окраине села, в неглубокой тихой ложине. Здесь из-под высокого черного земляного обрыва, заросшего сверху зелеными кудрявыми деревьями и кустами, с веселым журчаньем, словно радуясь, что вырвалась на волю, струилась прозрачная, как хрусталь, студеная вода, образуя маленький зеркальный бассейн. Роднику столько лет, сколько селению. Нюгдинцы приписывают открытие родника легендарному основателю их селения Довиду — визирю табасаранского хана. Поэтому они и называют его «Билогъ Довиди» — родник Довида. Но когда жил этот Довид, в каком веке он основал это селение, точно никто не знает. Зато предание о человеке, открывшем этот родник, о его подвиге и трагедии было известно каждому нюгдинцу. Родник Довида для них был не просто источником, откуда они брали воду для питья, а священным местом.

Вода в роднике отчетливо отражала бездонную синеву неба, кудрявые деревья, росшие над обрывом. Нередко девушка, прежде чем наполнить свой кувшин, склонялась над водой и долго разглядывала себя в ней, как в зеркале, которое было редкостью в домах нюгдинцев. Девушки поверяли этому природному зеркалу свои загаженные думы и сомнения, радости и печали, надежды и тревоги, волнующие легкоранимое девичье сердце, как

неосторожный ветерок трепетные листья на деревьях. А в вечерние сумерки, когда никто не идет по воду, или на рассвете, когда все еще спят, в лощину, к роднику, осторожно, как чуткие лани, рано поутру идущие на водопой, бесшумно сходились на тайное свидание беспокойные влюбленные.

Многим девушкам и женщинам за водой к роднику приходилось идти через майдан, где обычно днем собирались мужчины. Нередко они, особенно старики, подзывали девушек, возвращавшихся с родника, просили дать напиться воды. Дать воды просящему, так же, как предоставить кров и постель гостю, накормить его, считалось у нюгдинцев святым делом. Пока кувшин переходил из рук в руки и люди утоляли жажду, девушка скромно стояла в стороне.

Вот по дороге от родника показалась девушка лет шестнадцати с мокрым кувшином за спиной. Завидев её, парни, сразу прервав оживленный разговор, веселые шутки, устремили на нее взоры, полные нежности и волнения. Казалось, настроение молодых передалось и степенным старикам. Они тоже, умолкнув, с приветливыми улыбками на потеплевших лицах посмотрели на девушку.

— Клянусь богом, я сейчас позову эту красавицу и выпью воды из её кувшина,— словно радуясь такому случаю, весело произнес Офдум-Четверть быка, у которого уже появилось немало серебряных нитей в смолисто-черных пышных усах. Рядом с Офдумом сидел на завалинке маленький седобородый старичок Одом, по привычке запустив морщинистые руки с короткими пальцами за свой красный кушак, который он продолжал носить, несмотря на то, что его жена давно потеряла способность вновь стать матерью. Но старик все еще надеялся, что жена родит ему сына, поэтому не желал расставаться с «кушаком бездетности»: ведь прародителю Аврааму (он слышал об этом от раби Шафада) было девяносто девять, а его жене, пресвятой Сарре, девяносто лет, когда та родила ему первенца Исаака. А его жене еще, слава богу, далеко до возраста Сарры...

Не расставался Одом за эти годы (это уже вопреки его желанию) и со своей застарелой малярией. Поэтому, как и много лет назад, несмотря на то, что стояла солнечная погода, он сидел в теплой шубе, боясь, что маля-

рия в любую минуту может схватить его и трясти, как ветку тутовника.

Офдум задвигался на месте, как бы готовясь принять кувшин.

— Да ты же недавно выпил полкувшина воды, — усмехнулся Одом, поглядывая на Офдума.

— А ты разве не знаешь, дядя Одом, когда встречаешь чистый родник, всегда хочется пить, если даже тебя не томит жажда? — отшутился Офдум, следя за приближающейся девушкой.

Девушка, на которую обратили внимание сидевшие на майдане, шла, слегка изгибаясь под тяжестью своей ноши. Под простым бязевым платьем резко обозначалась упругая грудь. Черты лица у нее были тонкие и чуть тронутые мягким загаром, фигура гибкая, стройная. Из-под тонких длинных бровей живо и вместе с тем застенчиво смотрели большие, темные, как мокрые черносливы, глаза с густыми бархатными ресницами. На правой щеке девушки красовалась родинка. Она шла так, будто плыла в медленном танце, чтобы вода не расплескалась в кувшине.

Девушка, почувствовав на себе любопытные взгляды мужчин, густо зарделась и, потупив глаза, ускорила шаг, чтобы быстрее пройти майдан. Но Офдум-Четверть быка громко окликнул её. Она медленно подошла, услужливо сняла с плеч тяжелый кувшин, поставила его перед ним, а сама отошла в сторону, терпеливо ожидая, пока тот напьется. Отпив несколько глотков холодной воды, Офдум поставил кувшин перед собой, с лукавой усмешкой в глазах посмотрел на соседа.

— Пей и ты, а то пожалеешь!

Старик теплым взглядом окинул девушку, затем с не свойственной для его возраста проворностью энергично сбросил с плеч шубу, встал, выпрямился. Погладив усы и бороду. Одом, улыбаясь, понимающе кивнул Офдumu.

— Ей богу, Офдум, ты прав, — озорным голосом, громко произнес он, — как можно не выпить из кувшина такой красавицы. Пить воду из её кувшина все равно, что из источника Зем-зем<sup>1</sup>.

Внезапная «жажда» охватила и молодежь. Не стесняясь присутствия стариков, парни поочередно подходи-

---

<sup>1</sup> Зем-зем — райская вода, дающая бессмертие.

ли к кувшину и, словно желая продемонстрировать перед девушкой свою силу и ловкость, одним взмахом руки легко поднимали кувшин, подносили ко рту и пили из него медленно, будто по каплям глотали мёд, не сводя с неё зачарованных глаз.

Кувшин был возвращен хозяйке, когда в нём не осталось и капли воды. Девушке пришлось вернуться обратно к роднику за водой.

— Эх, был бы жив пастух Ишмаил, посмотрел бы, какая у него дочь растёт,— покачал головой старик, накидывая на плечи шубу и без видимой надобности поправляя свой кушак. Затем, провожая девушку грустным взглядом, он задумчиво добавил: — Пери, Пери!.. И имя-то у неё чудесное, подстать ей.

— Не зря сын старосты, Эсеф, сохнет по ней,— не то с удовлетворением, не то с осуждением проговорил Офдум.

— Да, быстро летит время, — тихо, с печалью в голосе произнес старик, как бы продолжая рассуждать сам с собой.— Вот уже десять лет прошло, как мы похоронили бедного Ишмаила, а кажется, что это было вчера. Эх, наша жизнь скоротечная!.. Не успеешь наглядеться на свет божий, а смерть, окаянная, уже тебя подстерегает, как зверь, спрятавшийся в кустах, свою жертву. Быстро, очень быстро летит время...

Когда Пери вернулась домой, Сосун сидел на голом земляном полу веранды и старательно прошивал нитками новые чарыки. Он был одет в старую черкеску из темно-рыжей домотканной шерсти. По тому, как при каждом его резком движении готовы были лопнуть швы на черкеске, видно было, что его большой плотной фигуре тесно в ней. Сейчас в этом широкоплечем мускулистом смуглом молодом человеке никто бы не узнал того тщедушного, бледнолицего мальчика, каким он был десять лет тому назад, когда, держась за ивовый прут, водил отца гудилом по селу. Его широкое, чуть скуластое лицо, густые, сходящиеся на переносице брови придавали ему некоторую суровость. Но глаза юноши не изменились. Они остались такими же, большими и немного грустными. Увидев сестру, Сосун в сердцах шлепнул об пол готовый чарык и, насупив брови, ворчливо сказал:

— Проклятый староста! Работаешь на него, как вол, а он жалеет дать хорошей кожи на чарыки. Разве это

кожа? Она не толще кожуры лука. Такие чарыки и две недели не пронесишь...

Но Сосун сейчас был огорчен и недоволен не столько плохой шкурой на чарыки, сколько сестрой. Не опоздай она с родника, возможно, брат не стал бы ругать старосту. Поэтому он, тут же забыв о чарыках, посмотрел на сестру недовольно и сурово.

— Ты где запропастилась?

Пери, поставив кувшин с водой в угол веранды, подошла к брату и остановилась перед ним.

— Разве я виновата, если дяденьки на майдане попросили напиться и выпили всю воду. Пришлось второй раз идти к источнику, — обиженно произнесла Пери. Но то, что она долго смотрела на себя в водяное зеркало у родника, скрыла от брата.

— Ты у меня смотри! — неуверенно пригрозил Сосун. — Почему-то, когда идешь ты за водой, их всех, чертей, будто раненых оленей, начинает мучить жажда... К источнику можно и стороной пройти, не обязательно же через майдан, где всегда собираются мужчины.

В отношениях с сестрой Сосун был сдержан и строг, а нередко даже суров. По обычаю нюгдинцев, мужчина не должен открыто выражать нежность к жене, сестре, ласкать или брать на руки своего ребенка при родителях и старших. Свои чувства он должен скрывать под внешней суровостью.

— Азиз<sup>1</sup>! Я же знаю, что ты на меня не сердишься, — ласково проговорила Пери, чтобы загладить свою вину. И, рассмеявшись, она опустила перед братом на короточки и коснулась губами его плеча.

Сердце Сосуна потеплело, растаяло от ласкового прикосновения сестры. Плотные сжатые губы расплылись в невольной улыбке, но он, не поднимая головы, с притворным недовольством, точно старый дед, вновь заворчал на неё.

— Ну ладно, не мешай мне работать. Иди займись своим делом.

Но девушка не отошла. Склонив голову набок, она

---

<sup>1</sup> Азиз — дорогой; почтительное обращение к старшему брату в семье.



в какой-то нерешительности продолжала глядеть на брата.

— Ну, что тебе? — спросил Сосун, догадываясь, что она хочет что-то попросить.

— Девушки собираются в саду поиграть в абаков<sup>1</sup>... Разреши и мне пойти. — Пери жалобным, умоляющим взглядом уставилась на брата.

Юноша молча взял с пола другой кусок кожи, неспеша расправил на коленях и принялся бритвой соскабливать с нее шерсть.

— Ладно, иди, отвяжись, — не очень охотно согласился брат. — Только... — Сосун исподлобья сверкнул глазами на сестру, — только не задерживайся долго, а то смотри у меня!..

Обрадованная Пери вихрем влетела в комнату, торпливо взяла из ниши платок с ярко-красными розами на темном фоне и длинной бахромой. Накинув платок на голову и надев башмаки на деревянной подошве, она, радостная, выбежала во двор.

Сосун отложил кожу на пол и долго смотрел вслед удаляющейся сестре. И даже тогда, когда девушка, спустившись по узкой тропинке в овраг, за которым виднелись сады, совсем исчезла из виду, он еще продолжал смотреть в ту сторону с задумчивым и озабоченным видом.

За последнее время Сосуну жилось неплохо. Прошли тяжелые, горестные дни сиротства, когда нередко в доме не было даже куска хлеба, а если удавалось есть досыта, то это для него с сестрой было настоящим праздником. Среди батраков Гомуила Сосун, пожалуй, был самым прилежным, старательным и проворным. Расчетливый староста ценил примерного батрака и даже дал ему корову, сумел уберечь его от мобилизации в царскую армию<sup>2</sup>, несмотря на то, что уже третий год шла война с Германией и многие сверстники Сосуна находились на службе, а иные сложили свои головы на полях брани.

Сосун был доволен жизнью. С годами стала забываться кровная обида, которую староста в свое время нанес его отцу и ему. Сосун относился к нему с почте-

---

<sup>1</sup> Абаков — игра в мяч.

<sup>2</sup> Таты подлежали мобилизации в царскую армию.

нием и покорностью. Рано познав горькую сиротскую жизнь, он был доволен тем, что у него есть над головой кров, свой сыр и хлеб, а хозяин, от которого зависит его благополучие, относится к нему хорошо.

И сестра Пери, несмотря на постоянные недоедания и лишения, которые пришлось им испытать в детстве, слава богу, выросла здоровой, расцвела, как дикая роза среди колючего кустарника. Сосун гордился сестрой, ее красотой, любил ее. Но последнее время красота сестры не столько радовала брата, сколько пугала его. По селу ползли слухи, будто Пери и сын старосты Эсеф любят друг друга и даже тайно встречаются. Он был твердо уверен, что староста ни за что не согласится женить своего сына на бедной девушке, тем более на дочери пастуха. А тайные свидания до добра не доведут. Злые языки могут опорочить доброе имя сестры, и тогда, несмотря на ее красоту, едва ли кто захочет взять её в жены. «А вдруг эти слухи верны?» — промелькнуло у него в голове. Он тревожился не только за счастье сестры, но и за свою честь брата, мужчины. А для мужчины лучше смерть, чем жизнь без чести. Странное поведение сестры в последнее время заставляло его все чаще задумываться над этим неприятным и тревожным для него вопросом.

Пери все чаще стала отлучаться из дому, иногда даже не спрашивая у него разрешения, подолгу задерживалась, когда шла к роднику по воду. С нею происходило что-то непонятное: то она ходила радостно-возбужденной и беспричинно смеялась, то впадала в грубое уныние.

Может, все это от того, что она влюблена?..

Степенные и суровые нюгдинцы хотя и признавали любовь, охотно слушали о ней в песнях ашугов, да и сами частенько пели про неё, но старались оберегать от любви своих дочерей и сестер, как от какой-то опасной болезни. Многие из них смотрели на любовь, как на что-то предосудительное, считая, что влюбленный, как и сильно опьяненный человек, теряет голову и от него можно ожидать все, что угодно. Очень часто на свадьбах и меджлисах пели о пламенной любви Лейли и Меджнуна, но никто и ни за что не желал бы увидеть дочь или сестру в роли Лейли, открыто, на весь мир, заявившей о своей любви. Скорее предпочли бы уви-

деть их мертвыми, чем, как Лейли, протестующими, страдающими, не щадящими ни чести, ни доброго имени своих родителей, ни собственной жизни ради любви.

Сегодня Сосун, как обычно, проснулся чуть свет, встал, чтобы подложить сена корове. Проходя мимо постели спящей сестры, он невольно обратил внимание на выражение ее лица, слегка прикрытого разметавшимися на подушке черными кудрями. Сестра блаженно улыбалась, а губы её, будто в сладостном волнении, шептали какие-то слова. Сосуну вдруг показалось, что сестра во сне разговаривает с сыном старосты, это ему она улыбается, ему её уста шепчут нежные слова любви, с восторгом и тоской произносят его окаянное имя. Подозрение с новой силой вспыхнуло в душе брата и превратилось почти в уверенность, а чувство любви и привязанности к ней внезапно уступило безрассудному гневу. Его так и подмывало наброситься сейчас на сестру, исхлестать её сонную по щекам, схватить за волосы, стащить с постели и бить, бить до тех пор, пока не изгонит из неё, как беса из тела сумасшедшего, эту заклятую любовь к сыну старосты. Но он, с трудом переусилив себя, решил сначала узнать, выведать обо всем, когда она проснется. А когда сестра проснулась и с ласковой улыбкой посмотрела преданно и как-то жалобно на брата, гнев его остыл, и, будто чувствуя свою вину перед ней, он отвел глаза в сторону, чтобы не встретиться взглядом с Пери. «Может, все это — небылица, — принялся он успокаивать себя, стараясь освободиться от терзавших его сомнений. — Кто не знает наших сплетниц. Они готовы из мухи сделать слона...»

... В саду, где собралась молодежь поиграть в абакков, было шумно и весело. Девушки с притворным испугом, громко смеясь и взвизгивая, перебегали от одного дерева к другому, когда парни гнались за ними, стараясь попасть в них мячом.

Вскоре после игры девушки отделились от парней и шумно, с преувеличенным интересом обсуждая результаты игры, не спеша двинулись в глубь садов. За ними, держась на почтительном расстоянии и перекидываясь шутками, последовали парни. А одна пара отстала от компании. Высокий юноша с гладким добродушным курносым лицом, темно-кариими глазами остановился с Пери под большой раскидистой яблоней.

Парень что-то говорил девушке и машинально наматывал на палец черную бахрому её платка, будто желая прочнее привязать её к себе. Это был Эсеф сын старосты.

Звонкое пение тысяч кузнециков и разноголосое щебетанье птиц наполнили летний сад.

— Пери, пойдем в наш «шатер»,— умоляюще проговорил Эсеф, слегка потянув девушку за руку.

Пери не стала возражать. Пожалуй, там, в стороне от любопытных и ревнивых глаз, можно спокойно посидеть с любимым, наговориться всласть. Держась за руки, они, пройдя через сады, вышли к невысокой глинобитной ограде, за которой расстился скошенный луг, плотной стеной окруженный с трех сторон зеленым лесом. В середине луга росли, сбившись в кучу, кусты терна, увитые со всех сторон ежевикой с красными еще незрелыми ягодами.

Перебравшись через ограду, Эсеф и Пери, точно малые дети, вырвавшись на волю, с задорным звонким смехом, стремительно побежали к кустам. На какую-то долю минуты они задержались у терновника и огляделись по сторонам. Убедившись, что их никто не видит, влюбленные, торопливо раздвинув кусты, быстро скрылись в них.

Но едва Пери и Эсеф успели перебраться через садовую ограду, как далеко позади них, между деревьями в саду мелькнула чья-то женская фигура в яркой пестрой одежде. Стараясь быть незамеченной, она, слегка пригнувшись, перебежала от дерева к дереву, приближаясь к ограде. Но пока она успела выйти на луг, плотный кустарник, куда спрятались Пери и Эсеф, надежно укрыл влюбленных.

Тесно прижавшись верхушки терновника, над которыми густо сплелись буйные заросли ежевики, образовали изнутри подобие небольшой беседки. Терпкий аромат дикой мяты, росшей в изобилии под кустами, смешавшись с острыми запахами сочной травы и сырой земли, ударяясь в ноздри, как хмельной напиток, проникал в кровь, волнуя душу.

Укрывшись под зеленым шатром, влюбленные чувствовали себя здесь так, будто весь мир со своими радостями и печалью, красками и звуками, настоящим и будущим заключен сейчас в этом крохотном уголке,

куда не проникал ни человеческий взор, ни солнечный луч.

— Ох, как хорошо мне с тобой, Эсеф, — склонив голову набок, улыбнулась Пери, сияя от счастья. И, словно постеснявшись своего признания, несмело добавила: — Но сегодня я долго не могу быть с тобой.

— Почему? — Эсеф посмотрел на неё с удивлением. Пери опустила глаза и ответила не сразу.

— Брат недавно ругал меня за то, что я, идя к источнику за водой, задержалась, — поводя рукой по примятой траве, тихо проговорила Пери. — Мне кажется, он догадывается, даже знает...

— Ну и пусть знает, что мы любим друг друга. Осенью все равно свадьбу сыграем, — приняв горделивую позу, самоуверенно произнес юноша.

Девушка подняла голову и, не скрывая радости, долго, счастливыми, благодарными глазами смотрела в бесконечно дорогие черты любимого. Но вдруг будто тень пробежала по её лицу и что-то дрогнуло в нём. Она сразу умолкла, тонкие брови сдвинулись, и Пери, не глядя на Эсефа, с тревогой в голосе спросила:

— А вдруг твой отец не захочет ввести меня в свой дом?!

— Ну почему ты так думаешь? — с мягким укором произнес Эсеф. И чтобы рассеять её сомнения, он заставил себя улыбнуться. Но улыбка получилась жалкой, просящей. И она это заметила.

Пери, опечаленная, опустила глаза, задумалась. Видимо, этот вопрос давно мучил ее, и она уже была не в состоянии скрыть своей тревоги от Эсефа.

— Боюсь я твоего отца, ох, как боюсь его, — тихо произнесла она и с обидой в голосе добавила: — Я же — сирота, дочь пастуха, а вы — люди богатые, знатные. Кроме того, у твоего отца есть на примете другая девушка... Все об этом говорят...

По-девичьи нежное лицо Эсефа исказилось болью, а в темно-карих глазах промелькнул испуг.

— Пери, прошу тебя не напоминай мне об этом! — страдальческим голосом взмолился он.

Эсеф не раз слышал недвусмысленные намеки отца о его желании увидеть Хонум — дочь раби Шафада — своей снохой. А сейчас, услышав это из уст любимой девушки и представив себе отца с его упрямым и властным

характером, он не на шутку встревожился. В каком-то безумном порыве обхватив голову Пери, он с силой прижал её к своей груди.

— Ах, Пери-джан, Пери-джан! Если б ты знала, как я тебя люблю! — горячо и взволнованно прошептал юноша. — Клянусь отцом, наяву ли, во сне ли, ты всегда со мной. И когда тебя рядом долго нет, мне кажется, я лишился своей тени и вот-вот умру<sup>1</sup>... Я скорее дам себя заколоть, чем позволю отцу женить меня на другой.

Пери слышала, как бьется в груди любимого сердце, и не в силах сдерживать непослушные слезы, беззвучно плакала от счастья.

— Помнишь, Эсеф, как много лет назад, когда мы были детьми, ты приходил к нам во двор за моим отцом и просил, чтобы я пришла поиграть на вашу улицу. Помнишь, что я тогда тебе ответила?

— Помню, — глядя рукой волосы Пери и приняв горячими губами к ним, радостно улыбнулся Эсеф. И подражая её детскому голосу, произнес: — Я с мальчишками не играю...

— Да, я так говорила, — тихо вздыхая, с грустью произнесла она, украдкой смахнув пальцем слезу. — А сейчас даже в кусты забралась с тобой.

В разгар сердечной беседы влюбленных где-то вблизи, недалеко от терновника, вдруг раздался чей-то пронзительный душераздирающий женский вопль:

— О Эсеф, ты уби-и-ил ме-е-еня! О Пери, да чтоб тебе на свадьбе сыграли «Обратный марш»!..

Пери вздрогнула, побледнела, будто внезапно над её головой разразился оглушительный гром. Она резко высвободилась из объятий Эсефа, растерянно и тревожно глянула на него.

— Это она, Хонум, каркает на меня, как злая ворона, рыщет по моим следам, — придушенным, негодующим голосом прошептала суеверная девушка.

Заметив беспокойное движение Эсефа, она крепко обхватила его за плечи, боясь, как бы он, поддавшись порыву гнева, не выскочил сейчас наружу, чтобы обругать Хонум.

---

<sup>1</sup> Суеверные таты верили, если человек лишится тени, ему суждено скоро умереть.

— Нет, нет, нам нельзя сейчас показываться на глаза этой ведьме. Я знаю, какая у нее черная душа и злой язык. Она обольет меня грязью, наклеветает на меня. Если бы не это, клянусь жизнью единственного брата, — черные глаза девушки вспыхнули огнем, — я схватила бы за волосы эту ведьму и показала бы ей, как накликают беду на голову невинного человека.

... После старосты раби Шафад был самым состоятельным человеком в Ньюгди. Его виноградники, фруктовый сад, поля и скот приносили ему немалый доход. У престарелого Шафада была единственная дочь — Хонум. Безмерно жадный староста втайне мечтал завладеть наследством раби. Ради этого он чаще стал бывать у него в доме. Каждый раз, встречая Хонум, Гомуил с ласковой шуткой говорил ей:

— Хочу, чтобы ты была моей снохой.

Об этом намерении старосты знали не только родители девушки, но и все нюгдинцы. Хонум теперь, увидев Гомуила или его жён, прикрывала краем платка лицо, как это полагается невесте при встрече с родными своего жениха до свадьбы.

Хонум была бледнолицая, светловолосая девушка, невысокого роста, с низким упрямым лбом и длинным носом. Плотные сжатые тонкие губы постоянно кривились в ехидно-насмешливой улыбке. Единственное, что украшало её некрасивое лицо, — это глаза, большие, светло-карие, умные. Но и они скорее отталкивали, чем привлекали. Когда Хонум смотрела на человека, то казалось, что она хочет заглянуть в его душу, пошарить в ней, изблечить в чем-то нехорошем. Вредная по характеру, избалованная чрезмерным вниманием родителей, она была до того самолюбива, эгоистична, что удача, радость подруг огорчали, расстраивали её, причиняя страдания, а их беда, неудача — радовали, веселили.

Она даже не умела, вернее, не считала нужным, скрывать этого.

Не только парни, но и девушки сторонились дочери раби. В обществе этой недоброжелательной, самонадеянной и крикливо одетой девушки они чувствовали себя как-то стесненно и неловко. За глаза они презрительно и насмешливо называли её «Хьюфд ранге»<sup>1</sup> за то, что

---

<sup>1</sup> Семицветная — название птицы.

она одевается в ярко-пестрые дорогие наряды. Особенно избегал встречи с ней Эсеф, к которому она была равнодушна и в мечтах своих считала сына старосты своим женихом, грезила им, старалась как можно чаще попадаться ему на глаза, обратить на себя его внимание.

Сегодня утром Хонум проснулась в самом прекрасном настроении, полная радужных надежд. Вчера, когда она разжигала во дворе самовар, её будущий свекор опять пришел к ним вместе с отцом. Пропустив вперед раби, Гомуил, подошел к ней и, указывая на весело гудящий и начищенный до блеска самовар, ласково шепнул ей на ухо: «С этой осени ты будешь разжигать его в моём доме».

Встав с постели, Хонум подошла к сундуку, обитому разноцветным железом, легко подняла крышку. Сундук доверху был набит дорогими пестрыми нарядами. По всему было видно, что родители не жалели денег для единственной дочери. Хонум некоторое время постояла у открытого сундука, раздумывая, во что ей лучше нарядиться, чтобы вызвать зависть и удивление девушек, особенно Пери, этой ненавистной ей пастушки, а главное, — привлечь внимание парней и, конечно, прежде всего Эсефа.

Спустя несколько минут Хонум уже стояла перед зеркалом, тщательно рассматривая себя, свой богатый туалет. На ней сейчас были широкие шаровары из блестящего красного шелка, платье из тёмно-синего бархата, поверх которого она повязала ширский серебряный пояс с пришитыми к нему крупными монетами с изображением царского профиля и двуглавого орла. Её голову украшал белый гянджинский платок, а уши — длинные золотые подвески.

Хотя вычурный туалет еще больше подчеркивал её непривлекательность, Хонум казалась самой себе восхитительной. Любуясь собой в зеркале, она мечтала во что бы то ни стало покорить сегодня сердце Эсефа, обворожить его. Думая так, Хонум утешала, подбадривала себя тем, что не может быть, чтобы отец Эсефа не сказал ему, что он должен стать её мужем. А если он открыто не проявляет к ней, Хонум, свои чувства, избегает встречи с ней, только потому, наверное, что стесняется её или просто до женитьбы хочет немного позаба-



виться дочерью пастуха Ишмаила. Ах, эти мужчины!.. Но ведь всему есть предел. Сколько же можно ждать, томиться?!. Тем более, что вчера её будущий свекор Гомуил ясно дал понять ей, что осенью она будет женой Эсефа.

Хонум живо представила себе, как её появление в саду в новом наряде поразит девушек и парней в самое сердце. Но она сделала вид, что ничего этого не замечает. Пусть знают, что для неё ходить в дорогих нарядах, о которых многие девушки не смеют и мечтать, — привычное дело. А дочь пастуха, как только взглянет на неё, сразу почувствует свое ничтожество перед ней. Все говорят, что она красива. Ну и что ж?! Красоту на стену не вешают. А на этой красотке никогда даже приличной юбки не бывает! Посмотрит Пери на неё и, прижатая, снedaемая завистью и ревностью, сразу убежит без оглядки. Эсеф, конечно, не станет удерживать свою пастушку. Он в душе даже примется упрекать себя: «Вах, вах, негодная, неразумная голова моя, почему я отдавал предпочтение этой нищей оборванке? Какой же я был дурак! Ведь Хонум и симпатичная, и богатая». А она сделала вид, что Эсеф ей совершенно безразличен, будет весело болтать с девушками и беспечно смеяться. Ведь она же будет сегодня центром внимания.

Когда все разойдутся, она, Хонум, не спеша, как бы прогуливаясь, медленно направится в сад своего отца. Ведь имеет же право она погулять в собственном саду? Разве она виновата, что Эсеф в это время будет, как тень, следовать за ней, и может быть, даже сравнивая свою любовь с любовью Медждуна, запоёт песню на грустный мотив шикесте, обращаясь к ней, как к своей Лейли. А она, Хонум, сделает вид, будто ничего не слышит, да и вообще никто и ничто её не интересует. Эсеф догонит её, посмотрит на неё с виноватым, пристыженным видом и умоляющим голосом скажет: «Хонумджан, какая ты сегодня очаровательная. Не избегай меня, послушай, я уже давно собираюсь открыться тебе, поговорить по душам!..»

Она, Хонум, сделает удивленное и даже обиженное лицо, надует губы и, будто стыдясь этой «неожиданной» встречи, застенчиво прикроет лицо краем белого шелкового платка, ответит тоном оскорбленной невинности:

«Что за глупости такие? Я не собираюсь разговаривать наедине с чужим парнем, запятнать своё доброе имя и имя своих почтенных родителей, как некоторые ветреные, безнравственные девушки...»

Он, конечно, сразу догадается, на кого, она, Хонум, намекает. Но Эсеф сделает страдальческое лицо, скажет: «Оставим эти разговоры, к чему они. Разве мы чужие. Ведь мы же с тобой — жених и невеста!». А она гордо, с лукавой усмешкой поглядывая на Эсефа, скажет дразнящим голосом: «Хм, это еще как сказать: захотят ли мои родители выдать свою дочь за тебя...»

Красивое лицо Эсефа исказится болью, а темно-карие глаза вспыхнут гневом и страстью. «В таком случае мне остается лишь одно — похитить тебя!» — воскликнет он и сразу же протянет руку, чтобы схватить её, Хонум. Но она увернется, спрячется за дерево. Эсеф, охваченный неистовым желанием схватить и обнять её, будет стараться нагнать её. А она, ловко увертываясь, перебегая от одного дерева к другому, будет его дразнить и громко от души смеяться, хохотать — ха-ха-ха!..

Воображаемая картина до того понравилась и развеселила дочь раби Шафада, что она на самом деле принялась громко хохотать. На её неожиданный, громкий и безумный смех из соседней комнаты поспешно вышла встревоженная мать, старая, усталая женщина с бескровным болезненным и печальным лицом. Она, посмотрев на дочь, которая все еще продолжала кривляться и оглушительно смеяться перед зеркалом, строго сказала:

— Горе мне, твоей старой матери! Сколько раз я тебе, дочка, говорила: не смотри так часто в зеркало, с ума сойдешь. Ведь в зеркале сидит бес, иначе разве стекло могло бы отражать лицо человека!

В тот день Хонум вернулась с гулянья домой злая, разбитая и бесконечно несчастная. Как говорится, «шла — веселилась, вернулась — прослезилась». Эсеф, как и прежде, был к ней безразличен. Он, кроме Пери, да чтобы её проглотила земля, никого не замечал, не видел вокруг. Да и девушки неохотно разговаривали с Хонум, чуждались её и относились к ней даже холоднее, чем обычно. Хонум чувствовала себя среди девушек подобно курице, попавшей не в свой курятник, которую каждая клюет и гонит подальше от себя. А ненавист-

ная дочь пастуха, окруженная подругами, такими же оборванками, как она, была сегодня особенно беспечна и весела.

Хонум долго притворялась, будто не обращает внимания ни на Эсефа, ни на Пери. В то же время она ревнивым взором страдающей соперницы следила исподтишка за каждым взглядом и движением влюбленных счастливых. Когда же они направились к садовой ограде, в ней заговорили ущемленное самолюбие, оскорбленная гордость, а главное — мучительная ревность к сопернице. И тогда, как бы подчиняясь неподвластной ей силе, она тайком последовала за Пери и Эсефом. Но пока Хонум, скрываясь от них, перебежала от дерева к дереву, чтобы не обнаружить себя, и добралась до садовой ограды, она уже потеряла Эсефа и Пери из виду: влюбленные успели укрыться в своем зеленом шатре. Хонум, как заблудшая овца, отбившаяся от отары, долго кружилась в смятении по скошенному лугу, стараясь напасть на след Эсефа и Пери, неожиданно исчезнувших, как духи. И окончательно потеряв надежду найти их, уставшая, потрясенная, она дала волю своему безудержному отчаянию. Как смертельно раненный человек, которого покидает жизнь, Хонум упала недалеко от кустов терновника и, склонив пылающий лоб к земле, крикнула душераздирающим голосом: «О Эсе-эф, ты убил меня! О Пе-ери, да чтоб тебе на свадьбе сыграли «Обратный марш»!..

Вернувшись домой, Хонум, сама не зная зачем и почему, подошла опять к зеркалу. Затуманенным блуждающим взглядом посмотрела она на своё отражение. Из зеркала глядело на нее печальное, усталое, злое, еще более подурневшее лицо. В то же мгновение вместо своего отражения она увидела веселое, улыбающееся, красивое лицо соперницы. Не в силах вынести этого видения, Хонум в страхе закрыла лицо руками и зарыдала горько и безутешно.

Мать, услышав плач дочери, в тревоге выбежала из внутренней комнаты. Старуху едва не хватил удар, когда она увидела судорожно рыдающую дочь перед зеркалом, решив, что бес, сидящий в зеркале, и впрямь поведил рассудок дочери.

— Ах, горе мне, твоей матери, — сокрушенно воскликнула старая женщина, с укором и болью глядя на

Хонум,— сколько раз я тебе говорила: не смотри так часто в зеркало, оно сведет тебя с ума!

Подойдя к плачущей дочери, она резким движением сняла со стены зеркало, завернула его в первую попавшуюся тряпку и поспешно отнесла в сарай, призывая тысячи проклятий и бед на головы тех, кто выдумал эту бесовскую штуку — зеркало.

## КАВАЛЕР ГЕОРГИЕВСКОГО КРЕСТА

Сосун как обычно встал сегодня рано утром. Едва занялась заря, а он уже был на ногах. Еще вчера Илогу, помогавший Гомуилу в его хозяйственных делах, поручил Сосуну и Шелбету съездить в дальний лес, заготовить шесты и бревна для постройки летней конюшни. Взяв котомку, в которую заботливая Пери еще с вечера положила ему два чурека, кусок сыра и вяленую рыбу, прихватив топор и пилу, Сосун вышел во двор.

Утро стояло тихое, ясное. Ранние нежаркие лучи только что выглянувшего из-за окрестных садов красного солнца пронизывали чистый и прохладный, как родниковая вода, воздух. Сосун на минуту остановился посреди двора, оглянулся и, невольно поддавшись очарованию прелестного летнего утра, улыбнулся. Но улыбка тотчас же погасла на смуглом лице юноши, когда он услышал печальное причитание соседки — тети Майрам, жены Рахмона. Прошло десять лет, как Рахмона осудили и отправили в Сибирь за поджог скирды старосты. Власти расценили его действия как акт разбоя и покушения на чужую собственность.

Последние два года от Рахмона не было никаких вестей. В представлении нюгдинцев, Сибирь была земным адом, самым отдаленным краем света, сплошной снежной пустыней, где никогда не светит солнце, не зеленеет трава, куда не залетают даже птицы. Все были уверены, что рано или поздно Сибирь похоронит в своих бесконечных снегах кости их бедного односельчанина. И все эти десять лет жена Рахмона встречала утро и провожала день плачем.

Плакали и в некоторых других семьях, в которых мужья, братья и сыновья были угнаны на фронт, где погибли «за веру, царя и отечество» или вот уже кото-

рый год проливали там свою кровь. Целыми днями висел этот плач над селом, напоминая нюгдинцам о безвременной гибели родных и близких, о неизлечимых ранах, которые наносила сердцу война...

Вскоре Сосун и Шелбет ехали на фургоне, запряженном парой откормленных гнедых. Хорошо укатанная дорога была еще мокра от предутренней росы. Сосун сидел на передке, держа в руках вожжи, а Шелбет, прислонившись костлявой спиной к дощатому борту фургона, медленно и сосредоточенно жевал беззубым ртом хлеб с сыром, взятые им из котомки Сосуна. В его куцой, седой, уже позеленевшей от старости, свалывшейся бородачке торчали мелкие соломинки: не имея постели, старик спал на подстилке из соломы.

За последние годы Шелбет еще больше похудел и почернел, и всем своим видом напоминал старую прокопченную жердь всю в трещинах. Не только лицо, но и тонкую шею его сплошь прорезывали глубокие морщины, а во рту не осталось ни одного зуба. Он жаловался на плохое зрение, но продолжал батрачить, чтобы заработать на хлеб.

Некоторое время они ехали молча, каждый думая о своем. В утренней тишине отчетливо раздавался монотонный перестук колес. Потом Сосун ослабил вожжи, и кони пошли тихим шагом, а сам он повернулся к Шелбету, чтобы перемолвиться словечком.

После Рахмона, которого Сосун очень уважал и к которому сохранил в душе самые теплые чувства, он больше всех любил и почитал старика Шелбета. Последние годы им часто приходилось работать вместе. Одинокий старик и юноша-сирота привязались друг к другу. Немало ночей за эти годы они коротали вместе на рыбалке на берегу реки Григоринчая. Сидя у жаркого костра, Сосун не раз встречал со стариком рассветы, слушая сказки и легенды, которые он рассказывал ему.

Одиночество Шелбета вызывало глубокую жалость и сострадание в отзывчивой душе юноши. Он не раз просил его перейти жить к нему, желая заменить ему сына, охранять его покой и старость. Но гордый старик не соглашался, не желая быть никому обузой.

— Сейчас, дядя Шелбет, у нас в селе только и слышишь, как плачут бедные женщины — прямо сердце болит, — с горечью произнес Сосун.

Шелбет старательно, с трудом дожевав, уложил в котомку остатки хлеба с сыром, вытер руки о подол своей грязной, сплошь в заплатках рубахи. Провожая усталым задумчивым взглядом вековые чинары, росшие вдоль дороги, он сердито проговорил:

— Есть поговорка: «Беки дерутся, а у нукеров головы летят». Цари, падишахи ссорятся, а райят за это кровью своей расплачиваются.

Старик отложил в сторону котомку, вытянул худые, иссохшие ноги и принялся неторопливо рассказывать о причине разгоревшейся войны.

По словам старика, война между Россией и Германией началась из-за русской царицы. Германский падишах будто бы пригласил в гости своего кунака — русского падишаха с женой. По этому случаю, как это заведено у падишахов, закатили пир с зурной и барабаном. Вино лилось рекой, а сотни слуг едва успевали подавать к столу разные явства. Когда все были во хмелю, пьяный сластолюбивый германский падишах, разгоряченный вином и близким соседством русской царицы, ущипнул её в недозволенное место. Русский генерал, заметив эту непристойную выходку германского падишаха, встал на защиту чести своего государя. Он не побоялся, что находится на чужой земле, смело подошел к германскому падишаху и на виду у всех влепил ему оплеуху. Германский генерал в свою очередь тоже не стерпел такого оскорбления и стукнул русского генерала. Вслед за генералами вступили в драку русские и германские солдаты, охранявшие своих царей во время кейфа. Драка эта выросла в большую войну. Война — это, конечно, не пьяная свалка на пиру. Тут вместо кулаков пошли в ход сабли, винтовки, пушки...

— Вот так и началась эта заваруха, — сокрушенно качая головой, закончил свой рассказ старик.

Хотя эта история, выдуманная кем-то от начала до конца, ничего общего не имела с причинами возникновения войны между Россией и Германией и напоминала собою наивную сказку, нюгдинцы, однако, непоколебимо верили в нее, как впрочем, и во многие другие хабары и небылицы. Поэтому Сосун после рассказа старика, беспокойно ерзая на передке, в своем справедливом гневе начал ругать и поносить всех царей.

— Проклятые падишахи, — в сердцах воскликнул

возмущенный юноша,— едят, пьют и худа не знают. Их бы заставить работать до семи потов за кусок хлеба, тогда не стали бы с жиру беситься...

Некоторое время они ехали молча по дороге, проложенной вдоль железнодорожной насыпи в трех километрах от Нюгди. Стальные рельсы, поблескивая на солнце, уходили далеко, теряясь за деревьями.

Погруженного в свои думы Шелбета начало было клонить ко сну, когда далеко позади них со стороны Баку донесся шум приближающегося поезда. А спустя несколько минут, мимо них, стуча колесами на стыках, промчался эшелон с русскими солдатами, прикрытыми брезентом пушками на открытых платформах.

Один солдат, высунувшись из вагона и подавшись всем корпусом вперед, прощально помахал рукой и громко крикнул Шелбету:

— Дедушка, прощай!.. Едем бить немцев!..

Ни Шелбет, ни Сосун, конечно, не поняли, что он сказал, но старик счел своим долгом в свою очередь тоже сказать ему и его товарищам что-нибудь в напутствие. Он вскочил на ноги и, помахав им рукой, крикнул изо всей силы:

— Да сохранил вас бог! Да будет проклят блудливый германский падишах и распутная русская царица!..

Батраки уже подъезжали к большому густому лесу, где они предполагали заготовить шесты и бревна, когда в нескольких шагах впереди, прямо посреди дороги они увидели незнакомого пожилого солдата с заросшим смуглым лицом. Он стоял, опираясь на деревянные костыли. На груди солдата блестел георгиевский крест, подвешенный на полосатой ленточке. Лоб и левую щеку его до самого подбородка прорезал широкий малиновый шрам. Вместо левого глаза зияла кроваво-красная впадина. Весело улыбаясь, солдат единственным черным глазом внимательно и испытующе вглядывался в сидящих на фургоне старика и юношу, а те в свою очередь с недоумением смотрели на незнакомца. Лошади остановились сами, увидев впереди себя человека, преградившего им дорогу.

— Родные, дорогие мои, неужели не узнали?! — дрогнувшим голосом крикнул солдат, и его изуродованное лицо, обросшее густой темной щетиной, исказилось страданием.

— Дядя Рахмо-о-он! — с радостным удивлением воскликнул Сосун, узнав его больше по голосу, чем по внешности.

Сосун мигом спрыгнул на землю, с волнением подбежал к нему, крепко обнял, поцеловал его в щеку, в плечо. Шелбет тоже, спеша и суется, сполз с повозки, шаткой старческой походкой подошел к Рахмону, сердечно обнял и облобызал его.

Стоя посреди дороги, они принялись громко и шумно разговаривать, смеяться, шутить, обнимать друг друга.

— Да что мы стоим тут посреди дороги, — первым спохватился Сосун, — пойдете к повозке!

Сосун и Шелбет помогли Рахмону взобраться в фургон.

— Провались Гомуил со своей летней конюшней, — с безудержным ликованием в голосе проговорил Сосун, — завтра поедем за лесом, — и он, весело стегнув лошадей, повернул обратно.

— О семье, дорогой, не беспокойся, — сказал Шелбет, как только они уселись в фургон. — Жена твоя, слава богу, жива и здорова, дети и внуки тоже.

— А я сегодня утром, дядя Рахмон, вспоминал тебя, — весело блестя глазами, заговорил юноша. — Я так рад, так рад, как будто родного отца встретил, клянусь богом.

— Спасибо, сынок, спасибо! — растроганно произнес Рахмон, поглаживая больную ногу и благодарно глядя на Сосуна. — Тьфу, чтоб не сглазить, каким молодцом ты стал!

Когда они въехали в лес, остро запахло листьями, травой и сырой землей. В гуще деревьев, отбрасывавших на накатанную дорогу кружевную тень с желтыми солнечными пятнами, звонко перекликались соловьи. Рахмон поднял голову, вдохнул полной грудью, прислушиваясь к соловьиным переливам. Его небритое лицо с малиновым шрамом расплылось в широкой улыбке.

— Ах, как хорошо! — тихо, будто во сне, прошептал он. — Родина!..

Из глаз солдата брызнула крупная слеза. Она на мгновение задержалась на бороде светлой дождевой капелькой и, упав на георгиевский крест, расплылась на нем.



— Мы, признаться, думали Сибирь давно похоронила твои кости. А ты, дай бог тебе еще многие лета, оказывается, после Сибири успел еще повоевать...— хитро прищурившись, с теплыми нотками в голосе, произнес старик.

— Что Сибири! Сибирь не так страшна, как вы о ней думаете. Хорошо ли, плохо ли и там тоже живут люди, и очень неплохие люди. Самое страшное сейчас— война,— мрачно проговорил Рахмон в ответ.

— Только что мы видели эшелоны с солдатами и пушками, дядя Рахмон. Их тоже отправили на фронт? — спросил Сосун у соседа.

— А куда же еще,— с горькой усмешкой сказал Рахмон.— Там каждый день гибнут тысячи здоровых людей. Вот и посылают новых вместо них, как скот на убой.

С первой же минуты встречи с Рахмоном Сосун не переставал удивляться: почему на груди его земляка висит этот крест? Но он считал неприличным спросить его об этом. Неужели его сосед изменил веру и стал хачпарасом<sup>1</sup>? При всем уважении молодого батрака к Рахмону, этот крест на груди солдата вызывал в нем неприятное чувство и в то же время беспокойство за него. Сосун опасался плохого отношения суеверных односельчан к Рахмону, как к вероотступнику. Но его удивляло абсолютное спокойствие старика. Больше того, Сосун видел, как дедушка Шелбет время от времени уважительно, с улыбкой косился на крестик. Не спятил ли старик с ума? А может, этот крест совсем не тот, о котором он думает, поэтому старик спокоен?

Рахмон тоже замечал нетерпеливые и недоуменные взгляды молодого человека, которые он то и дело бросал на его крест, и понимаяще улыбнулся ему.

— Это боевая награда, называется она — георгиевский крест, — объяснил он Сосуну, а затем, с веселой улыбкой поглядывая на обоих, с гордыми нотками в голосе, добавил: — Получил я его из рук самого царя.

Сосун от удивления так и застыл с разинутым ртом, а у старика Шелбета от этого известия точно что-то застряло в горле и он никак не мог проглотить. Поднеся сухой морщинистый кулак ко рту, он даже несколько

---

<sup>1</sup> Х а ч п а р а с — поклоняющийся кресту, христианин.

раз с усилием кашлянул, чтобы освободить горло, но, кажется, безуспешно.

Видя удивление и замешательство односельчан, Рахмон дружески улыбнулся им.

— Ничего в этом особенного нет, наградил и всё,— пытаюсь придать своему голосу спокойное, почти безразличное выражение, произнес Рахмон.— Ну, ладно, давайте сначала покурим мою солдатскую махорку, а потом я расскажу вам, как это было.

Рахмон достал из кармана солдатских брюк белую круглую жестяную коробочку с махоркой. Угостив Шелбета и Сосуна, он, не спеша, свернул сигарку. Когда закурили, Рахмон, выпуская изо рта и ноздрей горьковатый дым и весело глядя единственным глазом на старика и юношу, спросил:

— Ну, как табачок? Получше, чем наш самосад!

— Хорош, в горле не дерет и даже не першит. Одно удовольствие курить такой табак,— похвалил Сосун, желая сказать Рахмону приятное.

— Да, на то он и казенный...— одобрительно отозвался старик, держа между дрожащими скрюченными пальцами длинную дымящуюся сигарку.

Но Сосуну не терпелось скорее услышать, как это все сильный и грозный царь, каким он его себе представлял, сам вдруг явился к его земляку и лично вручил награду. Это обстоятельство высоко поднимало Рахмона в глазах юноши, делало его неустрасимым героем, необыкновенным человеком, расположением и дружбой которого может гордиться любой.

Лошади, опустив головы, шли размеренным, неторопливым шагом, отбиваясь пышными хвостами от слепней, преданно сопровождавших их от самого села. Щедрое июньское солнце ярко освещало все вокруг. Легкий ветерок приятно освежал путников, а желтые спелые колосья с длинными тонкими стеблями, переливались волнами.

— Теперь послушайте, как это было,— произнес Рахмон, устраиваясь поудобнее, держа в зубах сигарку, от которой поднималась легкая тоненькая струйка синего дыма.— Есть в России такой город, называется он Гомель. Вот в этом самом Гомеле после ранения я лежал в лазарете в палате для выздоравливающих. Однажды, глядя, наших врачей, фельдшеров и сестер

милосердия точно оса укусила: они вдруг страшно зашумелись, забегали взад и вперед, и у всех лица такие беспокойные, озабоченные, строгие. Пуще всех волновался и бегал в тот день сам начальник лазарета, военный врач, высокий толстый мужчина. Через каждые десять минут он, весь мокрый от пота, вбегал к нам в палату. Давая на ходу распоряжения врачам, сестрам и нянькам и тыкая пальцем в разные стороны, он опять исчезал. Не прошло и часу, как в лазарете все было прибрано, полы до блеска вымыты, старательно вытерты стекла на окнах, а нам сменили белье, аккуратно заправили койки. Солдаты, удивленно глядя друг на друга, тихо перешептывались, высказывая разные догадки.

Вскоре в палату опять вбежал, тряся животом, на ходу вытирая платком лицо, начальник лазарета. Он, еще раз оглядев помещение и, видно, оставшись довольным, обратился к нам со словами: «Братцы! Сейчас к нам прибудет его императорское величество верховный главнокомандующий государь-император Николай Александрович!.. Это высокая честь и большое счастье для нас с вами, братцы!»

Я уже не помню, как другие восприняли это известие, но я, не скрою от вас, очень испугался, хотя, вы знаете, ваш односельчанин не из робкого десятка.

Рахмон выбросил окурок на дорогу, с улыбкой посмотрел на своих собеседников, которые слушали его, затаив дыхание.

— И вот стою я, опираясь на костыль, возле своей койки, очень волнуясь. Вдруг в дверях палаты вижу невысокого, сутуловатого человека, в голубом мундире с золотыми погонами. Бородка у него будто хной выкрашенная, глаза маленькие, зеленые и даже, кажется, добрые. Клянусь богом, никогда не подумал бы, что это — царь. Я представлял его себе совсем другим: грозным и свирепым, которому, не дай бог, попасться на глаза. Вслед за царем вошли генералы. Все такие важные, дородные. У многих усы закручены, как рога у старого барана. Вперед вышел начальник лазарета, возбужденный, запыхавшийся, как лошадь после скачек. Мы все замерли у своих коек.

— Его императорское величество!.. — громко, будто на параде, крикнул он.

Солдаты в ответ закричали «ура». Царь едва заметно кивнул нам головой и чуть улыбнулся. Потом он вместе со своим адъютантом, очень красивым, высоким молодым генералом, отделился от свиты. Они вдвоем стали подходить к каждому солдату и тихо о чем-то спрашивать. После этого генерал прикалывал солдату на грудь вот такой крест, — скосил Рахмон глазом на награду, которая, вздрагивая, качалась на ленте.— Дошла очередь и до меня. Страха у меня такого уже не было. Но все равно, чего греха таить, немного боялся. Царь, подойдя, кивнул и мне головой, вроде хотел сказать: говори, мол, кто ты такой есть. Я взял себя в руки и, по примеру других солдат, доложил, какого я звания, где служил, в каком бою получил ранение.

По моему выговору и внешности царь, конечно, догадался, что я не русский.

— Откуда ты, солдат? — чуть слышно спросил он меня.

— Из Нюгди, ваше величество! — громко произнес я и, уже совсем расхрабрившись, добавил для точности: — Кюринского округа.

Смотрю, царь что-то нахмурился.

— Откуда, говоришь? — тихо повторил он свой вопрос.

У меня душа ушла в пятки. Страх опять овладел мной, ноги подкосились. Думаю, провалился мой дом, осиротели мои дети: царю, видно, не понравилось, что я родом из Нюгди. А он, как на зло, не уходит, стоит, как Азраил над душой, и смотрит на меня, ждет, пока я заговорю вновь. У меня совсем язык отнялся. Не могу и слова выговорить. Комок подкатил к горлу, чувствую, вот-вот заплачу. Хотел было тут же упасть к ногам царя, умолять его: «Прости меня, несчастного, великий падишах, пожалей моих детей. А их у меня целая прорва... Жена моя, Майрам, постаралась... Всегда так: богачу везет на деньги, а бедняку на детей, бог кому дал плов, кому — аппетит. А что я поджог скирды старосты, он сам довел меня до этого. Из-за него я потерял единственную корову и свой виноградник. Сам знаешь, у кого пропало добро — пропал и разум. И то, что я родом из Нюгди, которое, может, не по душе вам, клянусь богом, я не причем. Деда наши основали его. Теперь

они спят себе спокойно в своих могилах и в ус не дуют, а нам, их потомкам, за них надо расхлебывать»...

Пока я собирался пасть к ногам царя и выложить ему все как на духу, начальник лазарета, спасибо ему, пришел мне на выручку. Из его объяснения я понял, что, будто я от счастья, что вижу царя, лишился дара речи и что я родом из Кавказа.

Царя, видно, это развеселило. Он улыбнулся и кивнул молодому генералу. Тот подошел ко мне и сказал то же самое, что говорил другим солдатам:

— За верную службу царю и отечеству его величество награждает тебя георгиевским крестом!

И тут же приколот этот крест к моей груди.

Рахмон на минуту умолк, полез опять в карман, достал жестяную коробку с солдатской махоркой. Угостив табаком Шелбета и Сосуна, закурил и сам, затем продолжал свой рассказ...

— Царь и молодой генерал, раздав награды, отошли на середину палаты. Генерал начал говорить, что мы, получив награду из рук самого царя, удостоились великой чести, что он день и ночь печется о благе своих подданных.

Потом генерал сказал, что немцы напали на Россию и мы должны воевать, пока их не одолеем, призвал нас не слушаться большевистских агитаторов, которые подстрекают народ против царя, сеют смуту в стране и будто тем самым помогают нашим врагам.

Вдруг в середине речи генерала один из наших раненых младший унтер-офицер Русаков громко крикнул на всю палату: «Долой войну! Долой царя!»

Если бы вы видели, как испугались и растерялись офицеры и генералы, будто над ними потолок обрушился.

— И как он не побоялся сказать такое при царе? Какой смелый! — скорее с восхищением, чем с удивлением, воскликнул Сосун.

— А вот, видишь, не побоялся, — с откровенным уважением и гордостью за товарища по оружию произнес Рахмон. — Послушайте дальше. Один только царь держался спокойно. Но я видел, как в его маленьких зеленых глазах вспыхнул злой огонек, когда он тихо, с невозмутимым видом приказал молодому генералу:

— Отберите у него награду. Он не достоин её!

Русаков, не дожидаясь такого унижения, сам сорвал с груди крест и с яростью швырнул его на пол, крикнув: «Берите ваш крест, палачи и кровопийцы!» — И тут же упал, потеряв сознание. Несколько офицеров набросились на Русакова. Они даже не дали ему прийти в себя, схватили за ноги, выволокли во двор. Потом мы услышали выстрелы, раздавшиеся во дворе...

Фургон уже подъехал к нюгдинским садам, за которыми виднелись залитые солнцем серые плоские крыши домов. Чем ближе подъезжали к селу, тем заметнее волновался Рахмон, хотя пытался скрыть свое волнение. Он курил сигарку за сигаркой, беспокойно ерзал на месте, часто оглядываясь вокруг, а пальцы руки, в которой держал папиросу, заметно дрожали.

Перед самым въездом в село Сосун передал вожжи Шелбету. Одной рукой опершись о круп лошади, а другой о борт фургона, он ловко спрыгнул на землю.

— Вы потихоньку поезжайте, — сказал он Рахмону, улыбаясь, — а я побегу домой к вам, сообщу тете Майрам о твоём приезде и получу от нее пишкеш.

И Сосун во весь опор помчался в село.

## СВАДЬБА

Часть обширного двора старосты, обнесенного со всех сторон высокой глинобитной оградой, занимал небольшой фруктовый сад. Вокруг него и между деревьями росли кусты ярко-красных, снежно-белых и огненно-рыжих роз, нарциссы, ромашки, гвоздика, хна. По утрам, когда земля, еще мокрая от росы, дышала свежей прохладой, и вечерами разомлевшие за день от жары и будто в тихой дреме склонившие свои головки, цветы источали такой густой аромат, что казалось, сам воздух пропитан их запахами. Посреди сада, возвышаясь над другими деревьями, стояло высокое ореховое дерево с пышной раскидистой кроной. Оно было старое, местами с него отвалилась кора, обнажив полуистлевший, будто набитый гнилыми опилками, толстый, в три обхвата, ствол. И все же богатырь-орех держался крепко, жил полной жизнью и выглядел среди других деревьев, как великан среди карликов.

В часы досуга Гомуил любил коротать время в тени этого дерева, посидеть, помечтать, а иногда просто вздремнуть на подушке с потухшим кальяном во рту. И сейчас, прислонившись широкой спиной к стволу и скрестив ноги, сидел он на мягком, пестром ахтынском ковре. Перед ним на скатерти стояла четверть розового вина, лежала закуска — жареное мясо и соленые овощи.

День клонился к вечеру. Красные лучи заходящего солнца падали на стеклянную веранду двухэтажного дома Гомуила, и казалось, что она вся охвачена пламенем. Легкий ветерок играл поседевшей бородой старосты, тихо шелестел в ветвях деревьев, срывая с них пожелтевшие листья. Они, кружась в воздухе, медленно и беззвучно падали на землю, на колени старосты, на скатерть, напоминая ему об осеннем увядании, о прожитом, о давно прошедшей молодости. Откуда-то доносилась грустная, за душу хватающая мелодия. Это Рахмон играл на своей зурне. Гомуил, застыв в задумчивой позе, невольно прислушивался к печальному звукам. Казалось, они, эти звуки, вырывались из его груди, которая ныла сейчас от боли. Почти не прикасаясь к еде, он пил вино стакан за стаканом, ни на минуту не расставаясь с кальяном. Но вино не оживляло хмурого и задумчивого лица Гомуила.

Тягостные думы одолевали старосту. Поведал бы он о своих горестях и печалях кому-нибудь, облегчил бы сердце, но у него не было близкого друга, с которым можно говорить откровенно о том, что наболело на душе. Он ни от кого не ждал ни сочувствия, ни утешения. Односельчане недолюбливали и боялись его, родственники, такие же бедняки, как и многие нюгдинцы, лебезили и заискивали перед ним, клялись его именем, а за глаза завидовали, желали ему разорения. Гомуил чувствовал себя чужим даже в родной семье. Первая жена, после того как он ввел в свой дом вторую — Гюзюргул, всячески избегала его, почти не разговаривала с ним, давая этим понять, что между ними всё кончено. Да и Гюзюргул не принесла ему радости.

Вот почти тридцать лет живет он с Гюзюргул под одной крышей, склоняет голову на одну подушку, а она чувствует себя в его доме, как пленница. Её не интересуют ни дела, ни заботы Гомуила. Она равнодушна ко

всему, что волнует мужа. На ее вечно пасмурном лице он редко видел улыбку и ни разу не слышал от нее приветливого, ласкового слова. Гомуил делал все, чтобы расположить к себе эту женщину, завоевать её любовь, стереть в её душе память о первом муже. Он не жалел для нее ни денег, ни дорогих нарядов. Несмотря на свою дикую, необузданную натуру и природную грубость, он был с ней ласков и обходителен. Из-за любви к ней Гомуил, как родной, заботливый отец, относился к своему пасынку Шоулу. А когда он подрос, Гомуил, не считаясь с расходами, отвез его в город, определил в гимназию, где он учился вместе с детьми потомственных аристократов и богачей.

Годы шли своей чередой, голову и бороду Гомуила посеребрила седина, а Гюзюргул оставалась такой же чужой и бесчувственной к нему. И сейчас, как и в первые годы их совместной жизни, она, лежа с ним в одной постели, часто вздыхала о своем первом муже, посылая проклятия и смерть на голову того, кто убил его. Да и сынок её тоже хорош, нечего сказать. Не впрок пошло ему учение. Молодой, красивый, образованный, вместо того, чтобы верно служить царю, добиваться чинов, взять себе в жены какую-нибудь красавицу из богатой семьи, наслаждаться жизнью, пошел по кривой дороге, стал безбожником, смутьяном и угодил в тюрьму. Теперь много лет от него нет никаких вестей.

Добро, которое он, Гомуил, хотел сделать Гюзюргул и её сыну, обернулось злом против него же самого. Теперь Гюзюргул еще больше стала чуждаться мужа, ходит вечно хмурая, нередко упрекает его, Гомуила, за то, что он отвез сына в город учиться и этим загубил его жизнь. Но сейчас Гомуил больше всего был зол на своего единственного сына Эсефа. Сегодня, когда он сидел на майдане и беседовал с аскакалами, ему как на грех захотелось выпить. В это время, низко склонившись под тяжестью своей ноши, с полным кувшином за спиной шла с родника Хонум, которую он в мыслях уже считал своей снохой. При виде её лицо старосты расплылось в веселой улыбке. Он поманил девушку. Хонум, чуть прикрыв лицо платком, подошла к нему.

— Дай, дорогая невестушка, выпить из твоего кувшина, — по-отечески ласково произнес староста, протягивая руки.



Но девушка на этот раз, услышав эти слова от старосты, вместо того, чтобы обрадоваться и услужливо поставить перед ним кувшин, внезапно изменилась в лице, глаза её округлились, как у помешанной. Слово забыв, где она находится, Хонум, задыхаясь, закричала в истерике:

— Зачем, зачем ты, дядя Гомуил, насмехаешься надо мной?! Не я, а дочь пастуха Ишмаила твоя невестка. Твой сын, как безумный Меджнун, ходит тенью за ней повсюду.

Девушка покачнулась, из ее расслабленной руки выскользнула веревка, и кувшин, упав на землю, с грохотом разбился у ног ошеломленного старосты.

Гомуила точно вихрем унесло с майдана. Полный тревоги и гнева, староста поспешил домой. Он был до того потрясен, что у него не нашлось ни слова утешения, ни слова упрека для девушки. Гомуилу не терпелось скорее увидеть сына, схватить его за шиворот, избить, исхлестать, излить на него свою ярость. Идя домой, он вспомнил, как недавно чауш Илогу осторожно намекнул старосте о том, что Эсеф ухаживает за сестрой его батрака Сосуна и чтобы он, Гомуил, был настороже. Но староста не придавал тогда этому особого значения. Он лишь усмехнулся и ответил словами поговорки: «Мой гвоздь на стене чужого дома». Но сейчас, вспомнив об этом предупреждении Илогу, он испугался не на шутку, как бы эта пастушка не вскружила голову его доброму, но слабовольному сыну, не свела на смарку все его расчеты насчет женитьбы Эсефа на богатой невесте.

Староста сердито толкнул ногой калитку и быстро проскочил во двор. Но подойдя к дому и услышав голос Эсефа, который пел, аккомпанируя сам себе на сазе, он на минуту задержался, невольно вслушавшись в слова песни:

«О мой кипарис, царицей в сердце ты вошла,  
Никогда другой не будет власть над ним дана.  
Если прах мой, ставший глиной, превратят в кирпич,  
То любовь к тебе навеки сохранит стена...»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Стихи Саади.

То, что Гомуил сейчас услышал в песне, еще больше расстроило и разозлило его, усилив тревогу. Потеряв терпение, он ворвался в комнату и остановился на пороге. Эсеф, увидев отца, смущенно умолк, а пальцы застыли на струнах саза. Потом, точно спохватившись, он встал, повесил инструмент на гвоздь и почтительно отошел в сторону, молча ожидая, когда отец пройдет и сядет на свое место.

Гомуил осуждающе и неприязненно взглянул на сына. «Погоди, я возьмусь за тебя, харамзада, выбью дурь из головы!» — мысленно пригрозил он ему.

Но, будучи человеком хитрым, предусмотрительным, Гомуил, подавив своё негодование, решил не наказывать сына сейчас, не высказывать открыто своё недовольство и гнев, а действовать по правилу: «Если хочешь поймать жеребенка, нечего перед ним кидать вверх папаху». И он, стараясь держаться как можно спокойнее, прошел к стене, где на ковре был разостлан полосатый матрац, устало опустился на подушку. Затем, взглянув на сына, указал ему глазами место рядом с собой. Когда Эсеф сел, Гомуил, немного помолчав, заговорил мягко, почти ласково.

— Я думал, сынок, ты сам или через своих друзей дашь знать мне или матери, что ты полюбил девушку и хотел бы жениться на ней,— грустно вздохнул староста.— Но годы идут, а мы от тебя ничего подобного не слышим. Тебе уже двадцать второй год. В твоём возрасте многие имеют детей, а ты все еще ходишь неженатым. Даже от людей стыдно. Я уже старик, да и мать тоже в годах. Пока живы, хочется порадоваться на свадьбе сына, понянчить внуков, а ты не спешишь доставить нам такое счастье.

Староста умолк, посмотрел на сына с грустной улыбкой, а глаза из-под кустистых бровей настороженно и испытующе следили за выражением его лица. Эсеф слушал отца, низко опустив голову. Видя, что сын молчит, Гомуил с облегчением подумал, что, наверное, у Эсефа не было и нет никаких серьезных намерений в отношении Пери. Иначе он сказал бы ему сейчас об этом. Влюбленный как пьяный — что на уме, то и на языке. А то, что выкрикнула Хонум на майдане в состоянии истерики, было просто следствием глупой и необузданной ревности. В душе он даже осудил Хонум за

этот скандальный поступок. Если бы она не была единственной наследницей престарелого отца, Гомуил, который понимал толк в женской красоте, ни за что не женил бы своего сына на этой образине. Но при мысли о том, что наследство раби Шафада, которое он уже в мечтах считал своим, достанется другому, он готов был на все.

Успокоенный и даже ободренный молчанием сына, которое староста воспринял по-своему, он счел этот момент самым подходящим прямо и недвусмысленно сказать Эсефу о своем решении.

— Раз, сынок, ты еще не сделал выбора, я сам приметил тебе девушку из хорошей семьи. Ты её знаешь, это — Хонум, дочь раби Шафада.

При упоминании имени Хонум лицо юноши сразу вспыхнуло краской, и на нем появилось выражение отчаяния и испуга. Прошла целая минута, но Эсеф продолжал хранить молчание.

— Что же ты, сынок, молчишь,— с мягким укором сказал Гомуил.— Будь она плоха, недостойна тебя, разве я решил бы ввести её в свой дом. Учти, сынок, она единственная наследница всего состояния своего отца, который не сегодня-завтра, дай бог ему долгие годы, отойдет в мир иной. А я хочу, чтобы ты был богаче меня.

Напряженно молчавший Эсеф первый раз за всё время разговора поднял голову, посмотрел отцу прямо в глаза.

— Ты говоришь, отец, что женитьба на Хонум делает меня богатым,— с дрожащим от волнения голосом произнес Эсеф. — Богатым я, может, буду, а счастливым — никогда!

— Богатство разве не счастье, глупец!..— уже без прежней уверенности в сыне, тихо произнес Гомуил.— Последний бедняк и то мечтает о богатстве. Если бы богатство не приносило человеку счастья, разве стали бы люди из-за него, как волки, грызть друг друга, брат враждовать с братом, сосед ненавидеть соседа, а падишах посылать на падишаха свои войска?.. А тебе оно, богатство, будто ничего не стоит? — И Гомуил, уже не скрывая своей обиды и раздражения, сурово посмотрев на сына, добавил: — Я вижу, красота сестры Сосуна вскружила тебе голову. Но знай: красота не картина,

на стену не повесишь. Пери — нищенка. Да и не пристало для нашего рода вводить в свой дом дочь пастуха. Ты меня этим опозоришь! Понимаешь ты это или нет?

Эсеф вскочил, бледный и взволнованный, остановился перед Гомуилом.

— Отец, прости меня, — с отчаянной мольбой в голосе произнес юноша. — Не люблю я Хонум, не люблю! Видеть её не могу. Но если ты не позволишь мне жениться на Пери, я не переживу этого, убегу из дому, убегу куда глаза глядят!..

Гомуил невольно вздрогнул, словно от внезапного удара. В памяти жгучей молнией пронеслись слова Хонум, сказанные на майдане: «Не я, а дочь пастуха Ишмаила твоя невестка!.. Твой сын, как безумный Меджнун, ходит тенью за ней повсюду». Вспомнились и слова песни, которую только что пел сын:

«О мой кипарис, царицей в сердце ты вошла,  
Никогда другой не будет власть над ним дана...»

Это он про неё, про эту презренную пастушку, пел песню, звучащую, как клятва, как заранее приготовленный ответ отцу!..

Выпуклые глаза старосты налились кровью, а большие тяжелые руки сжались в кулаки. Он в эту минуту возненавидел единственного сына лютой ненавистью и, казалось, готов был разорвать его на куски.

— Вон!.. Вон!.. Провались с глаз моих, пока я тебя не задушил своими руками, как гаденыша, — закричал он в бешенстве и не в силах сдержать ярость, вскочив с подушки, набросился на сына с кулаками.

Эсеф, со страхом глядя на рассвирепевшего отца, поспешно попятился к двери и, открыв её, стремительно выбежал на улицу.

На крики и угрозы Гомуила из внутренней комнаты вышла Гюзюргул. Её темно-карие глаза, сохранившие молодой блеск, с длинными ресницами, смотрели на мужа строго и печально.

— Что такое?! Что случилось? — с тревогой и недоумением спросила она мужа, который продолжал бушевать, изрыгая ругань и мечась по комнате, как загнанный в клетку тигр.

— Твой сын собирается жениться на пастушке — дочери Ишмаила, вот что!.. — не глядя на жену и продолжая нервно шагать по комнате, потрясая над головой кулаками, произнес Гомуил. — И даже грозитя убежать из дому... А о Ханум, дочери раби, и слышать не желает, осел, негодяй!..

— Ах, вот оно что!.. А я думала, не дай бог, случилось что-нибудь страшное, — невольно улыбаясь, с облегчением вздохнула Гюзюргул. — Пусть женится на Пери, если она ему по душе. Девушка она красивая, здоровая, скромная. А жениться на Ханум ему, видать, не судьба.

Довольная улыбка на лице жены, её слова и спокойный тон, каким они были произнесены, вызвали у Гомуила еще более сильное раздражение. Ему хотелось ударить Гюзюргул, крикнуть на неё, сорвать на ней свою злобу. Но почему-то он, привыкший повелевать другими, всегда чувствовал себя перед этой спокойной и уравновешенной женщиной с глазами раненой газели робким и безоружным даже в припадке ярости. Поэтому, сдерживая гнев, Гомуил сказал лишь с горечью, желая уязвить жену:

— Яблоко от яблони недалеко падает. Видать, и ты и сын из одного теста слеплены, не моя в нем закваска, не моя!..

Он вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.

...И вот сидит сейчас староста под ореховым деревом, таким же старым, но еще крепким, как он сам, и перебирает в памяти печальные события сегодняшнего дня, заливая горе вином. Каждый раз при мысли о том, что с женитьбой сына на ненавистной Пери он потеряет богатство престарелого раби, сердце Гомуила обливается горечью, а из груди его вырываются стоны, как у страдающего больного.

Уже начало темнеть. Землю быстро окутывали ранние осенние сумерки. На небе зажглись первые звезды. Рахмон давно перестал играть на зурне, и все стихло, замерло вокруг. А староста продолжал сидеть под орехом, предаваясь мучительным раздумьям.

— Эй, кто там?! — вдруг сердито крикнул Гомуил.

На его зов из дому выбежала босоногая молодая служанка. Когда она подошла и с покорным видом

молча остановилась перед хозяином, староста, кивком головы указав на скатерть, приказал:

— Убери все это, а потом передай тете Гюзюргул, пусть возьмет обручальное кольцо, четверть вина и два чурека: мы с ней сейчас пойдем сватать Пери, сестру Сосуна.

Когда Гомуил с женой пришли к Сосуну, брат и сестра сидели на голом земляном полу при свете чадающей коптилки за скромным ужином. При виде гостей девушка зарделась, как мак. Она мигом вскочила с места, поспешно отошла в дальний угол комнаты и смущенно опустила голову. Встал и Сосун, немало удивленный их приходом. Беспokoйные, тревожные догадки пронеслись одна за другой в голове юноши: неужели они пришли предупредить его, чтобы он удержал свою сестру, не позволяя ей бегать за парнем, которому она, пастушка, не пара? Сомнения, которые последнее время мучили Сосуна, в одно мгновение превратились почти в уверенность, и он невольно метнул на сестру злой, угрожающий взгляд. А может, староста с женой пришли с другой, недоброй вестью: сказать ему, Сосуну, чтобы он готовился ехать в армию и что они, при всем их старании, не могут больше уберечь своего батрака от мобилизации? Больше Сосун ничем другим не мог объяснить неожиданный приход к ним домой столь важных гостей в такое позднее время. Но повинувшись священному долгу гостеприимства, он, встретив их, изобразил на лице приветливость, заставил себя улыбнуться.

— Добрый вечер,— почтительно, но сдержанно проговорил Сосун.— Добро пожаловать.

Гюзюргул, подойдя ближе, вынула из-под тонкой коричневой шерстяной шали с длинной бахромой четверть с вином, свежеспеченные чуреки и положила их на скатерть. Затем она, приветливо улыбаясь, подошла своей плавной походкой к Пери. Ласково взяв её за подбородок, она приподняла её голову и, с доброй, лукавой улыбкой глядя девушке в лицо, сказала с шутливым упрёком:

— Небось, когда моего сына видишь, ты так не вешаешь головы?..

Гюзюргул по-матерински обняла Пери, поцеловала её и повела к скатерти, посадив рядом с собой.

Гомуил, усевшись рядом со своим батраком, молча исподлобья разглядывал сейчас Пери. Никогда он не видел её так близко. В душе он все-таки вынужден был признать, что девушка очень хороша собой и что недаром она покорила сердце его сына. Но будь Эсеф умнее и практичнее, не стал бы из-за красоты, которая недолговечна, как цветок, упускать крупное состояние рабы Шафада.

— Ну что ж, жена, скажи им зачем мы пришли, ведь вы, женщины, в таких делах красноречивее нас, мужчин,— проговорил Гомуил, с добродушно-лукавой улыбкой поглядывая на жену.

Сосун насторожился, но не подал виду, решив сначала спокойно и достойно выслушать, что они собираются сказать ему.

— А чего тут много говорить,— спокойно отозвалась сразу повеселевшая Гюзюргул, обнимая Пери за плечи и притягивая ее к себе. — Лучше налей стаканы, благословием обручение этой красавицы с нашим сыном — и делу конец.

У Сосуна камень упал с души. Губы его сами собой растянулись в довольной и радостной улыбке. Он дружинисто вскочил на ноги, быстро подошел к нише в стене, скрытой под лоскутным занавесом. Взяв оттуда стаканы, Сосун поставил их на скатерть.

Гомуил казался веселым, добродушным и беспечным. Сосун первый раз в жизни видел его таким.

— Ну, что ж, в народе говорится так: «С женой советуйся, но поступай наоборот»,— пошутил староста, разливая вино в стаканы. — На этот раз я нарушу правила и охотно поступлю так, как желает моя покорная половина.

Мужчины подняли стаканы. Гюзюргул взяла руку Пери в свою и старательно надела на ее безымянный палец золотое обручальное кольцо и, крепко прижав девушку к своей груди, с чувством поцеловала в щеку.

— Да будет благословен этот брак,— с торжественной взволнованностью произнесла она. Пусть вместе с невестой придет в наш дом радость и счастье, да чтобы смиловивился грозный царь и отпустил на волю моего любимого сына Шоула.

— Аминь! — громко произнес Гомуил и все дружно чокнулись.

Гомуил вышел от Сосуна хмельной, в приподнятом настроении. Перед уходом он крепко пожал руку своему батраку, по примеру жены привлек к себе девушку, поцеловал её в лоб и вложил ей в руку новенький золотой червонец.

Спустя две недели сонную утреннюю тишину, висевшую над Ньюди, огласили пронзительные веселые звуки зурны и барабанная дробь. Друзья Эсефа еще до прихода музыкантов подготовили в середине обширного двора старосты площадку для танцев. Они её тщательно выровняли, утрамбовали, как ток для обмолота снопов, посыпали измельченной соломой. В разных концах двора кейвони в новых шелковых гянджинских платках — подарках старосты в честь свадьбы его сына, варили в огромных медных котлах на самодельных очагах свадебный суп и плов, жарили на шампурах шашлыки. От них шел вкусный аромат на всю улицу.

Двор старосты был полон гостей. Человек десять серпой едва поспевали доставлять к свадебному пиру вино, водку и самые разнообразные закуски. Опьяневшие и насыщенные едой гости, многие из которых, быть может, еще несколько часов тому назад считали Гомуила самым плохим человеком, призывали на его голову тысячи бед и смертей, сейчас под воздействием вина и впечатлением общего веселья расточали безмерную похвалу в его адрес. Они, чокаясь и перебивая друг друга, шумно превозносили щедрость Гомуила, говорили о нём как о столпе джамаата, называли его истинным мужчиной, провозглашали тосты за здоровье и счастье «весеннего соловья и цветущей розы», то есть жениха и невесты. Иные вконец охмелевшие сельчане хвалили Гомуила за то, что он, будучи богатым и знатным, женит сына на дочери пастуха и тем самым вышагает её до себя.

В разгар свадебного пира в один фургон, запряженный тройкой лошадей, посадили жениха с его близкими товарищами и музыкантами, а в другой — невесту с ее подругами и отправили на реку Григоринчай, чтобы, как это полагается по обряду, выкупаться перед венцом.

Гомуил приказал Илогу вывести из своей конюшни всех оставшихся двенадцать лошадей и раздать молодежи для сопровождения свадебного поезда. В челки и гривы лошадей вплели разноцветные ленты. По обы-



чаю, всадники, сопровождавшие невесту и жениха, устраивали на обратном пути при возвращении с реки скачки. На лбу лошади всадника, прискакавшего первым в селение, торжественно разбивали сырое яйцо, а победителю вручали приз — шелковый платок, вышитый невестой. Это считалось самой почетной наградой, и она будто сулила ее владельцу удачу.

Раздав юношам лошадей, хитрый и предусмотрительный Илогу оставил себе самого быстроходного, пятнистого иноходца, чтобы обогнать других и получить приз.

Провожать свадебный поезд вышли почти все сельчане. Здесь же находился и специальный судья, который должен был лично разбить яйцо о лоб коня отличившегося всадника и торжественно вручить ему приз. Судьей был выделен Офдум-Четверть быка.

Под звуки торжественного марша и дружные крики «ура» молодые в сопровождении двенадцати всадников двинулись к реке. Многие односельчане остались на майдане, чтобы полюбоваться веселым зрелищем возвращения свадебного поезда и узнать, который же из всадников раньше всех вернется в селение, а остальные вернулись назад во двор старосты, где продолжался свадебный пир. Среди поджидавших возвращения свадебного поезда сновали полупьяные серпои. Держа в одной руке кубки с вином, в другой — вертела с шашлыком, они подносили угощение гостям, отпуская в их адрес шутки и остроты.

Возвращения жениха и невесты пришлось ждать долго. Не прошло и часа, как из-за отдаленных лесов донеслись приглушенные расстоянием звуки зурны и барабана, возвещающие о том, что свадебный поезд тронулся обратно в село. Вскоре на окраине села, где начинаются сады, показалась фигура всадника на пятнистом коне, во весь опор мчавшегося вперед. Все сразу узнали в нём чауша Илогу. В толпе послышались возгласы, не очень лестные и доброжелательные для претендента на приз:

— На пятнистом иноходце и ребенок прискакал бы первым!

— Жаль, что этому рыжему черту Илогу достанется приз.

— Да чтоб он провалился!

А Илогу одной рукой потягивал на себя повод, чтобы придержать разгоряченного бегом коня, а другой радостно размахивал и кричал, как оглашенный:

— Едут! Едут!..

Судья Офдум, держа в правой руке наготове яйцо, а в левой — шелковый платок, степенно, с важным видом подошел к мосту. Мост был без перил, стоял над каналом, протекавшим через село. Как только чауш въехал на мост, Офдум, старательно прицеливаясь, чтобы не промахнуться, с силой бросил яйцо. Оно с треском разбилось на лбу лошади, заливая липкой бело-желтой жидкостью её левый глаз. Иноходец испуганно отпрянул в сторону, встав на дыбы, протяжно и тревожно заржал. Илогу побледнел и, потеряв равновесие, не удержался на лошади и под дружный громкий хохот собравшихся сорвался с неё и плюхнулся в канал. Гуси, важно бродившие возле канала со своими выводками, увидев упавшего в воду Илогу, всполошились, громко и сердито загоготали. Угрожающе хлопая крыльями и вытянув шеи, будто стрелы, нацеленные в сердце врага, они с яростью набросились на неудачливого наездника. Разозленные птицы принялись немилосердно щипать Илогу за нос, за рыжую бороду. А он, лежа на спине и беспомощно барахтаясь в мутной холодной воде, яростно шлепал руками и дрыгал ногами, отбиваясь от рассерженных гусей, и орал так, словно на него налетела шайка разбойников.

Вдобавок ко всему Офдум стоял на краю моста, как Азраил над душой, и, держа в вытянутой руке приз невесты, с напускным недовольством кричал сверху на него:

— Слушай, имей совесть! Долго ли мне тут стоять и сохнуть, пока ты кончишь прохлаждаться и соизволишь подойти и получить свой приз?!

Шутка Офдума вызвала новый взрыв смеха у всех. Илогу взорвало.

— Вы разве не видите, безбожники, они меня живьем съедают, эти проклятые твари?! — раздраженно закричал Илогу.

В это время один за другим уже стали подъезжать остальные всадники, вскоре показался и свадебный поезд. Встречающие дружной шумной толпой двинулись обратно к дому жениха, где во дворе старосты продол-

жался пир. А невесту и жениха развезли по своим домам.

Когда наступил вечер, жених, шествуя под руку с близкими друзьями во главе свадебной процессии, сопровождаемой музыкой и песнями, явился за невестой. Пери вышла из дому, окруженная подругами. Невеста была одета в пышное темно-зеленое платье, лицо её прикрывал огромный белый шелковый платок, спускавшийся ниже колен. Две подруги вели Пери за руки, одна из девушек шла вслед за невестой с горящей лампой в руке, другие несли подушки, посуду и все её нехитрое приданое. Музыканты сыграли грустную прощальную мелодию, которую таты называют по-своему: «Дедей вой — Гярусе берд» («Горе матери — невесту увели»).

Гомуил вместе со своими женами вышел к воротам встречать невесту. Он приподнял платок с лица Пери, поцеловал её в лоб, затем девушкам, которые вели невесту под руки, дал по золотому червонцу. То же самое проделала Гюзюргул и старшая жена Гомуила.

Илогу, который успел за это время сменить мокрую одежду, согреться у свадебного очага и взбодрить себя изрядной порцией водки, кружась возле хозяина, крикнул, что есть силы, руками и спиной расталкивая гостей:

— Э-эй, шире круг! Сейчас невеста будет танцевать!..

На танцевальную площадку вывели невесту. Сначала с ней танцевал жених. Гости, тесно прижавшись друг к другу, принялись дружно и громко хлопать, подзадоривая танцующих. Близкие и родственники совали деньги в руки невесте, бросали монеты в специальную тарелку, лежащую перед музыкантами. После жениха потанцевали с невестой Гомуил, его жены, затем ближайшие родственники.

Староста, мягко отстраняя гостей, вновь пробрался на танцевальный круг. Он предупреждающе поднял руку, подавая сигнал музыкантам сделать передышку. Затем Гомуил подошел к Пери, по-отцовски обнял её за плечи, весело, в шутливом тоне крикнул собравшимся:

— Хватит мучить мою невестку, теперь танцуйте сами, без неё!

Когда Пери подвели к двери дома, кейвони Эвшар поднесла ей на блюдечке мёд, обмакнула в него пальцы

невесты и помазала ими притолоку двери. Это означало: чтобы жизнь Пери в этом доме была такой же сладкой, как мёд. А одна из женщин под одобрительные и радостные возгласы гостей бросила над головой жениха и невесты горсть пшена, желая молодым столько же потомства, сколько зернышек было разбросано над ними.

Невесту ввели в специально отведенную для неё и жениха комнату на нижнем этаже, рядом с комнатой Гомуила. Перед тем, как войти к невесте, Эсеф, как этого требовал обычай, зашел к отцу. Взволнованный и смущенный, он покорно опустился перед ним на колени, низко склонив голову.

— Отец-джан, — дрогнувшим голосом проговорил юноша, — за все обиды и огорчения, которые я волей или неволей причинил тебе в жизни, прости меня.

Староста в знак прощения подал сыну руку. Тот, продолжая стоять на коленях, обеими руками почтительно взял её в свои, приник к ней губами. Когда сын в ту же минуту ощутил на своей голове и спине ласкающую руку отца, он вдруг почувствовал себя маленьким, и губы его дрогнули. Растроганный неожиданной лаской отца, он, как в детские годы, уткнул голову в его колени и заплакал.

— Ты что, ты что, сынок?! — смутился староста. Взяв сына за плечи, он поднял его и поцеловал в лоб. — Я тебя, сынок, прощаю, бог тебя простит. Я сделал все, что ты хотел, чтоб ты радовался, а не плакал, — произнес старик, вытирая ладонью слезы на глазах Эсефа.

Затем староста повернулся к сыну спиной, подошел к нише в стене, где стояли два стакана, наполненные водкой. В один из них, предназначенный для жениха, Гомуил незаметно высыпал какой-то серый, как дорожная пыль, порошок. Взяв оба стакана в руки, повернулся к Эсефу и с веселой улыбкой сказал:

— Ну что ж, сынок, я счастлив, что бог сохранил меня до этого радостного дня. Женить тебя, своего единственного сына, пока мои глаза видят, я мечтал всю жизнь. Сегодня моя мечта исполнилась. Сейчас, прежде чем ты войдешь к своей невесте, давай выпьем за её здоровье.

Эсеф вспыхнул от смущения. Полный радостного волнения и благодарности, он с чувством чокнулся

с отцом и выпил стакан до дна. Гомуил продержал сына возле себя еще несколько минут. Он отпустил жениха лишь тогда, когда убедился, что порошок, разбавленный в водке, уже оказывает своё действие. Эсеф с трудом держался на ногах, глаза его закатывались, как у смертельно усталого человека, который силится бороться с одолевающей его дремотой, но не может. На губах его блуждала бессмысленная улыбка.

Когда Эсеф, тяжело ступая по ковру и покачиваясь, вошел в комнату к Пери, она сидела на постели в нижней сорочке.

Эсеф, как сквозь туман, видел полураздетую невесту. На его курносом круглом лице все еще блуждала глупая пьяная улыбка. Жених что-то невнятно пробормотал заплетающимся языком и в каком-то изнеможении опустился перед девушкой.

Положив свою отяжелевшую голову на колени Пери, юноша, словно погружаясь в пучину, тотчас же забылся мертвым сном.

## ОКРОВАВЛЕННЫЙ ПЛАТОК

Проводив сына к невесте, Гомуил подождал несколько минут, затем вышел во двор. Среди гостей он отыскал старуху Эвшаг, исполнявшую обязанности главной кейвони и с необычной для Гомуила любезностью попросил её пройти с ним в комнату. Пропустив старуху вперед, староста плотно закрыл за собой дверь, опустился на подушку и предложил Эвшаг сесть, указав глазами место на ковре, напротив себя. Когда старуха села, староста посмотрел на нее приветливо и ласково, краем уха прислушиваясь к музыке, пьяным голосам гостей, которые доносились со двора. Опасаясь, что их могут услышать посторонние, Гомуил, придвинувшись поближе к кейвони, сказал ей тихим, вкрадчивым голосом:

— Эвшаг, ты должна выполнить одно моё поручение.

— Я рада служить тебе, Гомуил,— с покорной готовностью ответила удивленная Эвшаг, склонив по привычке набок голову, повязанную новым платком, подаренным ей Гомуилом в честь свадьбы сына

— Будь енге<sup>1</sup> для жениха и невесты. Со стороны невесты енге не прислали. Её брат доверяет нам, а со стороны жениха енге будешь ты.

Старуха не только не удивилась этому, наоборот, была рада и польщена предложением старосты. Быть енге считалось почетным делом, выражением большого доверия.

— Я за свою жизнь столько раз была енге, — похвасталась старуха, самодовольно улыбаясь. — Почему же я не могу услужить твоему сыну. Только... — Эвшаг, выдержав паузу, хитро посмотрела на старосту, — услуга за услугу. Не забудь приготовить для меня хороший подарок.

Староста одобрительно кивнул головой и, стараясь казаться как можно спокойнее и любезнее, с нарочитой медлительностью проговорил:

— Если ты согласна, за подарком дело не станет. Я тебе подарю не какой-нибудь платок, — показал он глазами на её голову, — а...

С этими словами староста торопливо засунул руку в карман бешмета, вытащил золотые бусы с отчеканенными расписными золотыми монетами. Он, улыбаясь, игриво поднял их, словно дразня старуху, как голодную кошку мясом.

Блеск золота словно ослепил старуху. Жадно заблестевшие глаза её быстро заморгали, и от волнения на щеках выступил румянец, а сердце сладко замерло в груди. Она представила себе, как важно будет шагать на виду у всего села с этими дорогими бусами на шее, вызывая удивление и зависть у женщин, и как все её

---

<sup>1</sup> По обычаю татов, в день свадьбы вечером к новобрачным приставляют енге (одного женатого мужчину и одну замужнюю женщину, чаще всего пожилых). Жених и невеста обязаны в тот вечер представить енге окровавленный платок — знак целомудрия невесты. А енге затем показывает его гостям. Друзья жениха идут с этим платком к родителям невесты, получают подарки. Но если невеста не смогла доказать свою невинность, то, по обычаю нюгдинцев, у нее отрезали одну косу, одевали её в чёрное мужское платье, сажали на ишака лицом к хвосту и под глумливые звуки «Обратного марша» с позором отправляли в дом родителей. Такую девушку обычно отец или брат убивали на пороге своего дома, смывая её кровью позор, наложенный ею на их честь. Если и дарили девушке жизнь, то она жила в доме своих родителей на положении рабыни, презираемая всеми. (Прим. автора.)

три невестки будут заискивать перед ней и стараться превзойти в этом друг друга, чтобы завоевать её расположение, каждая рассчитывая на то, что свекровь именно ей подарит эти бусы или завещает перед смертью.

Не дав Эвшаг опомниться, староста вложил бусы в её раскрытую ладонь. Затем, приблизив своё лицо к блаженно улыбающемуся лицу оглупевшей от неожиданно привалившего счастья старухи, староста, обдавая её винным перегаром, прошептал ей на ухо:

— Вынеси к гостям чистый платок и объяви им...— Гомуил не досказал остальное, полагаясь на сообразительность Эвшаг. Но старуха не сразу поняла, на что намекал Гомуил: зачем надо ей вдруг выносить чистый платок и показывать его гостям? Поэтому она с недоумением, но с той же глупой счастливой улыбкой на лице посмотрела на Гомуила, еще крепче сжимая в руке драгоценный подарок.

Когда Гомуил, досадуя на Эвшаг, со сдержанным раздражением повторил то, что он хотел, вернее, требовал от нее, старуха испуганно вздрогнула, но не выпустила бусы из руки. Разум старухи не принимал того, что она услышала сейчас от старосты. «Неужели он решился на такое злодейство?» — встревожилась она. Не такое это простое дело, выйти к гостям с чистым платком, не убедившись лично в нецеломудренности невесты. Нет, нет, она не возьмет такой тяжкий грех на душу, если даже Гомуил высыпет перед ней все сокровища казны русского падишаха. Рука её, крепко сжимавшая бусы, сама собой разжалась. Дорогой подарок, который старуха мысленно уже надевала на шею, змейкой сполз с раскрытой ладони, бесшумно сгрудившись на пестром мягком ковре.

— Слушай, Гомуил,— тревожно прошептала Эвшаг, бледнее,— к чему такая ненужная поспешность?! Может, какой-нибудь злой человек завязал над женихом энгюл<sup>1</sup>, поэтому...

---

<sup>1</sup> Энгюл — буквально узел. В данном случае слово «энгюл» имеет другой смысл. Суеверные таты верят в то, что путем заклинания можно помешать сближению жениха и невесты в брачную ночь. Для этого достаточно кому-нибудь завязать несколько узлов на платке или бичевке в тот самый момент, когда совершается обряд венчания. Пока узлы не будут развязаны, жених якобы не сможет соединиться с невестой.

— Не учи меня, что делать!—резко оборвал Гомуил на полуслове ошеломленную старуху, с трудом сдерживая раздражение.— Делай, что я тебе говорю. Вынесешь чистый платок и скажешь гостям, что яблоко надкушено. Ты меня поняла?..

Эвшаг внутренне содрогнулась. Она поспешно встала и в испуге вскинула вперед руки с растопыренными пальцами, словно защищаясь от чего-то страшного.

— Что ты, что ты, Гомуил, опомнись!..— прерывающимся от волнения голосом произнесла она, пятясь назад.— Я стара, одной ногой стою в могиле... Нет, нет, я не могу пойти на такое злодейство. И тебя прошу, побойся бога, не губи невинную девушку-сиротку. Я готова сию минуту бросить свой платок к твоим ногам, лишь бы ты не сделал этого<sup>1</sup>.

Эвшаг поднесла дрожащую руку к платку, но Гомуил быстро вскочил с места, предупреждая и злобно крикнул на неё:

— Не снимай платок! Не хочешь — неволить не буду.— Подойдя к ней ближе и сверля её ненавидящими глазами, угрожающе добавил:— Но если ты хоть одним словом обмолвишься о нашем разговоре, то смотри у меня, не сдобровать ни тебе, ни твоим сыновьям. А теперь убирайся вон!

— Хорошо, милый, хорошо, дорогой, повешу замок на уста и буду молчать,— заискивающим голосом произнесла старуха, у которой от страха тряслись поджилки.

Когда Эвшаг ушла, Гомуил несколько минут в волнении ходил взад и вперед, неистово дымя кальяном, мысленно ругая и проклиная старуху и ее покойников. Шум и пьяные возгласы гостей сейчас раздражали его. Гомуил не заметил, как скрипнула дверь и в комнату вошел Илогу. Пьяно улыбаясь, он весело посмотрел на старосту.

— Пришел ашуг, поёт о любви Керема и Асли. Здорово поёт, сукин сын, такой голос, такой голос...

---

<sup>1</sup> Бросить платок к ногам мужчины у татов считается выражением крайней мольбы со стороны женщины, взывающей к чести, спасти мужчины. В таких случаях, если мужчина дорожит своей честью, он не должен отказать женщине в ее вынужденной просьбе. (Прим. автора.)



Гомуил продолжал ходить по комнате, не обращая внимания на слова чауша. Заметив, что староста чем-то недоволен, расстроен, Илогу с удивлением спросил:

— Что-нибудь случилось?

Гомуил сердито обернулся и хотел махнуть рукой, чтоб он убрался к черту, но вдруг задумался. Постепенно он овладел собой, а на бородатом лице его появилось подобие улыбки. «Дурак я старый,— мысленно выругал он себя,— связался зря с этой проклятой старухой. Как это раньше не пришло мне в голову поручить это дело моему верному Илогу?» Он так обрадовался, что едва удержался от желания обнять своего чауша.

— Вот что, Илогу,— сказал Гомуил, положив свою тяжелую руку на плечо приземистого чауша,— ты будешь енге для новобрачных.

Гомуил достал из нагрудного кармана своего бешмета вчетверо сложенный чистый платок и протянул его Илогу. Тот с довольной улыбкой взял платок и радостно хихикнул, обнажив редкие острые зубы. Но когда Илогу узнал от Гомуила, что он от него хочет, голова чауша втянулась в плечи и у него на лице появилась такая мина, словно вот-вот кто-то бухнет его по голове дубинкой. Он со страхом и мольбой посмотрел на своего хозяина.

— И ты отказываешься, неблагодарный?! — вдруг расвирепел Гомуил, багровея. Он грубо и бесцеремонно толкнул чауша в грудь.— Выходи к гостям и объяви то, что я тебе приказал!

Илогу повернулся и медленно направился к двери, все еще надеясь, что староста одумается, позовет его обратно и отменит своё безумное распоряжение. Но вместо этого он услышал за своей спиной:

— У тебя ноги, что ли, отнялись, иди, не мешкай!

Илогу, как в тумане, видел сидящих на коврах веселившихся гостей, ашуга, стоявшего среди них с сазом в руках и звучным голосом певшего о том, как Керем из-за любви горел в огне...

Несколько минут он стоял как вкопанный с платком в опущенной руке. У него было такое ощущение, будто он никогда в руке не держал столь опасного и тяжелого предмета, как этот платок. И хватит ли у него сил одолеть эту тяжесть, поднять её над головой на всеобщее обозрение? Но в двух шагах от него, за дверь,

в комнате, стоял Гомуил, который, прислушиваясь, ждал. Ему почудился грозный и повелительный голос старосты: «Объяви то, что я тебе приказал!..» И чауш с видом человека, бросающегося, очертя голову, в опасный водоворот, взмахнул высоко над головой белым платком и громко произнес:

— Эй, люди! Смотрите все сюда! Вот платок невесты. Она — не девушка! Смотрите сюда, люди!

То, что выкрикнул сейчас Илогу, произвело на гостей такое впечатление, которое не поддается никакому описанию. Если бы он сейчас возвестил им, что на их село идёт дикая орда Гога и Магога и что жизнь каждого из них в опасности, наверно, и тогда это известие не вызвало бы у них такого удивления и замешательства, как это сообщение. Гостей словно вихрем подхватило, закружило, смешало. Люди сразу засуетились, забегали, натыкаясь друг на друга, точно внезапно все ослепли. Оборвалась песня ашуга. Послышались выкрики, плач испуганных детей, а коротыш Илогу при тревожно-багровом свете с шипением горящих во дворе свадебных факелов продолжал размахивать белым платком и кричать во все горло, внося все больше смятения и возбуждения среди собравшихся:

— Смотрите все!.. У невесты нет окровавленного платка!..

Через несколько минут во дворе не осталось ни одной души. Гостей будто ураганом смело и выбросило на улицу. Тотчас же с крыши дома раби Шафада раздались гулкие частые удары о медный таз и торжествующие злорадные выкрики его дочери.

— Эй, люди! Выходите все на томаше<sup>1</sup>. У сестры Сосуна нет окровавленного платка! Эй, люди!..

Она, как ведьма на шабаше, освещенная призрачным светом луны, кружилась на крыше в неистовом плясе, призывая народ полюбоваться на позор соперницы, и размеренные гулкие удары каталкой о медный таз, которыми она сопровождала свои призывы, слышались во всех концах села.

Гомуил с перекошенным от ярости лицом ворвался в комнату, где находились жених и невеста.

---

<sup>1</sup> Т о м а ш е — зрелище.

— Шлюха! Бесстыдница! — дико заорал он на ошеломленную девушку. — Вон из моего дома! Посмотри, что происходит в селе, все только и говорят о твоём позоре!..

Пьяный жених, сраженный наповал снотворным зельем, лежал, точно мертвый. Девушка, дрожа всем телом, в ужасе подняла глаза на озверевшего старика. Ей показалось, что тот сошел с ума. Она еще не успела опомниться от страха и изумления, как чьи-то руки подхватили её и с силой выволокли на улицу на поругание бурлящей, пьяной и разногласной толпе. Словно из-под земли откуда-то перед ней вырос, как символ безграничного позора и унижения, черный ишак. Те же грубые и безжалостные руки оторвали её от земли и бесцеремонно посадили на ишака лицом к хвосту. При свете луны над головой Пери блеснул кинжал. Она дико вскрикнула от боли, когда в одно мгновение отрезали ей косу — предмет гордости девушки.

— Музыканты! — послышался над толпой сердитый и повелительный голос Гомуила, в котором было скрытое торжество. — Сыграйте ей «Обратный марш!» Пусть скорее уведут эту дрянь с моих глаз!

Пери никак не могла понять, что же вокруг происходит, почему так неожиданно рассвирепел Гомуил, оскорбил, обозвал её, почему все эти люди шумят, кричат, улюлюкают, почему предают её проклятиям, ругают, поносят, бросают в неё комья грязи? Ей все это казалось каким-то кошмаром, тяжелым, путаным сном, полным ужасов, единственное спасение от которого — пробуждение. Но желанное пробуждение почему-то не наступало.

Словно издалека, сквозь шум и гвалт орущей и неистовавшей толпы она слышит чей-то торжествующий, злорадный голос, сопровождаемый какими-то гулкими ударами.

— Эй, люди! Все от мала до велика выходите на томаше: для сестры Сосуна играют «Обратный марш!» Эй, люди!..

Где она, Пери, слышала этот голос, где?.. Ах, да: ведь это же Хонум. Хонум еще тогда, когда она, Пери, вместе с Эсефом пряталась в терновнике, проклинала ее, желая ей самое позорное и страшное для девушки-невесты — «Обратный марш». Но ведь она, Пери, ни в чем

не виновна. Почему ей должны играть «Обратный марш». Почему?!

Голова Пери все ниже склоняется на грудь. Вдруг она, оглушенная и обессиленная, покачнулась и едва не упала с ишака: кто-то удержал ее и засмеялся громко, противно, затем несколько раз ударил опозоренную невесту по лицу, словно хлыстом, её же отрезанной косой, чтобы она вела себя «смирно». Какой-то внутренний голос настойчиво диктовал ей: «Зачем ты позволяешь себя везти, как ягненка на заклание? Кричи на всё село, на весь свет, что ты невинна, что тебя очернили, оклеветали недобрые люди, клянись, божись, может, народ поверит! Пусть на твой голос эхом откликнутся леса, дрогнут земля и небо, чтоб опомнились люди, поняли, какую несправедливую жестокую расправу хотят учинить над безвинной девушкой!..» Ис язык не слушался её, словно окостенел. Где же Эсеф, её любимый жених? Не он ли не раз клялся ей в любви и верности? Почему же он не встанет на ее защиту, не отстранит смело любящей рукой нависший над ней позор и угрозу смерти?! Встревоженное воображение девушки мгновенно рисует, как брат, взбешенный её «позорным поступком», замахивается на неё кинжалом, нанося ей удар за ударом. Она вздрагивает и вскрикивает, поднимая дрожащие руки перед глазами, будто защищаясь от кинжальных ударов родного брата.

Пери больше ничего не желает, ничего не ждет. Она только, как в горячем бреду, бессознательно шепчет, еле шевеля запекшимися губами: «Бог мой, бог мой, пошли мне смерть, возьми скорее мою душу, бог мой, бог мой!..»

... Когда свадебная процессия, сопровождающая жениха, приходила за невестой, Сосун, проводив сестру до порога, попрощался с ней и вернулся в дом. На душе у него было радостно и в то же время грустно. Его немногочисленные гости тоже отправились за невестой в дом жениха.

Сейчас он сидел один в опустевшем и сразу осиротевшем после ухода сестры доме, ожидая друзей жениха, которые должны были прийти к нему с платком и подарить подарок.

Ему невольно вспомнились годы, прожитые с сестрой после смерти отца, полные лишений и страданий.

В ушах Сосуна звучали прощальные слова сестры перед её уходом в дом жениха:

— Горе мне, брат, как же ты теперь будешь без меня?.. Кто разделит твое одиночество, приготовит тебе обед и встретит тебя у порога?..

Непослушные горячие слезы катились у Сосуна из глаз, стекая по щекам. Вдруг Сосун, очнувшись от дум, невольно прислушался к какому-то беспорядочному шуму, гвалту, неприятным, режущим слух звукам зурны и барабана. Эти звуки попеременно с дикими криками все больше приближались, нарастали. Удивленный, но ничего не подозревающий, Сосун торопливо вышел из дому, чтобы узнать, что происходит в селе, но тут же у своей плетеной калитки столкнулся со старухой Эвшаг. Лицо её было возбужденное и красное от волнения. Старуха с трудом переводила дыхание. Увидев Сосуна, она сразу упала ниц перед ним.

— Это твоей сестре играют «Обратный марш»!.. Но клянусь богом и памятью своих покойных, она не виновна, её оклеветали,— разом выпалила старуха плачущим голосом, не отрывая головы от земли.— Не бери грех на душу, не поднимай на неё руку!..

Сосуна будто обдали кипятком. Глаза его вспыхнули яростью. Он нагнулся, схватил старуху за плечи и, угрожающе посмотрев в её перепуганные глаза, приказал:

— Рассказывай скорее, что ты знаешь!

Старуха, поднявшись, прерывающимся от волнения голосом, с тревогой озираясь по сторонам, рассказала Сосуну обо всем, что говорил ей Гомуил, и быстро удалилась.

Минуту после ухода Эвшаг Сосун стоял, словно оглушенный громом. А процессия, оглашая тихий вечерний воздух криками, пронзительно визгливой музыкой и барабанной дробью, медленно приближалась к его дому.

Вдруг Сосун бросился в комнату и в ту же минуту выскочил оттуда с тяжелым, обнаженным кинжалом. Пробираясь пустыми, безлюдными закоулками, чтобы его никто не заметил, он подошел к глинобитной ограде, окружавшей дом старосты. Сосун легко, почти без усилия, перелез через ограду, перебежал опустевший двор.

Подойдя бесшумно к двери комнаты, где-находился Гомуил, он с силой толкнул её ногой и сразу же очутился перед старостой. Гомуил один сидел в комнате и покуривал кальян. Когда он увидел Сосуна с кинжалом в руке, кровь сразу отхлынула у него от лица и он на мгновение оцепенел от ужаса, уронив кальян из орта.

Вскочив на ноги, Гомуил прижался спиной к стене, не сводя испуганного взгляда со свирепого лица Сосуна и угрожающе блестевшего в его руке обнаженного кинжала.

— Что тебе здесь надо?! — с дрожью в голосе спросил Гомуил.

— Скажи, где твой сын?! — заслоня широкой спиной двери, — спросил Сосун, грозно сверкнув глазами.

— Его нет дома, он убежал, не выдержав позора, сам не знаю куда, — соврал Гомуил.

— Старый пес, настало время отомстить тебе за все, — с искаженным от ярости лицом крикнул Сосун, наступая на старосту.

Гомуила охватил животный страх. Он шарахнулся в сторону и с диким криком выбежал в соседнюю комнату.

— Эсе-е-еф! — завопил он так, что, казалось, от его голоса дрогнули стены.

Сосун кинулся вслед за ним к двери внутренней комнаты, чтобы не дать Гомуилу возможности закрыть её за собой.

Жених, подобрав колени к животу и положив ладонь под щеку, спал мертвецким сном. Лицо Эсефа выражало глубокое умиротворение и блаженный покой. Он чему-то улыбался во сне. Кто знает, может быть, ему в эту минуту снилось одно из тайных свиданий с Пери в «шатре»? А может, Эсеф радуется тому, что мечта его сбылась, он счастлив, что видит Пери у себя дома, рядом с собой, чувствует её дыхание, её прикосновение.

Увидев спящего жениха, Сосун левой рукой грубо схватил его за ворот рубахи и с силой приподнял. Голова Эсефа беспомощно повисла, из стесненной груди вырвались слабые глухие звуки, похожие на стон, веки были плотно закрыты.

— Он пьян, без сознания, не трогай его! — взмолился староста, от страха забившись в угол и с ужасом глядя на своего батрака.

Глаза Сосуна вспыхнули гневом. Он с ненавистью швырнул Эсефа в смятую постель, резким движением взмахнул кинжалом над головой. В тот же миг Гомуил с безумным криком: «Сы-ы-ын мо-о-ой!» бросился под его удар, прикрывая Эсефа своим телом, и тот час же дико взревел, обливаясь кровью...

## СТРАННЫЙ РАЗБОЙНИК

В полкилометра от Нюгди расположено небольшое селение Молла-Халил. В нем издавна живут азербайджанцы и лезгины. На окраине селения возвышается старинная армянская церковь, построенная из добротного тесаного камня, с высоким железным куполом, который венчает большой позолоченный крест. От церкви простирается широкая зеленая поляна, с трех сторон окруженная густым вековым лесом. Церковь стоит у узкого, но глубокого канала, заросшего по краям камышом и кустарником. По дну его с тихим журчанием течет светлый ручеек. Чтобы попасть в церковь, надо перейти по узкому железному мостику с красивыми ажурными перилами. Видимо, мостик построен руками тех же неизвестных мастеров, которые возвели в свое время и церковь с высоким сводчатым потолком и маленькими зарешеченными окнами.

Кроме церкви, ни в самом Молла-Халиле, ни поблизости нет никаких памятников или древних построек, которые напоминали бы о пребывании здесь в прошлом армян. Но южнее этих двух близких соседних сёл — Молла-Халила и Нюгди, примерно в трех километрах от них, в районе Семи родников<sup>1</sup> находится большое армянское кладбище. Высеченные на могильных камнях армянские письмена потускнели от времени, покрылись ржавым мхом. Местами кладбище заросло дубняком. На этой части кладбища деревья, раскинув зонтом свои густые кроны над надгробными плитами, охраняют вечный сон покойников, оберегая их «жилища» от разрушительных действий зноя, ветров и дождей. По всему видно, что здесь некогда находилось крупное

---

<sup>1</sup> Церковь в Молла-Халиле и армянское кладбище в районе Семи родников сохранились и сейчас. (Прим. автора.)

армянское поселение и что под этими каменными плитами покоится прах не одного поколения жителей загадочного армянского поселения. Два раза в год, весной и осенью, кладбище оживает — по краям старинных могил разрастаются какие-то высокие, пышные, ярко-зеленые растения. Наверное, когда-то здесь, вокруг могил, высаживались цветы, которые потом одичали.

Еще в начале первой четверти нашего века для многих армян, живших в древнем Дербенте, церковь в Молла-Халиле и кладбище в районе Семи родников были местами паломничества. Почти ежегодно приезжал сюда из Дербента с женой и двумя детьми на собственной арбе набожный армянин Пагос. Семья Пагоса обычно приезжала весной или в начале лета. У стен церкви, на краю поляны, где протекал ручеек, эти люди разбивали шатер, как заезжие цыгане, варили пищу на самодельных очагах. Трое суток семья Пагоса дневала и ночевала здесь, молилась под высокими гулкими сводами огромной пустой церкви с голыми стенами, посещала армянское кладбище и уезжала обратно в Дербент.

Очень часто любопытные нюгдинские юноши приходили послушать молитвы армянских паломников, которые перемежались у них с песнями. Как только те начинали петь, мертвые стены храма вдруг оживали, обретая голос, словно в них скрывались невидимые духи. Они эхом повторяли голоса паломников, и казалось, что вместе с ними поют и сами стены. Полная неизбывной тоски и горькой печали, нежной грусти и горячего призыва, гневного протеста и отчаянной мольбы, песня была рождена страдающим человеческим сердцем. Ей становилось тесно под высокими сводами храма, и она, вырываясь из открытых высоких железных дверей церкви, плыла, как волна, над застывшей зеленой поляной, задумчивым лесом, проникала в душу человека, исторгая у него вздохи и слезы.

А некоторые молодые нюгдинцы приходили сюда просто поглазеть на красивых армянских девушек, которые в отличие от местных девушек, при виде чужих мужчин не дичились, не отворачивались, не прятали глаза, держались непринужденно, смотрели свободно и гордо. Это еще больше подымало их в глазах молодых нюгдинцев, вызывая у них сердечное волнение. Не одно сердце нюгдинского юноши, податливое и быстровос-



пламеняющееся, было ранено обворожительными глазами и пленительной красотой заезжих юных армянских паломниц. Поэтому нередко после их отъезда нюгдинские юноши чаще, чем обычно, пели песню, полную тоски и нежности, о перелетной птице-журавле:

Эй, туь учиши бирей, дурна,  
Мере шендей, рафдей, дурна,  
Бура рэхь ник, софо виниш,  
Гене туь кей мией, дурна?..<sup>1</sup>

Хотя жители Нюгди и Молла-Халила относились к армянам-паломникам приветливо, но в гости к себе приглашали редко и не очень охотно. Причиной этому было то, что армяне употребляют свинину, одно лишь упоминание о которой вызывало у местных жителей неприятное чувство. Поэтому паломники, как правило, приезжали с собственной провизией, привозили с собой живых баранов, бурдюки с вином, муку, рис, посуду.

Теплым майским днем ехал Пагос в Молла-Халил.

Безмятежную тишину лесов и полей нарушал лишь монотонный перестук колес. Легкая зыбь пробегала над еще зеленой пшеницей, как по глади озера. За пшеничными полями пестрым ковром расстелились изумрудные луга. Справа от дороги стоял стеной густой лес. Сверкающими белоснежными облачками выделялись на фоне зеленых деревьев цветущие кусты терна, алычи, дикой груши и яблони, которыми изобилуют нюгдинские леса. Легкий теплый воздух был напоен ароматом трав и цветов.

Лошадью управлял сам Пагос, тучный человек лет пятидесяти с крупными чертами лица. В одной руке он держал вожжи, а другой — время от времени слегка стегал коротким кнутом смирную и усталую пегую лошадь. Пагос ради торжественного въезда, несмотря на припекавшее солнце, надел новый черный сюртук. Спной к нему сидела жена, худая смуглая женщина с тон-

---

<sup>1</sup> О ты, улетевший журавль,  
Покинув меня, умчавшийся журавль,  
Да сопутствует тебе счастье в дороге!  
Когда ты еще вернешься, журавль?

*(Подстрочный перевод.)*

кой шеей и огромными черными глазами. Дочь Пагоса — белолицая, чернобровая девушка лет восемнадцати с черными косами, пристроилась возле матери, облокотившись на туго набитый серый мешок, на котором сидел ее брат, подросток лет шестнадцати в форме гимназиста. Девушка, хотя не первый год приезжала сюда с отцом, смотрела на все вокруг с таким восторгом, будто первый раз открылись ее глаза на мир. Она, запрокинув голову, с радостно поблескивающими глазами глядела на бездонную синеву лазурного неба с застывшими кое-где сахарно-белыми облаками, с мечтательной улыбкой провожала взглядом деревья, одетые в сверкающий зеленый наряд, поля и луга, залитые ярким солнечным светом, с восторгом прислушивалась к соловьиным трелям. В отличие от сестры брат держался спокойно, со сдержанным любопытством на мальчишеском лице смотрел на всё, что открывалось его взору.

Когда семья Пагоса ехала на богомолье, Сосун в это время один брел по лесу. Под ногами у него шуршали жухлые полусгнившие прошлогодние листья, с сухим треском ложились тонкие ветки. В правой руке он держал старое двухствольное ружье, а на поясе у него висел широкий кинжал в деревянных ножнах без кожуха. Темная черкеска на нем была почти изодрана, брюки, затянутые снизу жесткими портянками из грубой домотканой бязи, были в заплатках.

Восемь месяцев прошло с той поры, когда он, тяжело ранив старосту, убежал в лес, скрываясь от преследования. Сосуну в ту ночь показалось, что он наверняка прикончил ненавистного Гомуила, отомстив сполна за позор сестры, за все обиды. Но староста выжил. Правда, рана, нанесенная Сосуну своему кровному обидчику, не прошла даром. Староста ходил теперь с искривленной шеей. Одно плечо его было опущено, как простреленное крыло раненой хищной птицы, голова поминутно дергалась. Он очень постарел, борода его побелела, как снег. Но зато Гомуилу удалось добиться своего: оклеветав Пери и с позором выгнав её из своего дома, он заставил Эсефа жениться на нелюбимой Хонум.

Оправившись от тяжелой раны, Гомуил еще больше приблизил к себе Илогу. Чтобы тот постоянно находил-

ся при нем, староста отвел ему у себя во дворе однокомнатный саманный домик. Вместо одной дворовой собаки, староста завел двух лохматых волкодавов, которых по ночам спускал с цепи. С наступлением вечера нюгдинцы стороной обходили двор старосты, опасаясь его свирепых псов. Перед окружным начальством в Касумкенте Гомуил изобразил своё ранение Сосуном как злонамеренное покушение на его жизнь за то, что он ревностно выполнял волю властей в родном селении. Гомуилу и его чаушу Илогу выдали для самозащиты боевую пятизарядную винтовку и по одному револьверу на каждого с солидным запасом патронов. Староста теперь не отлучался ни на шаг без Илогу, который, как верный пес, сопровождал его повсюду.

По просьбе Гомуила окружное начальство раза три снаряжало в Нюгди несколько вооруженных полицейских, чтобы изловить «разбойника и бунтовщика» Сосуна. Каждый раз, когда приезжали «стражи порядка и закона», староста обильно угощал их, обещая им в награду солидную сумму, если они выследят и схватят «преступника» Сосуна. И полицейские, как голодные гончие, раздраженные запахом свежего мяса, в надежде получить обещанную награду у Гомуила и заслужить похвалу своего начальства, усиленно рыскали повсюду, но поймать Сосуна им не удавалось. Стоило в селе появиться полицейским, это сразу становилось известно нюгдинцам, и они немедленно предупреждали Сосуна через сестру о грозящей ему опасности, помогая ему вовремя и надежно укрыться.

Гомуил жаждал мести. Кроме того, он боялся расправы со стороны Сосуна. Поэтому староста стремился во что бы то ни стало избавиться от этого опасного для него человека. Встревоженный безрезультатными поисками Сосуна, Гомуил все больше проникался страхом за свою жизнь. Ни личная преданность Илогу, ни злые псы во дворе, ни наличие при нем огнестрельного оружия, с которым он не расставался даже ночью, ложась спать, — не вносили успокоения в его душу. Ему всюду мерещилось нападение, острое кинжального лезвия, направленное неумолимой рукой врага в его грудь, внезапный выстрел из-за угла. Он часто видел сны, полные ужасов. И тогда на весь дом раздавался испуганный крик Гомуила. Просыпался он мокрым от холодного

пота, дрожащей рукой шарил в постели, чтобы убедиться: цел ли он, не барахтается ли в луже собственной крови.

С невыразимой горечью думал он о безвозвратно уходящих счастливых временах, когда богатые и знатные спокойно наслаждались жизнью. А теперь все меняется, все рушится на глазах. Всего каких-нибудь два-три месяца назад в столичном городе Петрограде бунтовщики опрокинули, казалось, неприступный, как гранитная скала, трон русского царя. Ни острые шашки храбрых казаков, ни граненые солдатские штыки не смогли оградить царский престол от натиска и ярости вышедшей из повиновения черни. Правда, к счастью, после свержения царя внешне будто ничего не изменилось, сохранились те же порядки в округе и в городе, да и начальство осталось почти прежнее. Но дух непокорности, как зараза, все шире и шире распространяется среди бедноты. Даже здесь, в этой глухой, казалось бы, отрезанной от мира дыре — лесном селении Нюгди, где люди жили, как рыбы в мутной воде, ничего не видели, ничего не понимали, все странным образом изменилось. Люди, как будто бы заново перерождаются, ждут каких-то перемен. Взять хотя бы этого каторжника одноглазого Рахмона. Он по-прежнему обыкновенный бедняк из бедняков, рядовой человек, а пользуется большим авторитетом среди односельчан и даже затмил авторитет его, Гомуила — богача и старосты. Теперь на майдане односельчане часто собираются вокруг Рахмона, жадно слушают его рассказы, а в присутствии старосты ведут натянутый разговор или стоят в неловком молчании. В глазах иных односельчан он чувствовал даже открытое пренебрежение и вызов.

Преступника Рахмона сельчане считают чуть ли не героем, как будто он совершил подвиг, поджигая его скирды. А его георгиевский крест и знание им русского языка, который никто здесь не знает, окончательно вскружили всем головы. До чего дошло: голодранцы настолько обнаглели — самовольно заготовливают дрова в его лесу, а завтра, того и гляди, пустят волов с плугами на его поля.

Гомуил стал подумывать о том, не перебраться ли ему с семьей в город, пока все не утрясется, не станет на своё место, в чем он не сомневался, а управление

всеми домашними делами и хозяйством возложить на Илогу. Но эту мысль Гомуил вынужден был отвергнуть. Он знал, что нюгдинцы без него заклюют Илогу, съедят его живьем. Да этот трус, оставшись один, если почувствует серьезную угрозу со стороны жителей, убежит из села, как заяц от охотника, спасая свою шкуру. Тем более у этого пройдохи нет в Нюгди никого и ничего: ни жены, ни детей, ни родственников, ни земли, что могло бы его остановить, удержать. Кроме того, переехать в город, хотя бы даже на время, означало бы наверняка потерять должность старосты, с которой он не хотел расставаться.

...Первые дни после бегства из родного села Сосуна, скрываясь от властей, нашел себе убежище в доме лезгина Гасана, у которого среди нюгдинцев было много своих кунаков — друзей. Когда миновала первая угроза, Гасан проводил беглеца на кутан, расположенный в пойме Григоринчая. Здесь, на кутане, среди чабанов были его сын и два племянника.

Лезгины с уважением относились к человеку, ставшему гачагом<sup>1</sup>, будь то из-за кровной мести или из-за ссоры с властями. Поэтому, когда старик Гасан привел Сосуна к чабанам и попросил их отнестись к нему, как к своему человеку, те не только охотно приняли его, но сразу прониклись к нему симпатией. Они укрыли Сосуна, подарили ему старое ружье и снабдили патронами. Ночевал Сосун вместе с ними в землянке. Лезгины беспокоились за безопасность своего кунака, считая делом своей чести оберегать его.

Гомуил подозревал чабанов в том, что они скрывают Сосуна. Поэтому староста не раз посылал к ним своего чауша, чтобы выследить Сосуна, обещать чабанам деньги, подарки, если они живого или мертвого Сосуна выдадут ему. Чабаны каждый раз радушно принимали Илогу, словно самого почетного гостя, угощали свежим каймаком и сыром, удивленно цокали языком и восхищенно покачивали головами, слушая разговоры Илогу о том, какими счастливыми обладателями дорогих пишекешов могли бы они стать, если бы им удалось схватить беглеца Сосуна. И они горячо уверяли его, что после обещаний и посулов старосты спят и во сне видят только

---

<sup>1</sup> Г а ч а г — разбойник, беглец.

Сосуна, горят нетерпением выследить его и выдать властям, конечно, в расчете на то, что староста Гомуил, как мужчина, сдержит своё слово. А Илогу каждый раз, чувствуя неискренность чабанов, возвращался от них с большим сомнением и слабой надеждой на успех.

Чтобы не навлечь подозрений, а еще хуже — гнев и наказание властей на своих покровителей лезгин, Сосун последнее время старался не оставаться на кутане. Он целыми днями бродил с ружьем по лесам и полям. Сосун истосковался по дому, друзьям-односельчанам. Иногда, увидев сельчан, работавших в поле, где-нибудь вдаль от проезжей дороги, он осторожно выходил из лесу, подходил к ним и отводил душу в разговоре, работая с ними. Время от времени глубокой ночью Сосун тайком пробирался в селение, чтобы навестить одинокую сестру, судьба которой его больше всего беспокоила: иссякал небольшой запас зерна и муки, который оставался дома до его бегства в лес. Единственная корова, которую неколько лет тому назад подарил им староста, была отобрана. Все эти восемь месяцев Сосун не работал, не пахал, не сеял и с тревогой думал о том, что скоро наступит время, когда сестра совершенно останется без хлеба. К тому же Илогу требовал, чтобы Пери внесла в казну подушный налог. А где взять денег?

Тягостные думы в этот погожий майский день одолевали юношу. Не зная, что делать, что предпринять, он, закинув ружье за плечо, брел с удрученным и тоскливым видом по лесу без всякой цели. И вдруг до его слуха донесся монотонный перестук колес. Отсюда, через лес, проходила дорога, которая вела в его родное селение Нюгди, а дальше — в Молла-Халил. Сосун насторожился. Боясь, что его могут заметить посторонние люди, он залег среди кустов, за толстым стволом старой раскидистой чинары, росшей в нескольких шагах от дороги. Беглец стал прислушиваться: если едут земляки, то он остановит их, поздоровается, поговорит, а если чужие, незнакомые, постарается остаться не замеченным для них, как всегда в таких случаях. Спустя несколько минут Сосун уже ловил обрывки разговора, смех. Люди, ехавшие на арбе, говорили на каком-то непонятном ему языке. Забыв об осторожности, Сосун встал на колени, пристально посмотрел на дорогу. На арбе ехали,

беззаботно и весело переговариваясь между собой, празднично одетые армянские паломники. Подпустив их на пять-шесть шагов, Сосун неожиданно, точно из-под земли, вырос перед ошеломленными паломниками. Направив на Пагоса ружье, он окриком приказал ему остановиться.

Испуганный и побледневший Пагос с силой дернул на себя вожжи. Усталая лошадь сразу остановилась, помахивая головой, словно кланялась разбойнику. Дочь Пагоса, увидев разбойника в мохнатой папахе, с ружьем, направленным на отца, с длинным кинжалом на поясе, издала пронзительный крик и, закрыв лицо руками, упала головой на грудь окаменевшей от страха матери. Не растерялся только мальчик. Он проворно запустил руку под мешок, чтобы достать спрятанный там пистолет, но встревоженный отец, догадавшись о его намерении, обернулся и сердито крикнул, угрожающе размахивая коротким кнутом:

— Вардан, не смей, щенок!..

— Не надо, не надо, сынок, заклинаю тебя всеми святыми, — едва приходя в себя, с дрожью в голосе взмолилась перепуганная женщина, продолжая держать голову дочери в своих объятиях.

— Что тебе, сынок, от нас, мирных паломников нужно?—с мягким укором в голосе спросил Пагос, стараясь казаться спокойным.

— Отдай мне твой бобожник<sup>1</sup>,— потребовал Сосун.

— Отдай, папа, отдай!— взмолилась дочь Пагоса, услышав голос разбойника.

Мальчик, сдвинув черные, изогнутые, как у сестры, брови, с нескрываемой ненавистью смотрел на грабителя.

Пагос, вынув из кармана кошелек, с тяжелым сердцем кинул его Сосуну.

— Только дай слово мужчине,— прерывистым от волнения голосом проговорил Пагос,— что ты не причинишь нам никакого зла, когда мы будем возвращаться назад.

Сосун, нагнувшись, быстро поднял кошелек. Не разглядывая содержимое кошелька, он поспешно сунул его

---

<sup>1</sup> Б о б о ж н и к — бумажник.

в карман, спокойно, со сдержанной улыбкой на лице произнес:

— Клянусь богом, я вас не трону, идите своей дорогой.

Сказав это, Сосун отвернулся и зашагал в лес.

Через три дня семья Пагоса возвращалась с богомолья. Неожиданно навстречу им из лесу опять вышел тот же самый разбойник. Хотя на этот раз ружье у него висело за плечом дулом вниз и он очень дружелюбно улыбался им, но Пагос, его жена и дети с недоумением и опаской смотрели на Сосуна, будто ожидая от грабителя и насильника, каким рисовало его их воображение, нового подвоха, нового злодеяния. Вардан, стиснув зубы, насторожился. Если разбойник пристанет к ним с новым требованием, угрозой, а еще хуже — вздумает покушаться на честь его сестры, он не даст ему спуска, выпустит в него все пули из пистолета, который теперь лежал у него за пазухой. Поэтому он не сводил с разбойника настороженного и откровенно ненавидящего взгляда. Но Сосун сделал вид, что не замечает враждебности мальчика. Остальные паломники, увидев добродушную улыбку на лице разбойника и то, что ружьем он не угрожал, несколько успокоились. Первым прервал тягостное молчание сам Сосун.

— Добрый день, дядя Пагос! — приветливо, как добродушному знакомому, кивнул он головой, шагая рядом с подводой. Но, заметив недоверчивое, напряженное выражение на их лицах, тихо добавил: — Не бойтесь, я никакого вреда вам не сделаю.

— День добрый, — с трудом выдавил Пагос, с опаской косясь на Сосуна.

Сосун, опустив голову, некоторое время шел молча, молчали и паломники, исподлобья разглядывая его. Но вот кончился лес, и паломники выехали на открытое поле, местами заросшее редким кустарником. Неожиданно из придорожного куста, дергая куцым пушистым хвостом, выскочил заяц. Он на какую-то долю секунды замер, оглянувшись на людей и поводя длинными ушами, затем, прижав их к спине, стремительно пустился наутек. На минуту все невольно устремили взгляды на зверюшку. Сосун в одно мгновение сорвал ружье с плеча и прицелился. Раздался выстрел. Заяц, высоко подпрыгнув, словно стараясь взлететь в воздух, тотчас же



беспомощно упал на бок и забился в судорогах. Сосун побежал за добычей. Схватив за задние ноги уже бездыханного зайца, он догнал арбу и положил его у ног девушки, как жертву, принесенную в её честь. Юная армянка легким кивком головы приняла её, с выражением любопытства и жалости на миловидном лице осторожно провела ладонью по мягкой теплой шерсти зайца. Девушка, подняв глаза, в первый раз посмотрела на Сосуна открыто и прямо и робко улыбнулась ему. Эта неожиданная улыбка придала Сосуну смелости.

— Дядя Пагос, ты на меня обижаешься? — совсем некстати громко спросил Сосун, шагая позади арбы. И сам же, поняв это, хотел еще что-то сказать, но густо покраснел и махнул рукой.

— Что ты, что ты, сынок? — с деланным великодушием поспешил ответить Пагос, растянув толстые губы в учтивой улыбке, боясь каким-нибудь неосторожным словом вызвать вспышку гнева у этого странного разбойника. — У меня в городе собственный дом, виноградник. А у тебя, наверно, нет ничего. Эти деньги я тебе дал, как пищекш. Они тебе нужнее, чем мне.

Сосун опустил голову и смущенно улыбнулся.

— Клянусь богом, ты прав, дядя Пагос, иначе стал бы я разве приставать к вам, как разбойник с большой дороги, — растроганным голосом проговорил Сосун.

Наивное, чистосердечное признание Сосуна показалось паломнику притворством, наглой насмешкой и издевательством по отношению к ним. «Если ты, сукин сын, не разбойник, не грабитель, почему же с кинжалом на поясе и с ружьем в руке рыскаешь по лесам, из-за угла нападаешь на мирных людей?..» — сердито подумал про себя Пагос, у которого болело сердце из-за того, что был вынужден отдать ему кошелек с деньгами.

— Я верю тебе, сынок, верю, — поспешил заверить его старик, во избежание худшего и желая поскорее отвязаться от этого опасного человека.

Жена Пагоса, особенно дети, стали прислушиваться к разговору отца с разбойником. Таты-нюгдинцы так же, как и армяне, жившие в Дербенте с азербайджанцами, хорошо знали их язык, на котором Пагос разговаривал с Сосуном. Чувствуя на себе любопытный, но все еще подозрительный взгляд девушки, Сосун обернулся к ней.

— У меня дома есть такая же сестра, как ты. Её зовут Перн, — с теплотой в голосе произнес он.

— А тебя самого как зовут? — несколько осмелев, спросила девушка.

Сосун молча отвел глаза.

— Ах, прости, тебе же нельзя назвать своего имени, — как бы извиняясь, сказала она с виноватой улыбкой.

Сосун вспыхнул. Нежелание назвать своё имя девушка могла расценить как трусость, и это оскорбляло его. И Сосун назвался. Но девушка, услышав его имя, к большому неудовольствию Сосуна, звонко расхохоталась. Он еще пуще покраснел и сердито нахмурил широкие брови. Ему показалось, что юная армянка смеется над ним, над его именем. Мать, заметив, как изменилось лицо разбойника, забеспокоилась. Она тронула рукой плечо неожиданно и совсем некстати развеселившейся дочери и с тревогой в голосе сказала ей что-то по-армянски.

— Ты не обижайся, сестра смеется потому, что тебя зовут почти так же, как ее, — больше для того, чтобы успокоить мать, включился в разговор Вардан, но без прежней откровенной настороженности и неприязни к разбойнику.

Сосун не поверил. Да и как же можно было поверить этому, если они люди разных полов, народностей, религии. И откуда может быть у него сходство в имени с этой девушкой. Насколько ему известно, у татов никогда не совпадают имена мужчины и женщины. Нет, эта девушка определённо смеялась над ним...

Девушка, как бы угадав мысли Сосуна, сказала:

— Да, брат правду сказал, меня зовут Сусанна. Как видишь, у нас с тобой похожие имена...

В ответ Сосун лишь удивленно пожал плечами и чуть улыбнулся.

Время от времени нюгдинец настороженно оглядывался, то и дело притрагиваясь к ружью, но к великой досаде и беспокойству Пагоса продолжал идти за подводой. Пагос, ослабив вожжи, прислушивался краем уха к тому, что говорили между собой молодые, предупредив на своем языке детей, чтоб во избежание беды не болтали лишнего с «бандитом». Лошадь, перестав чувствовать хозяина, замедлила шаг и жадно потянулась к сочной траве, росшей на обочине дороги. В это

время левое заднее колесо арбы зацепилось за придорожный пень. Пагос туго натянул вожжи, пытаясь подать лошадь назад и освободить колесо, но она заупрямилась. Недовольно мотая задранной кверху головой, лошадь не шла ни взад, ни вперед. Видя это, Сосун сильным рывком приподнял арбу за задок и осторожно опустил его на дорогу. Семья Пагоса с удивлением посмотрела на раскрасневшегося от натуги добродушно улыбающегося им разбойника.

— Ох, какой ты сильный! — с невольным восхищением произнесла девушка, которая совсем перестала бояться и стесняться Сосуна, а потом в виде шуточного упрека и сожаления добавила: — Эх ты, имея такую силу в руках, не работаешь, а занимаешься разбоем!..

Хотя это было сказано мягко, с улыбкой, но от этих слов лицо Сосуна залилось краской стыда. Пагос тоже встревожился: из-за легкомысленной шутки дочери могла произойти новая беда. И он сердито прикрикнул на неё, чтоб Сосун услышал.

— Сусанна! Как тебе не стыдно? Зачем ты оскорбляешь доброго человека?

— Не ругайте её, дядя Пагос, — произнес Сосун и, горько усмехнувшись, добавил: — Ведь она говорит правду...

На несколько минут между паломниками и Сосуном воцарилось неловкое молчание. Сосун шел рядом с арбой, сосредоточенно поглядывая на свои ноги, обутое в запыленные истоптанные чарыки. Потом, подняв голову, он с неловкой застенчивой улыбкой на смуглом лице посмотрел на девушку.

— Я знаю, вы меня принимаете за разбойника, злодея, а я, клянусь небом, не разбойник, не злодей, а мирный, бедный селянин. Но я не могу вернуться в родной дом — меня сразу же арестуют, заключат в тюрьму или сошлют в Сибирь, — тихо, с горечью промолвил юноша, как бы оправдываясь перед этой миловидной девушкой с открытым добрым лицом.

А еще через минуту Сосун, словно забыв, что перед ним совершенно чужие люди, которые в душе ненавидят и, может быть, никогда не простят ему насильственный грабеж, забыв о всякой предосторожности, со сдержанным волнением стал рассказывать им историю своего бегства из родного села.

История, о которой скупой, немногословно поведал Сосун паломникам, потрясла их. После его рассказа, «разбойник» предстал перед семейством Пагоса совершенно в другом свете. Гнусный поступок старосты возмутил их до глубины души. В глазах этих добрых и сердечных людей Сосун из злодея, каким они его представляли, сразу превратился в жертву злой воли.

Мальчик, глубоко взволнованный рассказом Сосуна, не смог больше спокойно сидеть на месте. Он слез с арбы и пошел рядом с Сосуном, дружелюбно и с сочувствием глядя на своего нового знакомого. Примеру брата последовала и сестра, которая в течение нескольких минут молчала, потрясенная и подавленная услышанным. В то же время в её открытом взгляде сквозило нескрываемое восхищение «разбойником». Тонкими проворными пальцами Сусанна сняла с открытой белой шеи маленький золотой медальон с красивой цепочкой и торопливо сунула его в грубую заскорузлую руку Сосуна, крепко и дружески сжав её своей маленькой рукой.

— Ты добрый, храбрый брат,— растроганно произнесла она.— Я прошу, возьми этот медальон в подарок своей сестре.

Сосун, смутившись, посмотрел на девушку и решительно покачал головой.

— Бери, бери, Сосун,— горячо поддержал Вардан сестру, обращаясь к нему, как к старому другу.

Сосуна до глубины души тронуло сочувствие этих почти незнакомых людей. Ему стало не по себе за свой недавний поступок. Острый комок подкатил к горлу и от волнения он не смог выговорить ни слова. Сосун прибавил шаг, догоняя арбу, которая шла впереди. Вынув на ходу из кармана бумажник с деньгами, он кинул его на колени Пагосу и, не глядя ни на кого, быстро свернул с дороги и поспешно скрылся в лесу.

## ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Пери сидела у горящего очага, сиротливо склонив голову на колени. Вечерело. Осенние сумерки, сгущаясь, быстро окутывали землю. Огонь отбрасывал на похудевшее и побледневшее лицо девушки красноватые

ответы. Они не оживляли, а еще больше подчеркивали болезненную худобу и печальное выражение её лица. В комнате стояла глухая тишина. Изредка с улицы доносились лай собаки, тоскливое мычание коровы, голоса прохожих.

Пери смотрела на огонь, но думы её витали далеко за стенами родного дома. Прошел год с того страшного вечера, когда Гомуил, оклеветав её, отправил в дом брата. Кошмарная картина того вечера вновь и вновь всплывала в памяти. Перед глазами возникало красное бородатое лицо Гомуила, искаженное дикой яростью. В ушах раздавались оскорбляющие её девичью честь и достоинство гнусные слова, вспоминалась позорная церемония «Обратного марша».

Гнетущее чувство подавленности, горечи и уныния с еще большей силой охватили Пери, когда она вскоре после этого узнала о женитьбе Эсефа на Хонум. Хотя она прекрасно знала, что между ней и Эсефом давно все кончено, они теперь далекие друг другу, чужие люди, но его женитьба на Хонум была таким ударом для убитой горем девушки, что она порою задумывалась: стоит ли жить? В своем несчастье она обвиняла только злую и ненавистную ей соперницу — Хонум.

На другой же день после того, как Пери оклеветали и разлучили с Эсефом, одуревшая от радости дочь раби Шафада ни от кого не скрывала злого торжества. С неутомимостью одержимой, она распускала самые дикие и гнусные слухи о Пери, стараясь еще больше очернить, опозорить её перед людьми. С неугасимой ненавистью она продолжала мстить поверженной сопернице за пережитые муки ревности, за перенесенные унижения, за пролитые слёзы.

Убитая горем Пери не выходила даже за калитку своего двора. Она не хотела встречаться ни с кем. Особенно страшила её возможная встреча с Хонум, грязные сплетни которой неотступно преследовали её, как ядовитые стрелы. Даже за водой Пери ходила вечером, когда у родника никого не было, или на рассвете, когда все еще спали.

Она была уверена, что если бы не Хонум, не было бы всех этих несчастий. Мысль о том, что её жених — Эсеф — так легко и постыдно поддался гнусному обману, поверил злобной клевете, женился на Хонум, которую

презирал и отвергал, терзала ей душу. Вспомнились летние прогулки с Эсефом, когда они забирались в кусты терна, укрытые со всех сторон ежевикой, и как он, обнимая её, клялся в вечной любви. Пери верила ему, потому что тоже любила его. Невыносимо тяжело и горько было думать, что самый любимый человек обманул, изменил, обрек на позор.

Нередко Пери, про себя проклиная Эсефа, молила бога послать ему немедленную смерть, но тут же, испугавшись своей просьбы, горячо обращалась к богу, чтобы он сохранил ему жизнь, простил...

Некрасивая, низколобая Хонум, став женой Эсефа, точно взбесилась от счастья. Иногда она, возвращаясь с родника, нарочно задерживалась у калитки Пери, выкрикивала по её адресу непристойные ругательства, заливалась громким неестественным хохотом, желая вконец извести, dokonать бывшую соперницу.

Хорошо, что после бегства Сосуна из села в доме остались два кенду с мукой. У неё есть еще свой хлеб, и она может никуда не ходить, чтобы не печалить друзей и не радовать врагов.

По вечерам Пери часто навещали тетя Майрам, жена Рахмона и старушка Эвшаг. Они подолгу засиживались у неё, старались утешить, подбодрить её, рассказывали о Сосуне, когда узнавали что-либо новое от своих сыновей и мужей.

Сегодня перед рассветом Пери, взяв кувшин, пошла к роднику за водой. Было еще темно и холодно, но на небе уже бледнели звезды. Как только Пери вышла из калитки, ей показалось, что какая-то тень метнулась в сторону и скрылась за черным плетеным забором соседа. Она вздрогнула от неожиданности и испуга. Кто это? Сосун? Да нет. Если иногда он тайком пробирался домой, то только глубокой ночью, а на рассвете он обычно торопился в лес. Кто же это мог быть? В сердце закрался страх. А может, никого не было, просто ей показалось?.. Возвращаться домой с пустым кувшином ей не хотелось, это считалось дурной приметой. Да и в доме не было ни капли воды, а днем она не решилась бы на виду у всех пойти к источнику.

«Наверно, это Илогу»,— подумала Пери. Несколько раз в это же время она видела, как чауш Илогу, прячась за углом дома, подкарауливал Сосуна. Мысль

о том, что этот негодяй охотится за её братом, вызвала новый приступ гнева в душе девушки. Она с сердцем плюнула, возмущенно приговаривая:

— Тьфу, собака, чтоб провалиться тебе сквозь землю...

Пройдя по безлюдным и безмолвным улицам сонного села, она вышла на окраину, спустилась по узкой извилистой тропе в лощину к источнику. Прозрачная вода, над которой дымился легкий белый пар, тихо струилась из-под высокого обрыва. От родника тянуло зябким холодком. В кустах уже щебетали проснувшиеся птички, проворно прыгая с ветки на ветку.

Наполнив кувшин водой, Пери поставила его на землю и продела веревку через отверстие ручки, чтобы поднять его, когда из-за кустов неожиданно показалась высокая фигура Эсефа. Пери выпустила из рук веревку, повернулась к нему спиной и, опустив голову, прикрыла лицо платком, не желая встретиться с ним с глазу на глаз. Но Эсеф молча подошел, встал перед ней.

— Пери-джан! — голос Эсефа осекся, задрожал. Он замолчал, не в состоянии говорить больше.

Дрогнуло, обливаясь горечью, бедное сердце Пери. Услышав сейчас его знакомый, бесконечно родной, ласковый голос, в первое мгновение ей показалось, что ничего страшного в её жизни не произошло, что они, двое влюбленных, как обычно, просто встретились на очередном свидании и что она опять сидит с любимым в их уютном зеленом «шатре». Но когда она вновь услышала его голос, Пери вернулась к жестокой действительности. Сердце её бешено заколотилось, словно хотело выскочить из груди, где ему стало тесно и душно. Её охватила острая ненависть к Эсефу — своему мучителю.

— Клянусь богом, после того, что случилось, моё сердце не знает покоя, мои глаза отвыкли от сна, я не нахожу себе места,— заговорил Эсеф, волнуясь и запинаясь.— Я часто на рассвете хожу возле вашего дома, чтобы услышать твой шаг, взглянуть на твоё лицо... Когда недавно ты обозвала меня собакой и пожелала мне провалиться сквозь землю, я не обиделся... Я был рад, что слышу твой голос, хотелось, чтобы ты ругала меня еще и еще, может, у тебя стало бы немного легче на душе... Во всем виноват мой отец, жестокий и бессердечный человек... Теперь я знаю, почему отец склеветал

тебя... Я ненавижу свою жену, проклиная отца... Прости меня, ради бога... Давай убежим в город, куда угодно. Я люблю только тебя и больше мне ничего, никого не надо!..

Последние слова Эсефа были произнесены сквозь слезы. Он еле сдерживал рыдание.

Девушка чуть повернула голову и исподлобья бросила робкий, трепещущий взгляд на Эсефа, но тотчас же отвела глаза. Даже ее короткий, бегло брошенный взгляд был достаточен для того, чтобы заметить, как он похудел, побледнел и осунулся, словно перенес тяжелую болезнь. Карие, всегда добродушные, веселые глаза были теперь полны печали. Ненависть в сердце Пери в одно мгновение сменилась жалостью, нежностью и горячим состраданием к этому несчастному человеку. К горлу подступил комок, слезы стали душить её. Она хотела бросить ему в лицо все, что накипело на душе, сказать, что её сердце разбито, а разбитое невозможно склеить. Но Пери не могла вымолвить ни слова, она боялась, что, как только заговорит, тут же разрыдается, выдаст себя... А к чему всё это?.. Все равно прошлого не вернуть...

Пери, крепко сжав дрожащие губы, быстро вскинула на плечи кувшин с водой и, не глядя на него, молча прошла мимо стоявшего в растерянности Эсефа.

— Пери-джан, неужели в твоём сердце не осталось любви для меня? — шагая вслед за Пери и протянув вперед руки, как нищий за подающим, умоляющим голосом проговорил Эсеф. — Разве ты не видишь, как я несчастен, как я страдаю?! Да и ты тоже... Разве я слепой, не вижу... Заклинаю тебя богом, памятью твоего отца, уедем, убежим отсюда, моя любимая, свет моих очей!..

Слова Эсефа терзали исстрадавшее и изболевшее сердце Пери. Она не в силах была слышать голос Эсефа. Ей хотелось закрыть глаза, заткнуть уши и бежать без оглядки, бежать от него, от самой себя... Еще немного, и она не выдержит этой пытки, жестокой борьбы с самой собой, сбросит с плеча кувшин, упадет в объятия любимого, уронив голову на его грудь, даст волю накопившимся слезам.

Сердце глухо билось в груди, ноги подкашивались, кувшин стал непосильно тяжелым, руки Пери едва удерживали его. Ей пришлось сделать над собой нече-



ловеческое усилие, чтобы выдержать эту пытку. Ускорив шаг, она, не глядя под ноги, бежала от любимого человека, как от смертельной опасности.

— Пери! Пери! Не убегай от меня! — отчаянным голосом человека, попавшего в беду, крикнул вслед ей Эсеф, взбудораживая утреннюю тишину глухой ложины. — Я сойду с ума, умру без тебя, слы-шишь?!

Слова Эсефа настигали Пери, как пули, и она бежала от них, чтобы не быть сраженной ими. От быстрой ходьбы кувшин болтался за спиной, холодная, почти ледяная вода выплескивалась из горлышка, заливала ей шею, спину, но она ничего не чувствовала. Лишь когда уставшая, измотанная борьбой, с трудом дыша, через силу добежала домой, она поспешно поставила кувшин у дверей и, упав ничком на голый пол, дала волю слезам, сотрясаясь от громкого судорожного плача.

Сейчас Пери, сидя у очага, вспомнила все происшедшее за день. Из горестных раздумий её вывел чей-то робкий стук в дверь.

— Кто там? — не вставая с места, усталым голосом спросила Пери.

— Это я, Хумор, — отозвался тихий голос.

Пери бесшумно отодвинула засов, открыла дверь и впустила в комнату Хумор, смуглую круглолицую девушку, которой на вид было лет пятнадцать-шестнадцать. Пери пригласила девушку сесть рядом с собой у очага. Опустившись на пол, покрытый рваным паласом, гостя вынула из-под старенького шерстяного платка небольшой ворох шерсти и веретено, ласково посмотрела на хозяйку. Глаза у неё были черные, живые, и они глядели приветливо, с легкой, доброй усмешкой.

— Да сохранит бог твоего единственного брата, дай мне, пожалуйста, какую-нибудь чашку или горшок, — обратилась она к Пери.

Пери встала, сняла с полки темный глиняный горшок, поставила перед Хумор. Та сразу принялась крутить веретено, наматывая на него шерстяную нитку. Однообразное жужжание веретена раздавалось в комнатной тишине, точно тонкое веселое пчелиное гудение.

— Что нового, Пери? — тихо спросила Хумор, подняв глаза на хозяйку.

— Ничего особенного,— ответила Пери, печально склонив голову набок.

Девушки, глубоко вздохнув, помолчали.

Хумор — вторая дочь старика Одома была тайно влюблена в Сосуна. Она тяжело переживала горе его сестры, но еще больше страдала от того, что Сосун вынужден скрываться, что его в любое время могут схватить, заключить в тюрьму и тогда она надолго, а может быть, навсегда, будет лишена радости увидеть его. Каждый вечер, ложась спать, она, с тревогой думая о Сосуне, молила бога сохранить ему жизнь и здоровье, отвести от него беды и несчастья.

Хумор не была нареченной Сосуна, поэтому девушка, стесняясь людей, не решалась часто бывать у Пери, интересоваться судьбой ее брата. Это могло вызвать пересуды и сплетни, будто она, Хумор, сама навязывается парню. Такие разговоры могли бы уронить её в глазах людей, бросить тень на её доброе имя и на честь родителей. Она хорошо усвоила, что девушка должна соразмерять каждый свой шаг со строгими правилами и требованиями родной среды, чтобы не быть ею отвергнутой. Хумор в душе уверяла себя, что Сосун тоже к ней равнодушен и что, не случись с ним несчастья, он, наверняка, засватал бы её, и теперь, быть может, она уже была бы его женой, хозяйкой в этом доме.

Ей вспомнилось начало мая прошлого года. Хумор с отцом отправилась на прополку пшеницы. День был ясный, солнечный. Над головой голубело чистое небо. Где-то в высоте лилась звонкая песня жаворонка, а в ветвях деревьев, зеленой оградой окружавших поле, раздавались веселые соловьиные трели. Вооружившись ножом, Хумор с корнем срезала сорняки.

Старик, почувствовав легкий озноб — приближение очередного приступа малярии, пошел к лесу, прилегал на траве, укрывшись овчиным тулупом. Занятая работой, Хумор не заметила, как со стороны леса, приветливо и застенчиво улыбаясь, шел прямо к ней Сосун.

— Бог в помощь! — тихо произнес юноша.

— Спасибо,— со смущенной улыбкой ответила Хумор, несмело поглядывая на юношу.

До этого они никогда не разговаривали друг с другом. Хумор знала, что Сосун, несмотря на свою молодость, очень степенен, сдержан, даже суров. Таким, вид-

но, сделала его жизнь, слишком рано возложившая на него заботы и тяготы взрослого человека. Ни от одной девушки Хумор не слышала, чтоб Сосун за кем-нибудь ухаживал, хотя многие девушки — об этом Хумор хорошо знала — тайно вздыхали по нему.

— Хумор, хочешь я тебе покажу одну вещь, — подойдя к ней ближе, запросто, с какой-то мальчишеской непосредственностью весело спросил Сосун.

— Покажи! — с готовностью ответила Хумор.

Сосун отошел к опушке леса, остановился и пальцем поманил Хумор. Она, воткнув нож в мягкую землю, смело направилась к нему. Когда девушка приблизилась, Сосун, указав рукой на один из двух зеленых кустов, росших на краю пшеничного поля, приложил палец к губам, призывая к молчанию. Опустившись на четвереньки, он, точно кошка, подстерегающая на крыше воробья, стал осторожно и бесшумно передвигаться к кусту. Только Сосун протянул руку к кусту, как вдруг оттуда, резко хлопая крыльями, выпорхнул фазан в ярком оперении, с длинным, разноцветным, как радуга, хвостом. Сосун раздвинул руками ветки и показал Хумор гнездо фазана с крохотными цыплятами. Маленькое гнездо, вырытое в земле и обложенное мягкой сухой травой по краям и по дну, так искусно было скрыто от глаз, что его почти невозможно было обнаружить.

Сосун, взяв одного птенца с нежным желтоватым пушком и подержав на ладони, передал его Хумор.

— Я давно заприметил это гнездо, — сказал он с довольным видом, глядя на покрасневшее лицо девушки, — но ждал, когда выведутся цыплята. Хочу забрать фазана вместе с его выводком. Может быть, удастся приручить. Только фазан никак в руки не дается.

Сосун вздохнул, неловко улыбаясь, взял с раскрытой ладони Хумор пискливого птенца, неуклюже и тревожно перебиравшего тоненькими розовыми лапками, и осторожно положил его обратно в гнездо.

Несколько минут они постояли молча, не зная, о чем говорить дальше. Сосун давно искал повода для серьезного разговора с Хумор. А вот сейчас, когда такой случай представился, он не находил нужных слов. Насколько этот молодой коренастый батрак был упорен и расторопен в работе, настолько он был робок и не смел с девушками.

— Почему ты не навещаешь Пери? — тихо, как просьбу, произнес он и тут же покраснел от смущения.

— Мы же с ней не подруги, а приходится просто так неудобно, — откровенно призналась девушка.

— Но ведь ты с ней и не в ссоре, — в тоне добродушной шутки сказал Сосун. — Приходи, она будет рада...

Сейчас Хумор, вспоминая о том памятном для неё дне, задумчиво и грустно улыбалась. Потом, желая хоть сколько-нибудь утешить, подбодрить Пери, сказала:

— В селе никто не любит дочь раби Шафада. Даже свекровь недовольна ею. А Эсеф, если бы ты видела, стал, как чахоточный. Она, подлая, всех сделала несчастными. Один Гомуил доволен ею, и то из-за неё ходит с кривой шеей и трясущейся головой.

Губы Пери тронула едва уловимая улыбка, а в черных глазах промелькнуло что-то похожее на злорадство. Ей все это было известно, но когда она об этом услышала от девушки, которая её любит, Пери, действительно, почувствовала на душе некоторое облегчение.

— Бог наказывает их за мои страдания, — печально вздыхая, проговорила девушка. А потом, немного помолчав, бодро добавила: — Хочешь, завтра пойдем в одно место! — Черные глаза Пери таинственно заблестели.

— Куда? — с любопытством спросила Хумор, продолжая спокойно крутить веретено.

— К Сосуну, в лес.

Хумор выпустила из рук веретено и отвела в сторону глаза, чтобы не выдать своего волнения.

— Только надо идти на рассвете, чтобы нас никто не заметил, — предупредила Пери. — Возьмем с собой мешки, как будто идём за дикими шишками и айвой. Я уже приготовила узелок с хлебом и вареными яйцами.

Уговаривать девушку не пришлось. Она сама хотела видеть Сосуна, посмотреть на него хоть издали, краешком глаза. Хотя Хумор ни разу не говорила Пери о своих чувствах к её брату, но чуткое сердце Пери догадывалось, как девушка тоскует о Сосуне. От этого Хумор становилась для нее родным, близким человеком.

Еще не рассеялась ночная мгла, как девушки с пустыми мешками вышли на дорогу, ведущую через поля

и лес в сторону Григоринчая. Не успели они пройти с полверсты, когда Пери, оглянувшись назад, увидела низкорослую фигуру Илогу. Поняв, что по неосторожности обнаружил себя, чауш сразу шарахнулся в сторону и спрятался между придорожными деревьями. Пери сразу изменилась в лице, и ее охватила жгучая ненависть к этому низкому человеку. Хумор, заметив, как поbledнела Пери, с беспокойством спросила:

— Горе мне, на тебе лица нет, что с тобой случилось вдруг?

— Проклятый Илогу идёт за нами по пятам, чтобы кишки его сгорели! — в сердцах выругалась Пери.

Хумор сразу же обернулась, но Илогу не было видно.

— Может, он решил заменить нам в дороге собаку, которую мы забыли взять с собой? — неестественно громким голосом произнесла Хумор, чтобы услышал чауш.

Девушки, забыв про свои горести и тревоги, громко расхохотались, издеваясь над чаушем.

... За последние полгода после свержения царя Гомиул и Илогу дважды ездили с подарками в окружной центр Касумкент, прося у начальства помощи для поимки «опасного бунтовщика» и «разбойника» Сосуна. Начальство, как и тогда, когда еще царь не был свергнут, благосклонно принимало подарки, обещало помочь, но полицейских уже не посылало. Для самого окружного начальства наступили беспокойные времена. Хотя повсюду во главе гарнизонов в Ахтынской, Гунибской и других крепостях, не говоря уже о городах, продолжали стоять те же царские офицеры и генералы, а у власти — те же князья и богачи, верой и правдой служившие русскому царю, но в народе не было ни прежнего повиновения властям, ни прежнего страха перед ними. Состояние народа напоминало сейчас реку во время сильных весенних дождей в горах, когда воды в ней все больше и больше прибывает и ей становится тесно в привычных берегах. Она с нарастающим грозным гулом рвет их в клочья, готовая снести всякие завалы и препятствия на своем пути. С каждым днем среди горской бедноты росла популярность большевистских агитаторов и руководителей. Они призывали ее не подчиняться властям, самовольно пахать княжеские и бекские земли, как собственные, не платя им за это ни гроша, говорили о необходимости отнять собствен-

ность и власть у богатых и передать их рабочим и крестьянам.

Под самым боком окружного начальства, в каких-нибудь пятнадцати-двадцати минутах ходьбы от окружного центра Касумкента — в маленьком селении Ашага-Стал оборванный, неграмотный старик по имени Сулейман, обладающий, к огорчению богачей и духовенства, чудесным поэтическим даром, слагает крамольные песни, хулит и поносит в них властей, мулл и знать. У многих эти песни на устах, а власти, точно парализованные сложившейся обстановкой, ничего не предпринимает, чтобы заткнуть ему рот. Даже в Нюгди, где многие не знают лезгинского языка, крамольные песни этого старика ашуга-бунтаря пользуются популярностью.

Не надеясь теперь на помощь окружного начальства, которому, видно, было сейчас не до него — старосты какого-то захудалого, отдаленного и затерявшегося среди лесов татского селения, — Гомуил приказал Илогу во что бы то ни стало выследить Сосуна, поймать или убить его.

Илогу был многим обязан своему начальнику и покровителю. Когда Илогу был еще молодым, он сбежал со своей родины Варташана после участия в каком-то тайном убийстве. Боясь наказания властей и мести родственников своей жертвы, он добрался до глухого селения Нюгди, о существовании которого едва ли подозревали его земляки. Здесь он нашел приют и защиту у нюгдинского старосты. О преступлении пришельца знал один Гомуил. Он не только не выдал беглеца, но и приблизил его к себе, сделал своим чаушем. Илогу хорошо знал, что многие нюгдинцы, в том числе и Сосун, ненавидят его не меньше, чем самого старосту, что он связан со своим покровителем одной веревкой. Поэтому чауш Илогу был готов выполнить любое распоряжение своего хозяина, даже если оно было ему не по душе.

Иногда ночью, закутавшись в теплую баранью шубу, с револьвером в руке Илогу подкарауливал Сосуна, притаившись около его дома. Но к его великой досаде Сосун ни разу не попадался ему на глаза. Сегодня на рассвете Илогу опять устроил засаду у дома Сосуна. А когда он увидел девушек, вышедших в такую рань из дому, то сразу сообразил, что они идут на свидание

с Сосуном. Чауш, спрятав шубу в кустах, решил неотступно следовать за ними, как волк за отарой, но по неосторожности обнаружил себя.

Девушки, зная о том, что Илогу следит за ними, в свою очередь, решили перехитрить его, поэтому шли медленно, совсем не по той дороге и не в ту сторону, куда им надо было идти. Небо постепенно прояснилось, край горизонта, откуда всходило солнце, слегка порозовел. Шаловливый утренний ветерок пошевеливал листвою на деревьях, причудливо расцвеченных осенью. Но трава была еще зеленой. Неподалеку уже слышался однообразный гул Григоринчая.

— А зачем нам далеко ходить, утруждать ноги,— с притворно-беспечным видом громко произнесла Хумор, остановившись у опушки леса.— Здесь тоже много айвы и шишек.

Девушки углубились в лес и начали срывать с веток мягкие, с тонкой коричневой кожурой, сладкие, как хурма, шишки, желтые плоды дикой айвы.

В лесу было тихо, сумрачно и зябло в этот ранний утренний час. Лесную тишину нарушал лишь монотонный шум близкой реки. И все же каждый шорох отчетливо доносился до слуха девушек. Они слышали, как под ногами Илогу, украдкой пробирающегося за ними, с треском ломаются сухие ветки.

Вдоволь наевшись и набрав в мешки айвы и шишек, Пери и Хумор вышли к берегу реки. По ту сторону Григоринчая тянулся лес с исполинскими деревьями, зеленели поляны, освещенные яркими, но нежаркими лучами октябрьского солнца. Река, извиваясь, стремительно бежала, как будто спешила поскорее достигнуть конца своего пути.

Илогу, не выпуская девушек из-под наблюдения, подошел к опушке леса, кончавшегося у берега. Опустившись на землю, он лег на живот, спрятавшись за широкий ствол дуба. Вдруг Хумор, приняв озорную позу, громко произнесла, чтоб её услышал Илогу.

— Пери, давай искупаемся, все равно нам спешить некуда.

— Да ты что! — притворившись удивленной, воскликнула Пери.— Стыдно, нас могут увидеть.

— Кроме рыб и зверей, нас никто не увидит,— засмеялась Хумор, нарочно поглядывая в сторону леса.

Илогу понял, что девушки хитрят, хотят провести его. Но решил не поддаваться на обман. Чауш был уверен, что купаться они не будут, вода в реке в такое время года холодная. Он в душе злился на них и в то же время посмеивался над их наивной хитростью. Но когда Хумор подошла к реке, разулась и стала ногой пробовать воду, уверенность Илогу поколебалась: «А вдруг эти странные девушки и впрямь возьмут да искупаются?!» От этой мысли он даже повеселел. Ему очень захотелось посмотреть на их голые тела, упругие девичьи груди. Он уже мысленно лапал их, жадно и грубо стискивал, прижимаясь к ним всем телом...

Несмотря на свои пятьдесят лет, Илогу не имел ни жены, ни детей. За годы жизни в Нюгди он женился много раз. Но ни одна женщина не родила ему ребенка. Прожив с женой два-три года, он обычно выгонял её, обвиняя в том, что она якобы бесплодная, и женился на другой.

Мужей, которые били своих жен, в Нюгди не осуждали. Наоборот, осуждали, если муж не бил жену, не обращался с ней сурово. Такой муж не считался достойным звания мужчины. Даже женщины смотрели на побои и суровое обращение своих мужей как на нечто должное, без чего немислима супружеская жизнь. И женщины никогда не жаловались на деспотическое обращение мужей, ибо это считалось предосудительным. Но жестокость Илогу по отношению к своим женам не знала границ. Он истязал их, иногда в порыве безумной ярости гонялся за ними с обнаженным кинжалом, грозясь убить. Поэтому нюгдинские вдовушки, к которым сватался Илогу, предпочитали оставаться вдовами, владеть полуголодное существование, чем иметь такого мужа-изверга, как он.

Вот уже пять лет Илогу жил один. Он истосковался по женщине. И сейчас, когда он услышал от девушек, что они собираются купаться, чауш даже как будто забыл о цели своего прихода. Жадно, словно голодный волк, видящий перед собой овцу с жирным курдюком, с нетерпением ждал он, когда Пери и Хумор сбросят с себя одежду, предстанут перед его алчущими глазами во всей своей прелестной наготе. Забыв о предосторожности, Илогу, стиснув зубы, нетерпеливо задвинулся на животе, громко и сладострастно простонал.



Но к большой досаде Илогу, девушки почему-то медлили. И он тогда начал сам мысленно раздевать каждую из них: сперва с одной он снял платок, потом платье. И когда Илогу, обуреваемый животной страстью, протянул руку к их шароварам, неожиданно лес наполнился шорохами, хрустом, треском, будто над лесом внезапно разразился град. Илогу невольно оглянулся. Прямо на него из лесу двигалась отара. Овцы, пощипывая траву, направлялись к реке на водопой. Огромные лохматые псы сопровождали отару. Обнажив острые, как у волков, клыки, они с неистовым лаем и взъерошенной шерстью кинулись на застигнутого врасплох растерявшегося Илогу. Чабанов не было видно поблизости. Видно, они шли позади отары. Спасаясь от собак, Илогу быстро вскочил на ноги. Судорожно обхватив руками толстый ствол старого дуба, под которым он только что лежал размечтавшись, чауш пытался взобраться на него. Но один из псов с отрезанными ушами и длинным пушистым хвостом, торчащим, как кол, успел схватить Илогу за зад, вонзив в него острые клыки. Чауш дико вскрикнул от боли и страха, сорвался и грохнул на землю. Но тут же, молниеносно вскочив на ноги, он выхватил пистолет и открыл беспорядочную пальбу. Разъяренные псы испуганно шарахнулись, продолжая наполнять лес оглушительным и сердитым лаем, готовые вновь наброситься на него. В это время слышались свист и громкие голоса чабанов, и собаки, оставив Илогу в покое, неохотно повернули назад. Чауш, воспользовавшись этим, выскочил из леса на берег. Хромая и прикрывая рукой голый окровавленный зад, он, бледный и растерянный, пугливо озираясь по сторонам, под громкий насмешливый хохот девушек быстро зашагал в сторону села.

Вскоре той же дорогой вернулись домой Пери и Хумор.

## ВТРЕЧА

Стояла поздняя осень. Деревья в лесу беззвучно роняли ослабевшие листья, а те, что еще держались на ветках, пожелтели, завяли и напоминали собой жалкие лохмотья нищего. Оголились и почернели поля.

Было раннее утро, сырое, пасмурное. Временами моросил дождь. Стая черных, чем-то встревоженных ворон, оглашая воздух сердитым карканьем, кружилась над деревьями. Все вокруг было неуютно, неприветливо и угрюмо.

Через лес по узкой протоптанной тропинке, засыпанной опавшими листьями, шел худой мужчина с густой коротко остриженной темно-каштановой бородкой. Несмотря на то, что вид у него был изможденный, человек шагал бодро и быстро, а большие светло-карие с прищуром глаза смотрели пытливо и весело. То был пасынок старосты Шоул. Он, не сбавляя шага, с волнением оглядывал родные леса и поля, жадно всматриваясь в их знакомые очертания. Они воскрешали в памяти дорогие сердцу воспоминания детства, напоминали о матери, односельчанах, с которыми он не виделся вот уже почти тринадцать лет, скитаясь по царским тюрьмам и ссылкам.

Шоул, сокращая путь в село, шел через самую глухую часть леса. Слева от тропинки, по которой он шел, тянулся неглубокий, но широкий овраг, сплошь усеянный опавшими листьями. Посреди его, тихо урча, протекал канал с глинистой холодной водой. Глухая первозданная тишина царила здесь. В воздухе пахло прелыми листьями, грибами и влажной землей. Шоул внезапно остановился, увидев под одним из деревьев большую черную буйволицу с непомерно вздутым животом. Упираясь задом о его широкий ствол, она, сердито урча, с налитыми кровью глазами пригнула голову к земле, угрожающе выставив вперед могучие острые рога. Вокруг неё, щелкая острыми белыми клыками и опустив пушистые хвосты, нетерпеливо кружились волк и волчица. Хищники, носясь взад и вперед перед буйволицей, словно в каком-то замысловатом танце, старались отвлечь внимание своей жертвы, чтобы, улучив момент, прыгнуть ей на грудь, вцепиться клыками в её горло.

Шоул сразу догадался, что буйволица тайком отбилась от стада, чтобы в укромном месте в глухой чаще леса или в густых зарослях, как часто это делают стельные буйволицы, предчувствуя приближение родов, произвести на божий свет своего детеныша. Шоул скрылся за деревом, раздумывая, как помочь животному, попавшему в беду, когда совсем недалеко вдруг

прогремел выстрел. Он невольно вздрогнул и осмотрелся. Волчица, смешно подпрыгнув, села на задние лапы, жалобно завывая и покачиваясь. Потом она, бессильно уронив голову на землю, тут же замертво свалилась на бок. Перепуганный волк шарахнулся в сторону, озираясь и поджав хвост, быстро скрылся между деревьями в лесной чаще.

Буйволица, подняв голову, сначала настороженно и испуганно огляделась вокруг, а потом, убедившись, что опасность миновала, поспешно выбралась из оврага и со всех ног побежала, тяжело подрагивая вздутым животом.

Через минуту Шоул в нескольких шагах от себя увидел широкоплечего черноусого и смуглолицего молодого человека в мохнатой папахе и рваной темной черкеске, с широким кинжалом в деревянных ножнах. В правой руке он держал ружье. Из одного ствола его еще вился дым, как из кальяна.

Пытливо взглядываясь в его лицо, Шоул, несмотря на свою близорукость, без труда узнал в нем того самого маленького батрака, который работал на его отчима Гомуила. Это был первый знакомый человек, которого он встретил, направляясь в родное село, после стольких лет разлуки. Шоул с широкой улыбкой на лице шагнул к нему и протянул руку для приветствия. Но человек с ружьем остановился, посмотрел на него отчужденно и подозрительно, всем своим видом подчеркивая, что он не намерен с ним вступать в какой-либо разговор и что было бы лучше, если тот вообще постарался бы не замечать его.

— Ты разве не Сосун сын Ишмаила? — заметив недоброжелательный приём со стороны молодого человека, прищурив глаза, спросил Шоул.

Хмурое, замкнутое лицо Сосуна вмиг преобразилось и радостно засияло, услышав знакомый голос Шоула. Он, быстро закинув ружье за плечо, подошел к нему вплотную, обхватив его за плечи, крепко обнял.

— С приездом, Шоул, с приездом, дорогой! — взволнованно произнес Сосун.

— Спасибо, спасибо, друг, я тоже рад тебя видеть, — тепло и сердечно отозвался Шоул. Потом, окинув его лукавым, испытующим взглядом, громко добавил: — Тебя, брат, не узнать, вон какой стал — прямо богатырь!

— И я тебя не сразу узнал,— извиняющимся тоном проговорил Сосун,— ты тоже изменился.

— Постарел,— чуть грустно усмехнулся Шоул.

Сосун слегка смутился.

— Не то, чтобы постарел,— солгал он, украдкой глядя на тонкие, преждевременные морщины, прорезавшие крутой лоб Шоула, на серебристые нити в темно-каштановых усах и бородке,— ты просто так сильно изменился, что не сразу можно тебя узнать.

— Знаю, знаю,— дружески кивнул он Сосуну, улыбаясь ему одними глазами.— А ты здорово разделался с волчицей, одним выстрелом,— похвалил его Шоул.— Еще несколько минут, и эти хищники извели бы вконец бедное животное, растерзали бы.

Сосун скромно улыбнулся.

— А знаешь, чья была эта буйволица? Рахмона, моего соседа,— не скрывая своего удовлетворения, проговорил Сосун.

Шоул задумчиво посмотрел на Сосуна, как бы стараясь что-то вспомнить.

— Постой, постой. Не тот ли самый Рахмон, который поджег скирды Гомуила и был из-за этого сослан в Сибирь?.. Он жив, вернулся домой?..

Сосун не удивился тому, что Шоул назвал своего отчима не отцом и не дядей, а по имени, как чужого, даже со скрытыми нотками неприязни в голосе. Он давно знал из рассказа старика Шелбета, что Гомуил не только не приходится отцом Шоулу, а является убийцей его родного отца и что это известно и Шоулу.

— Вернулся,— утвердительно кивнул Сосун головой,— на войне был, воевал, глаз один потерял. Но приехал с наградой, а по-русски говорит так бойко, будто соловьем заливаясь, — с восхищением уточнил юноша.

Шоул дружески взял Сосуна за локоть.

— Пойдем в селение, я тебе сейчас по дороге расскажу такую новость, что подпрыгнешь от радости.

Сосун покачал головой и грустно улыбнулся, глядя на Шоула.

— У тебя что, какое-нибудь неотложное дело? — спросил он молодого человека, а потом с некоторым недоумением, оглядывая его ружье, патронташ и кинжал на поясе, словно только что по-настоящему обратил на них внимание, с недоумением спросил: — Да, по-

чему ты такой вооруженный с ног до головы и ходишь в такую рань по лесу?

Сосун опустил голову.

— Убежал из селения,— после неловкого и напряженного молчания тихо проговорил он,— вот уже целый год живу в лесу...

— Убежал, говоришь? — удивленно переспросил Шоул.— Зачем, от кого?

Видя молчание и колебания Сосуна, он мягко взял его под руку, подвел к голому толстому стволу старого сваленного грозой дерева. Шоул присел. Сосун, сняв с плеча ружье, тоже опустился рядом с ним, положив двустволку между ног. Шоул достал из кармана кисет с табаком и короткую трубку. Набив её, он протянул кисет Сосуну.

— Ну, рассказывай, что произошло, как ты мог целый год жить в лесу, почему? — мягко спросил он, пытливо и выжидающе заглядывая в глаза юноши.

— Скрывался от старосты, от властей,— краснея, с раздражением и обидой в голосе, воскликнул юноша.

И он, с трудом сдерживая волнение, рассказал Шоулу о подлом поступке старосты Гомуила, о том, как этот злодей, чтобы заставить своего сына Эсефа жениться на богатой невесте, оклеветал, опозорил его ни в чём неповинную сестру...

Выслушав рассказ Сосуна, Шоул долго молчал, зажав трубку в зубах. Кроме возмущения вероломным поступком своего отчима, готового на любое преступление из-за своей ненасытной алчности, он испытывал сейчас чувство неловкости и вины из-за предательского поступка брата перед этим мужественным юношей и его сестрой.

— Да-а! Это похоже на моего отчима,— сузив глаза, сквозь зубы мрачно произнес Шоул в задумчивости. Потом тут же, дружески схватив молодого человека за локоть, бодро сказал: — Теперь тебе незачем хрониться от Гомуила, пусть он сам, как заяц, трясется перед тобой.

Сосун с сожалением покачал головой и невольно усмехнулся. То, что сказал Шоул, при всей симпатии и доверии к нему, показалось молодому нюндинцу таким же смешным и неправдоподобным, как то, что много лет тому назад говорил он теплым летним вечером

собравшимся на току его отчима землякам о том, что прародителем человека якобы была обезьяна, а иные звезды больше, чем наша Земля.

Шоул, поняв опасения и сомнения беглеца, рассказал ему, как в столичном городе Петрограде восставшие рабочие и крестьяне с оружием в руках взяли власть у богачей и что теперь по всей стране устанавливаются новые порядки в интересах трудящихся...

— Теперь ни Гомуил и ни те, кто его поддерживали, тебе не страшны, пусть сами они страшатся тебя, нас всех,— горячо, с торжествующими нотками в голосе проговорил Шоул.

Сосун стремительно вскочил на ноги, молча посмотрел на Шоула и, словно не веря своим ушам, дрогнувшим от волнения голосом, спросил его:

— Слушай, Шоул, дорогой мой, неужели это правда?!

— Да, мой друг, да, это—правда,— тоже встав с места, с дружеской улыбкой глядя в его взволнованное лицо, твердо произнес Шоул.

И Сосун, не в состоянии больше вымолвить ни слова от охватившей его безудержной радости и ликования, энергичным движением вскинул ружье вверх и, подпрыгивая на месте, словно в неистовом танце дважды выстрелил в воздух, сопровождая каждый выстрел громким гиканьем, многоголосым эхом раздававшимся вокруг.

Пока они шли, оживленно беседуя между собой, погода понемногу стала расходиться. Сквозь разрывы тяжелых облаков приветливо и весело брызнули солнечные лучи, осветив землю мягким сиянием. Всю дорогу Сосун шел, ликуя в душе: впервые за весь год он шел в родное селение не среди мрака ночи, хоронясь от людей и прячась, как вор, а открыто, смело, не боясь никого и ничего, полный радужных надежд.

Увлеченные беседой, они не заметили, как дошли до села. День был субботний. Все мужчины находились в нимазе, а женщины, в ожидании возвращения своих мужей и отцов, группами собрались у своих ворот, громко разговаривая между собой.

Увидев Шоула и Сосуна, женщины удивленно умолкли, а потом все бросились им навстречу, шумно и радостно приветствуя их.

— С приездом, о Шоул! Дай бог, чтобы ты всегда радовал глаза твоей матери!

— Да чтобы тебя миновали беды и болезни, о Сосун!

— Как ты изменился, Шоул.

Кто-то из девушек быстро побежал, чтобы сказать Гюзюргул о приезде её сына.

Старуха Эвшаг с крашенными хной волосами отвела Сосуна в сторону, желая что-то сказать ему по секрету.

— Коли ты, сынок, замышлял было убить этого старого пса, надо было добивать его до конца, — с мягким укором в голосе прошептала она ему в ухо. — Он не знает, что это я выдала, рассказала тебе о его подлом поступке, а то бы сжил меня, сатана, со свету. Все знают, как он хотел подкупить меня, чтобы оклеветать твою сестру. Я по секрету всем рассказала об этом...

И тут же Эвшаг, точно спохватившись, сразу переменяла тему разговора, с тревогой в голосе спросила Сосуна:

— Ты что, получил амнистию?... А то, не дай бог, староста и чауш увидят тебя, арестуют сейчас же.

— Да, получил амнистию. Теперь у нас будет свой староста и свой чауш, из бедняков, — ошарашил Сосун своим неслыханным ответом старуху.

Вскоре прибежала Гюзюргул, с трудом переводя дыхание от быстрой ходьбы и волнения. Она, подойдя к Шоулу и раскрыв, как крылья, руки, бросилась ему на шею. Мать долго не отпускала сына, прижимая его голову к своей изболевшей груди, осыпая её горячими поцелуями. Затем, обхватив руками лицо Шоула и всматриваясь в дорогие черты сына, залилась слезами, горестно качая головой и громко причитая:

— Сын мой, что они с тобой сделали? Ты на себя не стал похож!..

Шоул целовал сильно постаревшую мать, ласково гладил её седые волосы, успокаивал:

— Не волнуйся, мама, теперь меня больше никто в тюрьму не посадит и в ссылку не отправит.

Глядя на них, смахивали с лица набежавшие слезы столпившиеся вокруг них женщины, глубоко растроганные встречей матери с сыном после долгой разлуки.

— Хватит плакать. Вместо того, чтобы радоваться, подбодрить сына, ты его расстраиваешь! — с укором

сказала одна из женщин, украдкой вытирая краем платка повлажневшие глаза.

— Тебе-то легко говорить, а попробуй-ка сладить с материнским сердцем, — с укоризной ответила ей другая.

Узнав, что по случаю субботы все мужчины ушли в намаз, Шоул, кое-как успокоив мать, направился с Сосуном туда же. Нимаз был единственным каменным сооружением в Ньюди. У входа в него над дверью, на развернутом каменном свитке, были высечены десять знаменитых библейских заповедей.

По низким истертым каменным ступенькам намаза Шоул и Сосун поднялись на веранду, но не зашли во внутрь. В нимазе шло богослужение. Престарелый раби Шафад, облаченный в белый длиннополый атласный бешмет, стоял на амвоне и читал нараспев горькие сетования библейского пророка Иеремии, в которых он осуждал человеческие пороки и коварство.

«Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разнесит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правду не говорит, приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости...»

Дальше раби, повторяя слова господина, произнесенные устами пророка, говорил, что за то, что люди такие легкомысленные и вероломные, отрекаются от бога, «трупы их будут повержены... как навоз на поле и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их...»

Голос раби, красивый и сильный, натренированный десятилетиями на службе богу, звучал приятно и печально. Но в нем не было прежней бодрости, а главное — проникновенности. В голосе раби чувствовалась какая-то надорванность и усталость. Сам раби Шафад заметно одряхлел. Еще не так давно тонкий и юношески стройный раби сгорбился. Длинная широкая борода ассирийского царя, колечками спускавшаяся ниже груди, и густые черные брови стали совершенно седыми, как молочная пена. А живые умные черные глаза с твердым, пронизательным взглядом, потускнели, смотрели беспокойно и рассеянно.

Все молча внимали красивому и печальному голосу раби. Ближе всех к амвону сидел староста. На фоне



убого одетых односельчан он выглядел особенно нарядно. По случаю праздничного дня староста был одет в зеленый шелковый бешмет, затянутый серебряным поясом, в галифе из красного сукна. Его еще крепкие ноги обтягивали хромовые сапоги с мягкими голенищами. На крупной седой голове Гомуила красовалась высокая папаха из серебристого каракуля с широким бархатным верхом. По правую сторону от отца сидел Эсеф с безразличным ко всему, скучающим и грустным видом, а слева — верный чауш Илогу.

Покончив с пророчествами Иеремии, раби повернулся лицом к джамаату. Он широко простер высохшие руки над присутствующими и прочитал короткую молитву — благословение.

Едва раби, а вслед за ним все остальные произнесли «аминь», с места поднялся староста.

— А теперь, почтенный раби, читай благословение господину Керенскому,— обратился он к священнику, поминутно дергая парализованной головой.— Раньше духовенство молилось за царя. Теперь мы, к великой скорби нашей, потеряли нашего падишаха, но с божьей помощью обрели Керенского. Он мудро правит нами, оберегает нас от большевистских беспорядков и разных грабителей...

Среди молящихся прошел шум. Шоул тронул Сосуна за плечо, молча указал глазами, чтобы он пока остался здесь, на веранде, а сам поспешно вошел в намаз.

— Не верьте старосте! — на ходу громко бросил он, подняв руку над головой.

Неожиданное появление Шоула, его слова, обращенные к джамаату в намазе, произвели на всех ошеломляющее впечатление. Все вскочили с мест, с любопытством и почтением оглядывая Шоула.

— Это ты, Шоул?! — невольно вырвалось у старосты, пораженного встречей со своим давно пропавшим пасынком.

— Брат!.. — с радостью и тоской в голосе крикнул Эсеф, бросаясь, как маленький, к нему.

Но староста, сердито нахмутив брови, успел вовремя схватить сына за руку и усадить рядом с Илогу, который злыми кошачьими глазами оглядывал Шоула.

Шоул, не задерживаясь, быстро поднялся на амвон, не совсем вежливо отстранил рукой раби Шафада. Тот

строго и осуждающе посмотрел на Шоула, медленно сошел вниз, подошел к своему свату Гомуилу и встал между ним и Илогу.

Все притихли, собираясь слушать, о чем будет говорить им Шоул, который, как они слышали шел против царя и богатеев, из-за этого много лет просидел в тюрьмах, замерзал в Сибири.

— Товарищи! Я принес вам радостную весть! — громко произнес Шоул, обращаясь к односельчанам. — Рабочие в России, поднявшись на вооруженную борьбу, прогнали Керенского, лишили богачей власти. Рабочие и крестьяне создали свою, новую власть, которая называется Советской властью. И возглавляет её самый великий и самый справедливый и мудрый человек на земле, друг и вождь бедных, обездоленных, враг богатеев — Ленин. Отныне вся земля принадлежит не Гомуилу, не раби Шафаду и другим богатеям, которые, как паразиты, живут за счет чужого труда, а вам, беднякам, тем, кто своим потом поливает эту землю, своими руками обрабатывает её...

Раби Шафад, не желая дальше слушать «богохульные» речи, раздающиеся с амвона, где хранятся священные свитки, и глубоко оскорбленный тем, с каким интересом и нескрываемым восторгом слушают их, «впавшие в грех и блуд» его прихожане, всем своим видом выражая неподдельный гнев и возмущение, демонстративно покинул намаз.

Как только раби ушел, Гомуил, весь красный, сильно дергая головой, подошел к амвону и крикнул в гнев:

— Боль-ше-ви-и-к!.. Ха-рам-зада!.. Убирайся вон!

Выходка Гомуила вызвала открытое возмущение односельчан. Раздались крики, шум, смех. И среди этого гула голосов вдруг прогремел выстрел. В тоже мгновение в настешь открытым окне намаза, за которым лежал глубокий овраг и простирался густой лес, промелькнула маленькая коренастая фигура Илогу. Шоул, бледный, прижав ладонью раненое плечо, медленно опустился на пол.

Несколько человек одновременно бросились к раненому. В намазе поднялся невообразимый шум, раздались проклятия и угрозы в адрес Гомуила и Илогу. Рахмон со зловеще сверкающим глазом, сжав тяжелые кулаки, ринулся на Гомуила.

— Злодей, убийца!..— дрожь в гневе, заорал он на старосту, наступая на него.

Гомуил, схватив перепуганного Эсефа за руку, поспешил к выходу. На минуту задержавшись у дверей, он повернулся к джамаату и, трясаясь от охватившей его ярости, крикнул, угрожающе размахивая кулаком:

— Шакалы! Голодранцы! Погодите, я еще расквитаюсь с вами!..

Но староста внезапно умолк и изменился в лице, увидев перед собой, словно выросшую из-под земли, плотную, налитую молодой силой, грозную фигуру своего батрака Сосуна, с ружьем в руках и кинжалом на поясе. На мгновение их глаза впились друг в друга. Эсеф, мигом вырвав свою руку из руки отца, оставив его один на один с его кровным врагом, сломя голову, бросился в открытые двери нимаза...

## НОЧНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

Гюзюргул была в отчаянии. Ей казалось, что все беды и несчастья, какие только могут быть на свете, разом обрушились на её голову. Старший сын, её первенец, который столько лет томился в царских тюрьмах, замерзал и голодал в далекой Сибири, лежит раненый. Второй сын, добрый и беспомощный, как дитя, Эсеф, опасаясь мести Сосуна и проклиная свою судьбу, убежал неизвестно куда. Где он, что с ним?.. От одной мысли, что его нет возле нее и он где-то скитается, как бездомный, сердце её разрывалось на части. Её муж, Гомуил, который еще вчера был в селе первым человеком и которому все кланялись, сейчас, как узник, сидит в остроге, в том самом остроге, куда он сам сажал злостных недоимщиков, скандалистов, конокрадов. Что с ним теперь будет? Говорят, новые власти, большевики — злые и беспощадные люди. Они убивают без разбора всех богачей и благородных. Разве эти люди виноваты, если бог одних сделал богатыми, а других бедными?.. Она никак не может понять, что же заставило её сына, вскормленного и взлелеянного материнской любовью, не знавшего нужды и тягот жизни, так озлобиться, стать большевиком.

Бог свидетель, она никогда не любила своего второго мужа, не радовалась его богатству, не дорожила его вниманием. Овдовев после загадочного убийства её любимого Юсуфа, она и не думала о замужестве. Даже мысль об этом казалась ей кощунственной. Она хотела жить одна, посвятить свою жизнь будущему ребенку, сохранить до самой смерти верность памяти Юсуфа. Но Гомуил, неистовый и грозный, силой и угрозами заставил её выйти за него замуж, да простит его бог в такой тяжкий и скорбный для него час.

Но отчим все сделал для своего пасынка, что только может сделать в его положении любящий отец для своего сына, не жалел денег на его учение. А чем отплатил своему отчиму её сын, не будь худо о нём сказано? Вместо благодарности он возненавидел его, как врага.

Гюзюргул не одобряла грубости и жестокости мужа по отношению к своим сельчанам. Но какое это имеет отношение к Шоулу? Ведь он ему, кроме добра, ничего плохого не делал. За что же Шоул невзлюбил его?

Гюзюргул, сетуя на свою судьбу, сидела возле постели Шоула в доме Сосуна, куда его перенесли после ранения. В доме сейчас, кроме матери и сына, никого не было. Шоул был ранен в плечо, пуля прошла навылет, не задев кости. Больного уложили у стены, возле очага, в котором, весело потрескивая, горели сухие дубовые поленья, распространяя мягкое тепло по всей комнате. Огонь от очага отбрасывал яркие, красноватые отблески на бледное лицо больного, на голые глиняные стены. Через круглое отверстие в потолке, заменявшее окно, была видна одинокая, но очень яркая звезда на вечернем небе. В стенной нише чадилла копилка с колеблющимся красным язычком пламени. Оттуда же несло тоненькое переливчатое грустное пение невидимого сверчка.

Шоул лежал с перевязанным плечом. Подложив подушку за спину и прислонившись к стене, он, вытянув худые руки поверх одеяла, молча слушал горькое излияние матери. Продолговатое лицо его еще больше осунулось, похудело после ранения, а в короткой густой темно-каштановой бородке и усах прибавились новые седины. Большие, как у матери, светло-карие с прищуром глаза смотрели задумчиво и с грустью. Но состояние его сейчас было неплохое.

Время от времени Шоул украдкой бросал на дверь нетерпеливые взгляды. Наконец, дверь распахнулась и на пороге показалась стройная молчаливая фигура Пери. Из-под края её черного платка, накинутого на голову, торчала рукоятка кинжала. Увидев Гюзюргул, девушка смутилась, растерялась и застыла на пороге, не решаясь войти в комнату. Шоул, заметив это, приветливо и ободряюще улыбнулся ей.

— Пери, дорогая, войди, не стесняйся! — ласково произнес он.

— Войди, войди, дочка, — тоже немного смутившись при виде ее, повторила старуха, тут же переведя настороженный и беспокойный взгляд на сына, тревожно шепнула ему: — У нее, кажется, под платком спрятан кинжал!

— Не волнуйся, мама, — поспешил Шоул успокоить Гюзюргул. — Это я послал её за ним к старику Шелбету. Ты сейчас все узнаешь...

Девушка после минутного колебания смело шагнула в комнату. Подойдя к постели больного, она, вынув из-под платка кинжал с поясом, положила его перед ним на одеяло и тут же вышла во двор.

Увидев знакомый кинжал с поясом, Гюзюргул чуть не вскрикнула. Ее округлившиеся глаза так и впились в них. Задыхаясь от волнения, она, резко наклонившись, дрожащей рукой подхватила кинжал с поясом. Прижав их к груди, она замерла, закрыв глаза. По ее щекам заструились слезы. Потом Гюзюргул, открыв глаза, посмотрела на Шоула и прерывающимся от волнения голосом воскликнула:

— Сын мой! Ведь этот кинжал и пояс твоего покойного отца. Откуда они взялись!

Знакомый кинжал и пояс вдруг вернули её к далеким дням безвозвратно ушедшей юности, воскресили в памяти те недолгие счастливые дни, когда она жила с любимым человеком, напомнили о той страшной ночи, когда Юсуфа привезли в село мертвым.

От прикосновения к ним она еще более остро ощутила сейчас неумолимую тяжесть тех бедствий, которые свалились на ее плечи. И Гюзюргул, уронив голову на грудь, судорожно зарыдала, сотрясаясь всем телом.

Шоул подался вперед и здоровой рукой нежно обнял мать.

— Мама,— произнес сын, волнуясь.— Я знаю, тебе очень тяжело... И мне тоже. Но я должен рассказать тебе всю правду. Только прошу тебя, возьми себя в руки...

Но Гюзюргул продолжала громко плакать, прикладывая кинжал к глазам, губам, прижимая к сердцу, точно обнимая живого Юсуфа, с которым она не знала ни горя, ни слез, ни тревог.

Глядя на мать, видя, как она страдает, сын сам с трудом сдерживался, чтобы не плакать. Наконец, Гюзюргул, несколько успокоившись, твердо посмотрела на сына мокрыми от слез глазами и строго, словно приказывая ему, спросила:

— Скажи, кто убил твоего отца? Я должна знать об этом.

И Шоул поведал матери все, что ему было известно по рассказам старика Шелбета и лезгина Гасана.

Гюзюргул выслушала всю эту страшную историю, будто она сейчас видела сон, кошмарный, полный ужасов.

Ей вдруг стало очень душно, сердце будто сжимали тиски. Она хотела, ох, как хотела, чтобы оно разорвалось на части, чтобы пришел конец её жизни, её мучениям. Боясь потерять сознание и напугать больного сына, мать с трудом заставила себя подняться, взяла свою шаль и, не видя ничего перед собой, вышла во двор.

Шоулу еще хотелось многое сказать матери, объяснить ей, что он считает Гомуила врагом не только потому, что тот подло, злодейски убил его отца из-за угла, чтобы завладеть женой своей жертвы. Нет, не только поэтому. Если бы даже о злодействе отчима не было бы известно ему, он все равно относился бы к нему, как ко всем притеснителям и угнетателям народа, против которых борются они, большевики.

Но Шоул не стал удерживать мать: может, ей сейчас лучше побыть наедине с собой.

Как только ушла мать, Шоул, поправляя на себе одеяло, вдруг нащупал рукой в его складках какую-то маленькую бумажку, сложенную вчетверо, видно, случайно или намеренно брошенную Пери. Он развернул её, приблизив к глазам, принялся читать:

«Привет от Эсефа моей любимой Пери. Пери-джан, после всего того, что случилось с нами, я, проклиная

судьбу, решил было бежать хоть в джахандем. Но куда я могу бежать, моя любимая, свет моих очей, если моё сердце не со мной?! Я недалеко, в Молла-Халиле, скрываюсь в доме одного нашего кунака. Душа моя рвется к тебе, светлый мир без тебя кажется мне душной тюрьмой, тесной могилой. Я ни о чем не хочу думать, знать и слышать, а хочу только одного: или быть с тобой навеки, или сразу умереть на твоих глазах, я больше не в силах вынести такое мучение. Несчастный Эсеф».

Шоул, прочитав письмо, задумался. Хотя в письме ни слова не было ни о матери, ни о нём, Шоул, однако, не обиделся на брата, наоборот, письмо очень обрадовало его. Шоул невольно подумал о том, что надо поговорить с Сосуном, чтобы он не хранил зло на Эсефа, простил ему, не воспрепятствовал несчастным влюбленным соединить свою судьбу.

Из этих размышлений вывел Шоула скрип открывшейся двери. Он быстро спрятал письмо. В комнату вошел радостно возбужденный Рахмон, весело поблескивая единственным глазом. В солдатском френче, с георгиевским крестом на груди, он сегодня выглядел особенно нарядным и торжественным. Смуглые щеки Рахмона были гладко выбриты, усы с густой проседью тщательно закручены. Он весь сиял каким-то внутренним светом: вчера односельчане единодушно избрали его на своем сходе председателем сельсовета. А сегодня все от мала до велика называли Рахмона не иначе, как Сельсовет-Рахмон... Вслед за Рахмоном вошел его заместитель Сосун. Он был вооружен с ног до головы: за плечом висел карабин, сбоку — пистолет, изъятые в доме Гомуила, а на поясе — большой кинжал в деревянных ножнах. Другой карабин, принадлежавший Илогу, отдали Рахмону.

Спустя минуту в комнате появились члены сельского Совета — старик Шелбет и Офдум-Четверть быка.

— Давайте рассаживайтесь и рассказывайте, что делает новая власть, — добродушно-шутливым тоном проговорил Шоул, весело поглядывая на своих односельчан.

Рахмон и Офдум уселись возле постели Шоула, а Шелбет устроился ближе к очагу. Несмотря на то, что был конец осени, он ходил в той же одежде, что и летом: в белых запатанных бязевых шароварах и бязевой рубашке. Сосун вышел во двор и вскоре вернулся

с большой охапкой дров, положив их возле очага. Он бросил несколько поленьев в огонь. Дрова сразу вспыхнули, с треском загорелись, легкие искорки, словно живые светлячки, быстро полетели вверх через зияющее в крыше темное отверстие. В пустой комнате сразу стало светлее и уютнее. Старик Шелбет, растопырив сухие ладони перед огнем и озаренный его красноватым светом, блаженно улыбался, вертя головой на тонкой морщинистой шее.

— Сидеть долго не будем,— предупредил Рахмон.— Надо идти в намаз. Народ уже собирается.

Все согласились с ним.

Вынув из кармана несколько помятых засаленных листков бумаги, испещренных кривыми буквами и цифрами, написанными неумелой рукой по-русски, Рахмон бережно разглядел их. Затем, поглядывая на свои записи, он с бодрыми, довольными нотками в голосе доложил Шоулу о результатах замера земель, принадлежащих Гомуилу, численности его скота, о разных товарах, изъятых из его лавки, которые, согласно решению сельсовета, будут распределены в первую очередь среди остро нуждающихся жителей.

Никогда еще в помещении нюгдинского намаза не собиралось столько людей, сколько в этот вечер. Рядом с мужчинами сидели, тесно прижавшись друг к другу, женщины, которых раньше вообще не пускали в намаз, как «нечестивых существ и отроде дьявола». Нюгдинцы, словно забыв, что они находятся в божьем храме, перебрасывались шутками, шумно разговаривали, курили, спорили. При свете единственной железной керосиновой лампы, подвешенной возле амвона к потолку, в густом табачном дыму лица людей виднелись, как в сизом тумане. Возле амвона на полу лежало несколько мешков соли, сахара, ящики с мылом, тюки мануфактуры, с десяток ружей и целая горка ружейных патронов, начиненных порохом и свинцом. Все это было изъято в кладовых богача Гомуила.

Шоул и члены сельского Совета во главе с Рахмоном стояли на амвоне. Рахмон выступил вперед и попросил собравшихся соблюдать тишину. Все сразу умолкли, когда начал говорить Шоул.



— Товарищи, с этого амвона раби возносил молитвы богу, читал вам сладкие, но пустые и ложные проповеди о вечном блаженстве, которое будто ожидает на том свете того, кто будет безропотно гнуть спину на богачей, отдавать плоды своих рук духовенству, жертвовать своим благом ради их счастья и процветания, и грозил вечной царой тем, кто осмелится поступить иначе. С этого амвона наши духовные отцы благословляли кровавых царей и деспотических правителей, которые держали народ в крайней нищете, беспросветном рабстве, в постоянном страхе.

Тихий, усталый голос Шоула становился звонче и тверже, а собравшиеся с напряженным вниманием и волнением слушали оратора.

Он говорил о тех обидах и притеснениях, которые причиняли богачи и царские чиновники беднякам, рассказал о преступлениях своего отчима Гомуила, которые сходили ему с рук потому, что такие же богачи, как он, сидящие в окружной администрации, поддерживали его, о первых декретах Советской власти, о светлых перспективах, которые открывает она перед народом. Своё выступление он закончил под одобрительный гул собравшихся страстным призывом горячо поддержать мероприятия молодой Советской власти.

Нимаз загудел, как улей, в котором поворошили палкой, когда Рахмон с бумагой в руке объявил, что он сейчас прочтет список, кого из сельчан решено наделить землей за счет конфискованных земель старосты и кто из крайне нуждающихся получит мануфактуру.

Рахмону не дали договорить. Раздались нетерпеливые голоса:

— Давай, объяви сперва о земле!

— Правильно! Покойник хоть три аршина земли имеет, а у меня и того нет!

— Только чтобы по-божески, по справедливости! Не так, чтоб одному досталась жирная земля, а другому — чахлая!

Поправляя на ходу сползавшую с плеч рваную рубашку, к амвону подошел старик Одом, постоянно болеющий малярией. На минуту все стихли, ожидая, что собирается сказать им дедушка Одом. Старик сначала бросил горящий взор в сторону разноцветных тюков, а потом повернулся к амвону, где стояли Шоул и пред-

ставители новой власти в селе: Сельсовет-Рахмон, Сосун, Офдум и Шелбет. Приподнявшись на цыпочки и угрожающе размахивая над головой сжатым кулачком, он что есть силы заговорил тоненьким петушиным голоском:

— Я требую, коли теперь наша власть, дать мне не только хорошей земли, но также и хорошего ситца, иначе, клянусь небом, может произойти смертоубийство!

И старик, покраснев от натуги и волнения, затрясся так, словно его опять схватил приступ малярии.

— Что за угроза?!— с притворным возмущением крикнул на него Офдум-Четверть быка, озорно вращая глазами.

Рахмон выступил вперед и, склонившись над перилами амвона, обратился к старику с шутливым упреком:

— Если ты такой храбрый, почему не убил Гомуила и Илогу, когда они мучили нас, а нам теперь грозишь?..

Люди громко засмеялись: у всех было возбужденное, веселое настроение. Старик пропустил все это мимо ушей, энергично мотнув головой, заговорил предостерегающе:

— Да, не ручаюсь, может произойти смертоубийство. Мочи моей нет дальше терпеть такое. У меня, начиная со старухи, кончая дочерьми, все раздетые, прикрыться им нечем. Даже за водой они ходят теперь по ночам, когда никого нет на улице. Не могу же я на старости лет втапывать в грязь свою мужскую честь — ходить с кувшином за водой.

Слова старика больно кольнули Сосуна в сердце. Он уже смотрел на Одома как на своего будущего тестя, в то же время почувствовал неловкость за то, что сказал старик здесь во всеуслышание.

Одом хотел еще что-то сказать, но голос его дрогнул, на глазах выступили слёзы.

— Садись на место, дедушка Одом, мы учтём твою просьбу, — успокоил его Шоул.

Старик смущенно покрутил опущенной головой, нервно передернул плечами и, провожаемый добродушным смехом, сочувственными улыбками односельчан, направился обратно к своему месту.

Рахмон, вперив единственный глаз в бумагу, которую он при свете керосиновой лампы, окутанной табачным дымом, только что начал читать, когда в помеще-

ние намаза стремительно вбежал взволнованный и запыхавшийся лезгин Гасан с ружьем за спиной, подпоясанный патронташем и широким кинжалом. Худощавое лицо Гасана, обросшее седой, клочковатой щетиной, было возбуждено и красно. Все разом умолкли, глядя на Гасана, чувствуя, что он пришел предупредить их о чем-то тревожном и неприятном.

— Кунаки! — взволнованным голосом крикнул Гасан, обращаясь ко всем. — Богачи нашего селения и Аглаби<sup>1</sup> сколотили вооруженную банду. Они сегодня же ночью хотят напасть на вас, сжечь и разграбить ваше село, отомстить вам за поддержку большевиков. Их ведет сюда ваш односельчанин — чауш Илогу. Не теряйте попусту время, они уже находятся в пути!..

Грозное известие встревожило всех. Нюгдинцы окружили Гасана и начали наперебой задавать ему вопросы. Некоторые бросились было бежать, но голос Шоула остановил их.

— Товарищи, — громко произнес Шоул, поднимая над головой здоровую руку с гневно сжатой кулаком. — Враги хотят запугать нас, чтобы мы отказались от Советской власти. Они хотят, чтобы все было, как при кровавом царе Николае, посадить вновь на нашу шею Гомуила и ему подобных насильников. Дадим отпор вражеской вылазке! Сила и правда за нами!..

Вдруг среди всеобщего молчания вновь раздался тонкий, пронзительный голосок старика Одома, который был уверен, что непременно получит от новой власти и хорошую землю, и хороший ситец.

— Будь они прокляты, кровопийцы! — Он решительно сбросил с плеч шубу и вышел вперед, с жаром ударив кулачком в воинственно выпяченную чахлую грудь, измученную малярией. — Пусть попробуют сунуться!.. Дайте и мне ружье! Я сам пойду сражаться с ними. Это из-за них у меня весь женский пол сидит, извините, нагишом!..

На этот раз слова старика вызвали у всех не сочувственные улыбки и добродушный смех, а гул одобри-

---

<sup>1</sup> Аглаби было заселено тогда исключительно татами. Селение Нюгди за сочувственное отношение его жителей к большевикам действительно было сожжено и разграблено контрреволюционной бандой. (Прим. автора.)

тельных возгласов и негодующие выкрики по адресу налетчиков.

Шоул призвал народ соблюдать тишину и от имени Советской власти, всего нюгдинского джамаата выразил Гасану сердечную благодарность за его благородный поступок. Гасан, гордый и польщенный словами Шоула, громко произнес в ответ:

— Я приехал не один. Со мной мой сын и племянник. И мы будем вместе с вами защищать ваше селение, ваши дома.

Основная группа вооруженных нюгдинцев вместе с лезгином Гасаном, его сыном и племянником засела в засаде за высокой оградой сада, возвышавшейся над дорогой при въезде в село, откуда ожидали появления ночных пришельцев. Её возглавили Шоул и Рахмон. Остальные, во главе с Офдумом, вооруженные чем попало: кинжалами, вилами, топорами и длинными кольями, выдернутыми из заборов, отправились, на всякий случай, в противоположную часть селения и оседлали дорогу, ведущую в Нюгди с южной стороны.

Стояла чуткая, тревожная тишина. Было темно, холодно. На небе пугливо мигали далекие звезды. Застыли в немом молчании, будто насторожившись, уже почти оголенные деревья. Даже собаки в селе не тявкали, словно чувствуя приближение чего-то недоброго, грозного. Широкий проход между садовыми изгородями, где пролегалa дорога, напоминал сейчас тёмный, бездонный ров. Время тянулось нестерпимо долго, руки и ноги сковал холод, землю начинало подмораживать. Но вдруг настороженный слух укрывшихся в засаде нюгдинцев уловил в чуткой тишине ночи нестройный конский топот. Люди с возрастающей тревогой и напряжением впились глазами в ночную темноту.

— Стрелять будем, как только они поравняются с нами, — шепотом передал Шоул по застывшей цепи, зажимая в здоровой руке пистолет, который отдал ему Сосун.

Спустя несколько минут за поворотом дороги показались черные двигающиеся силуэты всадников. Они ехали не спеша, храня молчание, видимо, в полной уверенности, что об их карательном, грабительском налете никто не знает в Нюгди. Едва первые ряды всадников подъехали к засаде, ночную тишину внезапно всколых-

нули дружные залпы нюгдинцев. Мгновенные вспышки огня разорвали тёмную завесу ночи, тревожным светом озарили дорогу, злые и растерянные лица бандитов, лошадиные морды. Сразу после первых же выстрелов слышались оглушительные крики, протяжные вопли непрошенных гостей, громкое ржание испуганных лошадей, стоны раненых. Потревоженные выстрелами собаки в селе подняли неистовый лай, кричали женщины, плакали дети.

Бандиты, застигнутые врасплох, побросав убитых и раненых и открыв беспорядочный огонь, поспешно отступили в панике. Но нюгдинцы продолжали оставаться на своих местах, охраняя дорогу в село. После первой схватки они приободрились и, разгоряченные боем, уже не чувствовали ни холода, ни усталости, шумно радовались, хотя у каждого на душе всё ещё было беспокойно и тревожно. Вдруг Сосуну показалось, что один из всадников, который после его выстрела упал с коня, смешно вскинув руки в стороны, был Илогу. Ему не терпелось перелезть через ограду на дорогу, поискать среди убитых ненавистного ему холуя старосты. Но, повинуясь приказу Шоула, он не тронулся с места.

Вдруг над головами сидевших в засаде с пронзительным жужжанием пронеслось несколько пуль. Стреляли с тыла. Бандиты, видно, спешившись, скрытно пробрались в сад, где у ограды нюгдинцы охраняли дорогу. Укрываясь за деревьями и кустами, они усилили стрельбу, подкрадываясь всё ближе и ближе. По сигналу Шоула нюгдинцы рассыпались цепью и открыли по ним ответный огонь.

Но вскоре всё смешалось, перепуталось. В предрасветном мраке трудно было разобраться, где свои, где чужие. В пылу схватки Сосун незаметно для себя выскокил далеко вперед и оказался окруженным пятью бандитами. Чувствуя, что ему живым не уйти, он под свист их пуль, стремительно бросился к развесистому ореховому дереву, где рядом с ним бил из земли небольшой чистый прозрачный родник, над которым клубился легкий пар, и вокруг на земле лежали припорошенные инеем желтые листья.

Сосун укрываясь за деревом и стал отстреливаться. Один из ночных пришельцев, хищно оскалив зубы, вскочив на ноги, кинулся было на Сосуна, но тут же упал,

скошенный меткой пулей молодого нюгдинца, выронив ружье из рук. Другой медленно, но упорно старался незаметно подползти к дереву. Над пожухлой травой виднелась только голова его в коричневой папахе. И Сосун, прицеливаясь, выстрелил. Голова его вздрогнула и упала на землю и больше уже не поднималась. Но трое других, яростно остреливаясь, держали Сосуна в железном кольце, как хищники, готовые в любое мгновение броситься на затравленную добычу. В короткие промежутки между выстрелами было слышно, как под ними шуршат листья, потрескивают сухие ветки. Сердце Сосуна учащенно билось в груди. Несмотря на пронизывающий предутренний холод, лицо его пылало жаром, глаза заливал горячий пот, который он то и дело, отрывая руки от винтовки, нервно и поспешно вытирал рукавом старой черкески. Бандиты уже подползли к нему, прячась за кочками и кустами, настолько близко, что юноша слышал их нетерпеливое звериное сопение. Сосун нажал на спуск, но выстрела не последовало. Вместо него он услышал сухое металлическое щелканье курка. Он поспешно открыл затвор, но не обнаружил ни в патроннике, ни в магазинной коробке патрона. Сосун судорожно пошарил рукой по карманам брюк и черкески, но и там было пусто. Он в сердцах отшвырнул в сторону винтовку и стремительно вскочил на ноги. Едва он успел выхватить кинжал из ножен, чтобы броситься на врагов, как одновременно прогремели два выстрела. Сосун выронил кинжал и, раскинув руки в стороны, с придушенным стоном упал ничком на подмерзлую землю.

Когда Сосун с трудом открыл глаза, подернутые туманом, первое, что он увидел,— это склонившуюся над ним злую, торжествующую рыжую физиономию своего заклятого врага Илогу, который держал обнаженный кинжал в руке. Его маленькие, быстрые, зеленоватые глазки смотрели на Сосуна мстительно и злорадно, а правая нога с силой давила ему на грудь. Внутри все горело, жгло, мучительно хотелось пить. Раненый сделал попытку повернуться к роднику, припасть воспаленными губами к холодной воде, но нога сильнее придавила грудь, пригвоздив Сосуна к земле.

Откуда взялся Илогу?.. Сосун думал, что в ночной стычке он убил его, избавил людей от этого негодяя,

а он, оказывается, жив, даже смерть брезгует его взять... Глаза раненого опять заволакивает непроницаемый туман, по разбитому телу разливается какая-то истома, которую он не раз испытывал, ложась отдохнуть или вздремнуть после тяжелой работы, а голова кружится, бессильно склоняется к плечу. Он чувствует, как неудержимо проваливается куда-то в черную бездну.

Вдруг что-то холодное, острое и режущее коснулось его груди. Что это?! Неужели конец? Но в то же мгновение где-то поблизости, совсем рядом, раздался оглушительный выстрел и душераздирающий крик над головой Сосуна. А потом чьи-то сильные руки подхватили и подняли его. Сквозь тяжелую дрему, которая с каждой минутой все больше и больше одолевает Сосуна, погружая в сонное оцепенение, и которую он уже не в силах стряхнуть с себя, юноша слышит тревожный голос:

— Сосун, сын мой, очнись! Это я, Рахмон... Послушай, что я тебе скажу...

Потом голос, который с ним говорил, и все звуки сразу отдалились, заглохли, потонули где-то.

На грани беспамятства перед угасающим взором юноши быстро промелькнули, словно выхваченные из мрака и освещенные вспышками молнии, самые памятные события из его короткой жизни. Вот он идет с отцом, обрядившимся гудилом, по тесным улочкам родного села и кричит простуженным осипшим голосом:

— Идет гудил по селу!..

А ребятишки, бегая за ними, радостно и возбужденно громко произносят в ответ:

— Хо! Хо!

— Да отведет бог от вас все беды и невзгоды! — продолжает Сосун.

— Хо! Хо! — приходя в неопикуемый восторг, кричит шумная детвора.

Потом Сосун увидел себя в доме Гомуила, когда он узнал, что староста оклеветал его сестру. Вот он, полный ярости и мести, заслоняя дверь спиной, с обнаженным кинжалом грозно наступает на него, говорит ему сквозь стиснутые зубы:

— Старый пес, настало время отплатить тебе за все!

Бородатое, искаженное страхом и ужасом лицо Гомуила неожиданно исчезает. Сосун стоит теперь

с Хумор возле скрытого в кустах гнезда фазана. Затем во всех подробностях быстро проплыли перед глазами картины встречи его с семьей армянина Пагоса в лесу. Потом, оттесняя и начисто вычеркивая другие картины, Сосун вдруг ясно и отчетливо представляет, как он весело шагает по улицам родного села. Он идет не один, а вместе со всеми своими односельчанами. Все они одеты в новые, яркие одежды, особенно, девушки. В своих разноцветных нарядах девушки напоминают живые букеты цветов. Впервые он видит на худых плечах мерзнувшего от холода старика Шелбета новую теплую шубу. Старик, гордый, довольный обновой, счастливо улыбается, вертя головой, как вчера ночью перед очагом в его доме. Рядом с ним выряженный в синий шелковый бешмет, какой носил богач Гомуил, идет маленький старичок Одом в окружении своих дочерей, одетых в нарядные платья. Слева и справа от аксакалов идут Шоул, Рахмон с георгиевским крестом на груди, Офдум-Четверть быка, старуха Эвшаг, лезгин Гасан со стройными, как молодые тополя, сыном и племянником. Пери шагает рядом с Эсефом, оба сияющие, бесконечно счастливые. Но Сосун, сдерживая довольную улыбку, глядя на сестру и зятя, чуть сердито косится на них: неприлично так открыто обнаруживать свою радость и ликование при людях. Откуда-то доносятся веселые звуки зурны и барабана. Что за праздник сегодня? Или кому справляют свадьбу?

Впереди всех шагает, приветливо и весело озираясь на людей, высокий, богатырского сложения незнакомый человек. Лицо у него волевое и вдохновенное, одет он в обычную горскую одежду: рыжую черкеску с металлическими газырями на груди, с широким кинжалом в простых ножнах на поясе, в волосатую коричневую папаху. Хотя он немолодой на вид, пышные длинные усы, тронуты сединой, а высокий лоб кое-где прорезан тонкими мудрыми морщинами, но поступь у него легкая и твердая. Да и вся его могучая статная фигура, словно отлитая из стали, дышит силой и отвагой, а небольшие, с прищуром глаза из-под изогнутых бровей излучают ум и доброту. Люди, идущие за ним, громкими возгласами, энергичными жестами бурно выражают ему свою любовь, а он, несколько смущенный этим, тепло и приветливо улыбается им.



Человек в рыжей черкеске, пройдя через родное село Сосуна, в сопровождении людей, направляется в сторону ровной широкой поляны, залитой яркими лучами весеннего солнца. Незнакомец останавливается посреди поля, и народ тотчас же обступает его со всех сторон. Он снимает с головы папаху, зажимает её в левой руке, а правую, энергично выбросив вперед, начинает что-то говорить народу. Солнце ярко освещает его непокрытую голову с огромным лбом, устремленную вперед богатырскую фигуру. И создается такое впечатление, будто свет и тепло, разлитые вокруг, исходят сейчас именно от него. Нюгдинцы с затаенным дыханием, с горящими глазами и возбужденными, радостными лицами жадно ловят каждое его слово. Сосуну кажется, что и полевые цветы, и вольные птицы, и деревья плотной зеленой стеной, окружившие поляну, замерли в торжественном и почтительном молчании, внемля голосу этого человека.

Сосун слушает его и поражается: он говорит о том, что давно думал и хотел сказать он сам, Сосун, но не мог выразить словами. Он, этот человек, словно заглянул ему в душу, разгадал его затаенные думы и мысли. Не только он, кажется, каждый из его односельчан и лезгин Гасан чувствуют, испытывают то же самое, что и он, Сосун. И ему, кажется, что где-то видел он этого человека или слышал о нем. Но когда, где, он уже не помнит.

Вдруг до него доносится чей-то радостно-возбужденный голос: «Ленин! Да здравствует Ленин!..»

Губы Сосуна расплываются в широкой счастливой улыбке. Ведь это же Ленин!.. Таким именно он и представлял его себе. Как же он сразу не узнал его? Ему немного обидно, неловко и даже стыдно за это. Губы юноши с любовью и восторгом шепчут дорогое имя...

Рахмон с отцовской нежностью и болью смотрит на закрытые веки Сосуна, на его посиневшее лицо, на плотно сжатый, с застывшей улыбкой рот, откуда алой тоненькой струйкой течет кровь, красными каплями падая на землю. И Рахмону чудится, что Сосун улыбается ему, слушая, о чем он рассказывает. Разве не радостно Сосуну услышать о том, что сельчане наголову разгромили бандитов — друзей ненавистного ему и всем им

Гомуила, что он, Рахмон, собственноручно убил негодяя Илогу, который хотел пронзить кинжалом сердце его молодого друга, что такая же участь, такое же возмездие ждет всех, кто поднимет свою преступную руку на их свободу, попытается вновь ввергнуть их в черное рабство, помешать строить новую счастливую жизнь, которую обещал им Ленин.

— Сосун, сын мой, ты меня слышишь?! — с трудом сдерживая подступившее к горлу рыдание, прерывающимся голосом кричит Рахмон.

Но Сосун не отвечает...

**IV**



**ОЧЕРКИ**



У него нет глаз, нет кистей рук. Бывший старший сержант Гусейн Абдурахманов потерял их на войне, точнее сказать, фашисты лишили его зрения и отрезали кисти рук, мстя ему за то, что он, попав в их лапы, не склонил свою гордую голову перед ними, не изменил Родине, народу. И вот как это произошло.

...Начало августа 1941 года. Вот уже второй месяц фашистский сапог топчет нашу священную землю. Вооруженные до зубов орды бесноватого Гитлера, несмотря на героическое сопротивление советских войск и не считаясь со своими потерями, сея смерть и разрушение, остервенело рвутся в глубь нашей страны.

В эти тяжелые дни испытания для Родины комсомолец старший сержант Гусейн Абдурахманов служил командиром орудийного расчета в одной из частей, защищавших Ленинград. Немецкое верховное командование еще в начале июля громогласно объявило, что немецкие танки уже прорвались к Ленинграду и что скорое падение его предreshено. Был даже назначен гитлеровский комендант города. У Гитлера и его окружения в отношении Ленинграда был свой «особый» замысел: после захвата его они намеревались стереть с лица земли этот город русской славы, колыбель русской революции. Но пока им удалось «уничтожить» только его название, обозначив на своих военных картах его «Петербургом».

Когда началась Отечественная война, Гусейн Абдурахманов уже имел за плечами солидный боевой опыт. Он участвовал в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии, Бессарабии.

Однажды утром, когда старший сержант Гусейн Абдурахманов вместе со своим оружейным расчетом находился на боевой позиции, его неожиданно вызвали в штаб.

— Сам генерал будет с тобой говорить, — «по секрету» сообщил ему посыльный из штаба, желая этим обрадовать старшего сержанта.

Но обычно спокойный, хладнокровный Абдурахманов, спеша по вызову, начал волноваться: почему его не с того не с сего вдруг вызывает сам генерал? Не кроется ли здесь что-нибудь неприятное для него? Если говорить о его расчете, он вроде бы неплохо воюет. Правда, от осколков немецких снарядов и мин на днях погиб почти весь личный состав расчета, а сам он чудом остался живым и невредимым. На то война — ничего не попишешь. Генерал это лучше знает, чем он. Ну, если не из-за этого, то тогда зачем же?..

В голову приходили разные мысли. Но когда Абдурахманов, войдя в штаб, кроме самого генерала и нескольких командиров, увидел капитана Коновалова, которого он хорошо знал, и еще шесть бойцов, беспокойства его как не бывало. К нему сразу вернулись его обычное спокойствие и уверенность в себе. Вытянувшись в струнку и лихо приложив руку к виску, он, безбожно коверкая русские слова, но громко, по всем правилам отпортовал генералу.

Генерал Кирзимов, командир 122-ой стрелковой дивизии, плотный человек с открытым, волевым, но немного усталым лицом, внимательно и испытующе оглядывая высокую, статную в косую сажень фигуру старшего сержанта, спросил:

— Откуда родом, товарищ старший сержант?

— Из Дагестана, товарищ генерал!

Генерал прищурил глаза, и едва заметная улыбка тронула его плотно сжатые губы.

— Мы с вами, можно сказать, земляки, — произнес генерал с теплыми нотками в голосе, приветливо глядя на старшего сержанта. — Я до войны несколько лет служил в Дагестане.

Гусейн был рад и польщен тем, что командир дивизии назвал его земляком: наверное, у него осталось очень приятное впечатление от его родного края, от его земляков-горцев.

Минуту спустя генерал, уже обращаясь к группе бойцов, принялся неторопливо и четко объяснять им, с какой целью он вызвал их. Судя по тому, что говорил командир, он решил создать специальную группу разведчиков во главе с капитаном Коноваловым из наиболее сильных, смелых и опытных в военном деле бойцов.

При последних словах генерала Гусейн невольно кинул взгляд на стоящих рядом бойцов, сержантов. И на самом деле, все они были как на подбор: рослые, сильные, волевые, как говорится, молодец к молодцу. А широкую богатырскую грудь капитана Коновалова украшал орден Боевого Красного Знамени.

Разведгруппе ставилась задача — проникнуть в тыл немцев, пробыть там продолжительное время и собрать нужные данные о количестве и расположении сил противника. Собранные данные она должна была своевременно доставить в штаб партизанского отряда, действующего в тылу врага. А штаб партизанского отряда, в свою очередь, должен был эти сведения передать в штаб соединения.

Почти около месяца группа смельчаков во главе с капитаном Коноваловым действовала в тылу немцев. Скрываясь в лесах и болотах, они старались избегать открытой встречи с противником, а тем более вступать с ним в бой. Но после появления разведгруппы вылазки партизан участились, а удары по врагу стали более ощутимыми. Среди бела дня из-под носа врага один за другим бесследно исчезали его солдаты. Все это заставляло немцев догадываться о том, что в их тылу орудует какая-то невидимая и отчаянно смелая группа советских разведчиков.

Однажды ночью по глухой лесной дороге, светя фарами и подпрыгивая на ухабах, на небольшой скорости спокойно ехала немецкая легковая машина. Наши разведчики, заранее предупрежденные партизанами, скрываясь в густой высокой траве, уже давно подкарауливали ее у дороги. Как только машина поравнялась с ними, разведчики выскочили из засады и, обстреливая ее из автоматов, бросились на машину. Водитель был убит

наповал, а ехавший в ней немецкий подполковник и его адъютант взяты в плен. Разведчики постарались как можно скорее доставить эту попавшую им в сеть «ценную дичь» к партизанам, а те потом переправили ее в штаб 122-ой стрелковой дивизии.

Ночное происшествие в лесу не на шутку встревожило немцев, и они решили во что бы то ни стало выследить группу разведчиков и ликвидировать ее.

На рассвете 2 сентября 1941 года группа советских разведчиков цепочкой двигалась по лесу. Они шли в направлении к селу Пушкино на встречу с представителем штаба партизанского отряда. В лесу стоял сырой полумрак и глухая тишина, изредка нарушаемая щебетанием птиц. Они шли, ступая по густой зеленой и почти мокрой траве между стройными высокими молчаливыми соснами и лапчатыми елями, вместе с холодным воздухом, вдыхая аромат хвои и смолы, смешанный с запахом сырой земли и сочной травы. Ничто, казалось, не предвещало беды. И вдруг безмолвную тишину леса прорвали автоматные очереди. Эсэсовцы, численностью до роты, как видно, заранее устроившие засаду на их пути, начали быстро окружать горсточку наших воинов. Разведчики залегли в траву, стали отстреливаться и забрасывать подбиравшихся к ним немцев гранатами. Но немцы, все теснее сжимая кольцо вокруг наших бойцов, то и дело громко кричали, что им «капут» и чтобы они сдались. Наши разведчики сами видели безвыходность своего положения (восемь советских воинов против почти полутора гитлеровских головорезов). Но они решили драться до последней капли крови, не сдаваться врагу.

Не один гитлеровец поплатился головой в этом бою. Однако один за другим выходили из строя и наши бойцы. Сам Абдурахманов был ранен в ногу. Превозмогая боль, он продолжал, крепко стиснув автомат в руке, целиться в маячившие перед его глазами головы фашистов в стальных касках. Вдруг Абдурахманов почувствовал, как несколько немцев, незаметно подобранных к нему сзади, разом навалились на него. Выбив у него из рук автомат, они скрутили ему назад руки и быстро поволокли в сторону.

Через несколько минут в лесу, который только что гремел выстрелами, гранатными взрывами, оглашался



криками и стонами, воцарилась мертвая тишина. А час спустя после этой короткой, но жаркой схватки, Абдурахманов был доставлен в немецкий штаб.

За столом в окружении нескольких офицеров стоял генерал, худой длинный пожилой человек с редкими, гладко зачесанными волосами, белым выхоленным лицом. Как только Гусейн, с трудом волочивший раненую ногу, был введен в помещение штаба, все разом уставились на него с откровенным любопытством и скрытой угрозой во взгляде. Один только генерал хранил на лице спокойное, почти добродушное выражение. Видя, как трудно пленному стоять на ногах, он разрешил ему сесть и тут же распорядился, чтобы вызвали санитаров и сделали ему перевязку. На столе перед генералом стоял графин с водой. Гусейн только сейчас почувствовал, что у него все пересохло в горле. Облизнув языком воспаленные губы, он повернул голову, чтобы не смотреть на графин. Генерал что-то сказал одному из офицеров, невысокому полному человеку средних лет, у которого из-под новенького мундира заметно выступало круглое брюшко. Тот, видно, выполняя распоряжение генерала, налив в стакан воды, подошел к старшему сержанту и спросил его по-русски:

— Хотите воды?

Гусейн молча взял у него из рук стакан и залпом выпил его, но не утолил жажду, просить еще, однако, не стал.

После того, как ему сделали перевязку, начался допрос. Спрашивал тот же полный офицер с круглым животиком, видно, переводчик при штабе:

— Как фамилия, имя? Какое воинское звание? Из какой воинской части, дивизии? Давно в наших тылах? Кто вас послал, с каким заданием? Расскажите все, что вам известно о дислокации вашей части, соединения, о последних приказах командования, о настроении ваших красноармейцев и командиров. Как они реагируют на победоносное наступление германской армии? Отвечайте!

Абдурахманов молчал. Прошла целая минута. Пленный чувствовал на себе взгляды присутствующих сейчас в штабе немцев, полные нетерпения и угроз, но продолжал хранить молчание, словно воды в рот набрал.

— Отвечайте, иначе!..

— На ваши вопросы я отвечать не буду,— тихо, но твердо произнес пленный, отвернувшись.

Переводчик опять о чем-то поговорил с генералом, потом, обращаясь к пленному, сказал, но уже не прежним приказным тоном:

— По вашему выговору и внешности видно, что вы не русский. Скажите, кто вы?

— Я из Дагестана, аварец, но это не имеет значения. Я — советский воин! — резко ответил Абдурахманов.

Немцы, видимо, поняв, что перед ними не такой человек, которому так легко развязать язык, решили сначала действовать «по-хорошему». Они стали говорить ему, что основные силы Красной Армии уже разгромлены, половина России находится в руках немцев и что Советская власть теперь держится на волоске, дни ее сочтены. И не глупо ли с его стороны рисковать жизнью, когда немцы скоро будут на Кавказе и не как завоеватели, а как освободители. Ведь он еще молод, очень молод. Наверно, у него дома есть молодая жена, а может, любимая девушка. Неужели ему не хочется остаться в живых, вернуться на родину, к любимой?..

То, что дальше говорили ему, Гусейн не слушал. Воспоминания о доме, о близких, о девушке, которая дорога ему, как жизнь, разом нахлынули на него, разбредили душу. Как бы он дорого заплатил, чтобы опять увидеть родные горы, встретиться с родными, посмотреть в лицо любимой Ару... Но только не такой ценой, какой от него требуют они, враги его Родины, фашисты. Он знал, что, если не выполнит то, что от него требуют сейчас, они жестоко расправятся с ним. Несмотря на все их увещевания и угрозы, пленный продолжал упорно молчать.

Немцы начали нервничать. Генерал, состроив недовольную гримасу и сделав резкий жест, вышел из помещения, бросив на ходу какую-то сердитую фразу. Подчиненные, держа руки по швам и щелкая каблуками, почтительно проводили его взглядом. Едва генерал скрылся за дверью, молодой рослый офицер, державший в руке автомат, подскочил к пленному. Грубо схватив его за ворот гимнастерки, он с силой поднял его на ноги и тут же с размаху ударил прикладом в правый глаз. Пленный почувствовал острую пронзительную боль. На мгновение перед глазами блеснуло что-то яр-

кое, будто вспышка молнии, и тотчас же погасло. Из раздробленной скулы и вытекшего глаза полилась кровь, заливая лицо. Абдурахманов покачнулся и упал как подкошенный, ударившись головой о пол. Прижимая рукой глаз, он пытался приподняться, как снова услышал голос переводчика:

— Ну, теперь будешь говорить?!

Немцы обступили его со всех сторон, впившись в него злыми глазами.

— Не-ет! Не буду! Не дождетесь! Гады! Звери! — крикнул Абдурахманов, дрожа от ярости.

Гусейн, собравшись с силами, хотел вскочить с места и броситься на них, но тот же немец, который выбил ему глаз и раздробил скулу, опередив его, кованым каблуком ударил его по губам, выбив во рту два передних зуба. Голова Гусейна гулко стукнулась о пол, и он потерял сознание. После этого он уже не помнил, что происходило с ним. Только один раз, придя в сознание, Абдурахманов, будто сквозь кошмарный сон, услышал обрывки немецкой речи, но глаза его ничего не видели. Боль, нестерпимая адская боль, огнем жгла его глаза, мозг, руки, пронизывала все его тело до костей. И он тут же опять впал в беспамятство.

Окончательно старший сержант Гусейн Абдурахманов пришел в себя десять дней спустя. Лицо его было в гипсе, а руки — в повязке. Он попросил пить. Ему дали воды. Несколько минут он прислушивался к тишине, теряясь в догадках. Потом, не выдержав, с трудом говорил:

— Где я?

— У своих, дорогой, у своих, в Ленинграде, в госпитале, — услышал он чей-то ласковый женский голос.

— Почему я ничего не вижу? Почему мне завязали лицо, руки?..

Только месяц спустя открыли старшему сержанту Гусейну Абдурахманову страшную правду: фашисты выбили ему не только правый глаз, но выкололи и левый, отрубили кисти обеих рук. Но где, кем он был подобран, отправлен в госпиталь, Абдурахманов не знал об этом, да откровенно говоря, и не спрашивал. Состояние его здоровья долго еще оставалось тяжелым, тревожным. Но самоотверженная борьба русских врачей и медсестер за жизнь воина-дагестанца, молодость и от

природы богатырское здоровье Абдурахманова сделали свое дело: он наперекор всему выжил. Когда немцы усилили бомбардировку Ленинграда, его эвакуировали в город Пермь.

Долго не решался Гусейн написать письмо домой брату Гаджимураду о себе. Тот был на двадцать лет старше Гусейна. Он любил младшего брата, как своего родного сына. Гусейн понимал, как тяжело будет переживать брат его трагедию, если он узнает об этом. А писать своей любимой девушке Ару — как ни больно ему сознавать это — теперь уже незачем. Между ними, можно сказать, все кончено. Она ему не жена, даже не невеста. Они, правда, любили друг друга. Но ведь Ару любила его не такого: без глаз, без рук. Даже тогда, когда он был с глазами и руками, ее родные ни за что не хотели, чтобы Ару стала его невестой. Хотя он был с ней из одного аула, работали они в одном и том же колхозе, он — чабаном, а она — дояркой, но родные Ару не считали возможным их брак. Виною этому старый обычай, старые предрассудки. Дело в том, что предки родителей Гусейна принадлежали к низкому сословию — райятов, зависимых когда-то от феодалов крепостных крестьян, а предки родителей Ару — к более привилегированному сословию — узденов, свободных вольных горцев. К сожалению, такие пережитки еще были живучи среди некоторой части горцев. Это и послужило тогда преградой на пути к счастью молодых, из-за этого они не могли пожениться. А теперь тем более, когда родные Ару узнают о его нынешнем бедственном состоянии, вовсе и слышать не захотят об их браке. Да и сама Ару, увидев его таким, наверно, испугается, отшатнется от него, как от страшного видения, сразу забудет о том, что она когда-то любила его. Должен ли он за это винить, упрекать Ару? Конечно, нет. Зачем она должна погубить из-за него, по сути чужого ей человека, свою молодость, свое счастье. Фашистские палачи, лишив его зрения и рук, тем самым лишили его в двадцать три года права на любовь, на счастье, на простые человеческие радости, превратив для него светлый мир в темную могилу...

Но как ни старался Гусейн не думать об Ару, она не выходила у него из головы. Воспоминания об их встречах, коротких прогулках всплывали в его памяти. В та-

кие минуты он совершенно забывал, что слеп и без рук, лежит на госпитальной койке с гипсом на лице. Невольная улыбка, которую никто не видел под «белой маской», трогала его губы. Представлял ли он себе зеленый склон горы, на котором привольно раскинулся его родной аул Чиркей, цветущие сады в долине, наполненные птичьим гомоном и жужжанием медоносных пчел, быструю горную реку Сулак, протекающую у подножия аула, везде он видел, чувствовал присутствие любимой девушки, маленькой, темноглазой, с мягкой застенчивой улыбкой.

... На станцию Буйнакск Гусейна приехал встречать его брат Гаджимурад. Стоял апрель 1942 года. Гусейн чувствовал на лице ласковое прикосновение теплых солнечных лучей. После многодневной поездки в вагоне, он жадно, полной грудью вдыхал чистый воздух, насыщенный весенними запахами, прислушивался к веселому щебетанию птиц. Хотя глаза его ничего не видели, но тихая радость наполняла его душу. Он приехал с сопровождавшим его санитаром, который одновременно выполнял обязанности поводыря.

Гаджимурад не видел брата почти три с половиной года (он ушел в армию в сентябре 1938 года). Как ни изменился Гусейн за это время, Гаджимурад еще издали сразу узнал его, но был страшно потрясен, увидев его вблизи. Даже улыбка на лице брата заставила его сердце содрогнуться. И он, как ни старался сдержаться, взял себя в руки, обняв брата, заплакал, громко, навзрыд.

— Что же они, проклятые, с тобой сделали!.. — сквозь душившие его рыдания произнес он.

В тот же день Гаджимурад пошел в военкомат и потребовал, чтобы его немедленно отправили на фронт отомстить врагу за муки брата. Но его уговорили остаться дома, чтобы ухаживать за братом-инвалидом.

Прошла целая неделя, как Гусейн приехал в родной аул. За это время все жители аула, и молодые и пожилые, мужчины и женщины, приходили его проведать, выразить ему сочувствие и гордость его мужеством и негибаемым духом. Некоторые женщины, хорошо знавшие его веселым, высоким, плечистым, кареглазым юношей, сейчас, глядя на него, не могли удержать слез и посылали тысячи проклятий на голову Гитлера.

За все это время Ару ни разу не приходила к нему. В душе он очень хотел, чтобы она пришла, ждал ее. Можно же, в конце концов, прийти как человек к человеку, ведь они знали друг друга и ничего худого между ними не было?! Почему ж она не идет?!

На седьмой день Ару все-таки пришла. Как только она появилась, Гаджимурад и его жена вышли во двор, оставив их наедине.

— Здравствуй, Гусейн, это я, Ару, пришла к тебе! — еле сдерживая волнение, тихо произнесла девушка.

— Ах, это ты, Ару?! — радостно промолвил он, широко улыбаясь. Потом, словно опомнившись, тотчас же погасив на лице улыбку и низко опустив голову, угрюмо добавил: — Видишь, каким я вернулся...

Несколько минут оба молчали: «О чем теперь нам говорить!» — сокрушенно думал про себя Гусейн. Он ждал вот-вот она встанет, попрощается и уйдет. Но вдруг, о аллах, что он слышит! Не во сне ли это?!

— Гусейн, мой дорогой! Я пришла сказать тебе: я люблю тебя по-прежнему и всегда буду с тобой...

\* \*  
\*

С тех пор прошло тридцать лет. Много воды утекло за это время, многое изменилось в мире. Давно развеяны в прах и похоронены изуверские планы фашистов о ликвидации советского строя. Жизнь стерла с лица земли тех, кто когда-то совершил дикую расправу над безоружным Гусейном Абдурахмановым. Они нашли бесславную смерть от рук советских воинов.

На родине Гусейна Абдурахманова — Чиркее — строится самая мощная на Кавказе Чиркейская ГЭС. Сюда съехались юноши и девушки со всех уголков нашей необъятной Родины. Вместе с ними работает на строительстве ГЭС и сын Гусейна Абдурахманова — Абдурахман. Дочь Айзанат замужем, у нее своя семья. У Гусейна и Ару два внука. Время покрыло их головы инеем. Но они по-прежнему бодры, любят и заботятся друг о друге, живут заботами и радостями своих детей, своих земляков. Богатырскую грудь Гусейна Абдурахманова украшают орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленин-

града», «За победу над гитлеровской Германией». Любовь к Родине, верность своему долгу оказались у этого мужественного человека сильнее смерти, и он победил ее.

1972 г.

## РУССКАЯ СНОХА

Это было в один из осенних дней 1945 года. Старик Новруз сидел на камне возле своей покосившейся сакли, закутавшись в бараний тулуп. Невдалеке, в долине, с шумом неслась бурная река, за которой возвышались зубчатые лесистые горы, сплошной цепью окружившие селение Рутул. Седая голова старика склонилась на грудь, веки были опущены. Со стороны могло показаться, что Новруз сладко дремлет. Но старик не дремал. Тяжелые думы одолевали Новруза. Было у него два сына и ни одного теперь нет дома. Старший погиб на фронте, и теперь его маленький сынишка — семилетний Янон все время спрашивает:

— Дедушка, а дедушка, война, говорят, кончилась, когда же мой папка придет?

У Новруза в такую минуту становится невыносимо тяжело на душе. Хочется прижать внучонка к груди и сквозь слезы сказать: «Сынок, не терзай больше мое сердце такими вопросами, твой папа к тебе больше никогда, никогда не придет. Он погиб...» Но у мальчика нет не только отца, но и матери, поэтому дедушке не хочется говорить ему пока о гибели отца, пусть еще живет надеждой, подрастет, сам все поймет.

Чтобы успокоить мальчика, он по вечерам кладет с собой его в постель, гладит его круглую подстриженную головку и рассказывает ему о том, какой сильный и смелый его отец, что он очень любит своего Янона и дедушку тоже и что скоро придет к ним с подарками. Внук, убаюканный словами деда, со счастливой улыбкой тихо засыпал, зато растревоженный дедушка всю ночь не смыкал век, тяжело вздыхал, стонал, украдкой вытирал слезу.

Ему, Новрузу, нелегко теперь. Он стар, восьмой десяток пошел, ноги уже плохо слушаются, в глазах становится все меньше света, сакля обветшала, разве он в силах построить новую? Единственное его утешение

и поддержка—это второй, младший сын Эмир, который в армии. Он придет, женится, думал Новруз, они с женой заменят Янону отца и мать, построят новый дом, и сам он со своей старухой заживет с ними, не зная нужды и забот. Но недавно сын прислал письмо, в котором сообщал, что женился на русской девушке, и скоро с ней придет в Рутул.

Зачем ему русская жена, думал старик, когда в Рутуле свои девушки одна краше другой? Русская не знает нашего языка, обычаев. Придет, посмотрит на них, стариков, на суровые горы и непременно уедет в Россию. Хорошо, если она уедет одна, а то, чего доброго, и сына прихватит с собой. Как говорится в поговорке: «И телка ушла и веревку унесла». А если и останется, будет ли от нее толк? Жизнь в ауле это не то, что в городе. Здесь вода не под носом, надо с кувшином за плечом чуть ли не полкилометра спускаться в долину, к роднику, спозаранку встать доить корову, не бояться пачкать руки в навозе... Да и как он будет объясняться со снохой, коли он ни слова не знает по-русски, а она ни слова по-рутульски. Какое еще может быть наказание хуже этого: имея сноху и язык во рту не разговаривать с ней. Единственное слово, которое он знает по-русски,— «израстуй». Но этого совсем недостаточно, чтобы поговорить с ней по душам. А старуха и того не знает. Самое главное, как отнесется русская женщина к маленькому сироте Янону... Ах, горе ему, старому Новрузу, горе!..

Чей-то голос вывел старика из тягостных раздумий. Он точно сквозь сон услышал:

— Эй, дедушка Новруз! Твой сын приехал... с русской женой!

Все, о чем думал Новруз, разом вылетело у него из головы. Одна мысль, радостная, счастливая, захватила все его существо—сын вернулся живым. Ему стало жарко. Сбросив с плеч тулуп, он направился к площади. Новруз побежал бы, несмотря на свои годы, но горец при любых обстоятельствах должен сохранять степенность. От волнения старик забыл, что с сыном приехала жена, и только увидев ее, русоволосую, голубоглазую и смеющуюся, вспомнил. Сдерживая нестерпимое желание заключить сына в объятия, он не очень охотно протянул снохе руку, буркнув:



— Израстуй!

Но та обняла старика и поцеловала в обе щеки. Это было настолько неожиданно, что старый Новруз даже растерялся, он не привык к тому, чтобы его целовали женщины, да еще при всем народе. Даже родная жена ни разу не поцеловала его за всю жизнь. Ну, что поделаешь: у них, у русских, свои обычаи, свои нравы. Она так же сердечно обняла и поцеловала жену Новруза, старую Саят, приласкала Янона и тут же вручила ему подарки.

По дороге домой жена сына Надежда Петровна, оглядывая все вокруг, с неподдельным восхищением произнесла:

— Как у вас хорошо все, красиво, и отец такой симпатичный...

Новрузу перевели слова снохи. Он ничего не сказал, а про себя подумал: «Это ты сейчас так... а через месяц запоешь совсем другое, скажешь сыну: «Как здесь не хорошо у вас, да и старик у тебя препротивный, давай немедленно уедем отсюда...»

В тот день не было отбою от гостей. Односельчане приходили к Гусейновым поздравлять стариков с приездом сына и снохи, а женщины — они везде одинаково любопытны — поглазеть на русскую сноху.

Надежда Петровна не сторонилась людей, радушно принимала гостей, приветливо приглашала за стол, хлопотала по дому. А Новруз в это время скромно сидел в углу комнаты, подстелив под себя тяжелый тулуп, курил папиросу за папиросой и с тревогой думал: «Ай, аллах, что будет дальше...»

Когда Новруз и Саят, по обыкновению, встали рано утром, Надежда уже была на ногах.

— Доброе утро, папа! Доброе утро, мама! — обратилась она к старикам, с приветливой улыбкой на их родном языке. — Как вы себя чувствуете?

Старик удивленно посмотрел сперва на нее, потом на свою старуху, мол, что ты на это скажешь? Темное, морщинистое лицо его, обросшее белой щетиной, невольно осветилось улыбкой, и он в ответ радостно воскликнул, энергично мотнув головой:

— Здравствуй, дочка, хорошо, слава аллаху!

Надежда, захватив бадью и несмотря на все уговоры свекрови, пошла доить корову.

Еще ночью Надежда попросила мужа научить ее, как произносить по-рутульски «Доброе утро, папа! Доброе утро, мама! Как вы себя чувствуете?»

Она знала, что ее муж — единственная надежда и опора стариков, и всячески старалась, чтобы они и в ней тоже видели и чувствовали самого близкого человека. Ради этого она не только упорно трудилась, но и упорно изучала рутульский язык. Каждое слово записывала в тетрадь и заучивала.

С первых же дней Надежда поступила работать в школу учительницей. Она чувствовала себя не гостьей, а постоянной жительницей этого аула. Добросовестный труд, знание местного языка, местных обычаев ей были необходимы, чтобы завоевать расположение и сердечное уважение стариков в семье, доверие и уважение жителей, родителей учащихся. Уже на второй год молодая учительница свободно говорила по-рутульски. Новруз с удовольствием подмечал в своей невестке эти добрые качества. И однажды, чтобы сделать ей приятное, сказал:

— Мне кажется, ты ни откуда не приехала, а жила все время с нами или где-нибудь по соседству.

А старая Саят, разливая по утрам молоко всем в стаканы, каждый раз старалась побольше сливок влить в стакан невестки.

— Почему ты так делаешь, мама?! — в шутку запротестовал однажды Эмир. — Неужели тебе невестка милее, чем родной сын?

— Оба вы мне одинаково милы, сынок, — серьезно ответила Саят. — Но у Нади здесь нет, как у тебя, отца и матери, поэтому я о ней больше забочусь.

Когда у Нади родился сын, мужа дома не было. Надя решила посоветоваться со свекром, какое имя дать новорожденному.

— А какое имя больше всего тебе нравится? — спросил старик.

— Олег! — произнесла Надежда, смущаясь.

— Ну и пусть будет Олег, разве это плохое имя!

Первые годы Эмир Новрузович работал в райфинотделе. Но эта работа была ему не по душе. И об этом хорошо знала жена.

— А что тебе мешает поехать учиться в институт, приобрести специальность? — как-то спросила она его.

— Как что? — удивленно посмотрел на нее муж. — У нас двое детей, племянник, старики. На кого я их оставлю?

— О них я сама позабочусь, — ответила жена. — А ты учись, пока не поздно.

Пять лет учился Эмир в сельхозинституте, и все эти пять лет Надежда добровольно несла на своих плечах все заботы по содержанию семьи, хозяйству, воспитанию детей. В то же время за эти годы она успела заочно закончить педагогический институт.

Более восемнадцати лет работает учительницей Надежда Петровна Гусейнова в далеком высокогорном ауле Рутул. Ее здесь знают и уважают, любят, как самого родного и близкого человека, родители учащихся охотно прислушиваются к ее голосу, совету.

... Мы побывали в гостях у старика Новруза. Ему девяносто лет. В новом доме за большим столом собралась вся семья: старики Новруз и Саят, их сын Эмир, его жена Надежда Петровна, дети Олег и Лилия.

— Сколько у вас детей? — спрашиваем мы у Надежды Петровны.

— Трое, — не задумываясь, говорит она. — Двое вот они — сын и дочка, а старший сын Янон служит во флоте.

Как бы в подтверждение своих слов она принесла конверт с воинским штемпелем, вынула оттуда листок и прочла вслух: «Дорогая мама...»

1958 г.

## ЧУЖИЕ ДЕТИ

В один из ненастных холодных ноябрьских дней 1952 года пожилая женщина, одетая в старое длиннополое платье, сильно прихрамывая, несла на руках младенца, закутанного в грязное одеяльце. Личико у ребенка было посиневшее, худое. Он плакал, тихо всхлипывая. Старуха то и дело с тревогой глядела в лицо ребенку и, время от времени поднимая кверху изрезанное морщинами лицо, горестно восклицала:

— Вай аллах, какое горе ты послал на мою голову?!

Кто-то сзади окликнул старуху. Она, услышав свое

нмя, обернулась и увидела знакомую женщину лет сорока пяти с белым открытым лицом и большими черными глазами. То была Забия Магомедова.

— Тетя Талбике, чей это ребенок и куда ты несешь его в такую погоду? — спросила она и, посмотрев на ребенка, с беспокойством добавила: — Он же еле живой.

Старуха словно ждала повода, чтобы дать выход своему гневу.

— Неужто ты думаешь, что я его родила?! Подкидывай он. Какая-то кукушка, будь она проклята, бросила его в поле, за городом... Девочка она — смотрела. Сама еле двигаюсь, а вот надо нести в милицию. Боюсь, как бы бедняжка не умерла у меня на руках.

— Да, ты права, тетя Талбике, куда тебе, больной, старой женщине, таскаться с ней, — сочувственно проговорила Забия, сдерживая волнение, — дай ее мне, я сама отнесу.

Прижав ребенка к груди, Забия с бьющимся сердцем, почти бегом поспешила домой. Она сразу забыла, что собиралась идти на базар, что нужно готовить обед, пока муж придет с работы, а дети — со школы.

Дома в это время никого не было. Забия быстро нагрела воду и искупала девочку. Она была очень худая — кости да кожа, в ней, казалось, еле теплилась жизнь. С виду ей было примерно семь месяцев. От теплой воды она немного ожила, открыла глаза, но из носа у нее тоненькой струйкой потекла кровь. Однако девочка не плакала, смотрела на незнакомую тетю и слабо улыбалась. Зато Забия, глядя на нее, с трудом сдерживала себя, чтобы не разрыдаться.

Накормив ребенка молоком, Забия бережно закутала его в теплое одеяло и уложила спать. Затем она, вынув из сундука новую простыню, принялась кроить и шить для нее пеленки и распашонки.

Вернулся домой муж, плечистый, строгий на вид мужчина лет сорока семи-сорока восьми, в форме лейтенанта милиции. Из-под фуражки с красным околышком виднелись седые виски.

— Чей это ребенок? — бросил он недвусмысленный взгляд на кровать.

— Это, Ислам, дочка одной знакомой, — солгала она, скрывая лукавую улыбку. — Она пошла в магазин и просила меня посмотреть за ребенком.

Ислам переоделся, сел за стол и стал просматривать свежую газету. Жена поставила перед ним хлеб и чай.

— Ислам, не обижайся, сегодня обеда нет,— тихо произнесла она. Я всё время была занята ребенком.

На улице за окном быстро наступали сумерки. Муж, прежде чем приняться за еду, встал, включил свет. В комнате сразу стало веселее и уютнее.

— На дворе уже темнеет, а матери ребенка все еще нет,— с недоумением произнес он, принимаясь за чай.

Забия подошла близко к мужу, с улыбкой посмотрела ему в глаза.

— Как нет у него матери, а я что?! — и она показала на себя.

Муж понял всё. Суровое лицо его сразу просветлело от доброй улыбки. Он встал, сердечно обнял жену. Затем оба подошли к кровати и молча, прижавшись друг к другу, долго смотрели на ребенка. Девочка все еще спала. Пот мелкими бисеринками выступил у нее на лбу, на носу и на разругившихся щечках, а из груди слышался хрип. Отгоняя мрачные мысли, Ислам бодро взглянул на жену.

— Давай назовем ее Зухрой?

Забия согласилась.

Зухра стала в семье Забий и Ислама Магомедовых седьмым по счету приёмным ребенком.

\* \* \*

Ислам Магомедов — аварец, родом из селения Буртунай Казбековского района. У его отца было пятнадцать детей и ни клочка земли. Но, несмотря на свою крайнюю бедность, он радовался появлению каждого ребенка. Дети, их невинные забавы, в какой-то степени скрашивали серую, однообразную, полную лишений жизнь бедняка-горца, заставляли хоть на время забыть о ней, мечтать о лучшем будущем. Но постоянное недоедание, скверные условия жизни, болезни, от которых никто не лечил, делали свое коварное дело: многие братья и сестры Ислама умерли в раннем возрасте. В 1922 году умер и его отец, еще не старый человек, оставив после себя пустую саклю, кучу детей и козу, которая составляла всё их хозяйство. Ислам в то время

был подростком. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось наняться батраком к кулакам. За кусок хлеба Исламу приходилось работать до седьмого пота. Когда стало неведомо, он ушел от кулака и поступил рабочим на завод в Хасавюрте. В 1929 году Ислама Магомедова приняли на работу в милицию, в которой он уже служит свыше тридцати лет.

По долгу службы Исламу Магомедову часто приходилось выезжать в различные селения Хасавюртовского района. В том же 1929 году в начале лета молодой милиционер ехал с порученным в кумыкское селение Чанкаюрт. Стоял ясный солнечный день. Листья на деревьях и трава в степи были омыты недавно прошедшим дождем. От легкого дуновения ветерка волнами переливалась густая колосистая пшеница, томно покачивались алые маки и голубые васильки. В лесной чаще заливался соловей.

На душе у молодого человека было и весело, и немножко грустно. Ослабив поводья лошади, Ислам пустил ее шагом. Тихо запел песню. Но, увидев у дороги молодую девушку с мотыгой на плече, он сразу умолк, смутившись. Ислам, натянув поводья, хотел прищпорить коня, но раздумал. Он еще раз взглянул на девушку. Она была среднего роста, белолицая, со слегка выпуклым лбом и живыми черными глазами. В первый раз при виде девушки почувствовал он какое-то необъяснимое волнение. Ислам подъехал к ней, вежливо поздоровался, но, не найдя, что сказать, спросил по-кумыкски (он догадался, что она кумычка):

— Скажите, пожалуйста, где у вас тут сельсовет?

До села еще было далеко, виднелись только серые плоские крыши некоторых домов. Нелепость вопроса была очевидна.

Девушка неопределенно показала рукой вперед и отвернулась.

Ислам, еще больше смутившись, пожалел о своем вопросе и, досадуя на себя, с силой рванул поводья и пустил коня вскачь.

Но девушку эту Магомедов уже не мог забыть. А позже, преодолевая смущение, он ей сказал:

— Забия, я одинок, давай поженимся,— и, словно испугавшись наступившего минутного молчания, поспешно добавил: — Ты мне очень нравишься...

Забия обрадовалась и в то же время испугалась предложения молодого человека. Хотя он казался суровым на вид, но сердце подсказывало ей, что это хороший, добрый человек. Форма красиво сидела на нем, он выглядел стройным и подтянутым.

— И ты, Ислам, мне тоже нравишься,— покраснев от смущения, тихо произнесла девушка. Потом, низко опустив голову, добавила:—Но я не могу выйти за тебя.

— Почему? У тебя есть жених?

— Нет... Я вдова, у меня трое детей, хотя мне еще нет и двадцати лет. И как бы я тебя ни любила, детей своих я не оставляю.

Забия не без тревоги ждала: вот-вот Ислам, услышав это, отвернется от нее, расстроенный, разочарованный в своих чувствах, и постарается больше никогда не показываться ей на глаза. Но, вопреки ее ожиданию, он, взяв ее руку в свою, сказал с волнением в голосе:

— Пусть твои дети будут и моими, Забия. Будем вместе их растить, только согласишься выйти за меня замуж.

Первым из детей, кто назвал Ислама «папой» была годовалая кудрявая Маржан, а четырехлетний черноглазый Шитий и шестилетняя Хава помнили отца, держались несколько отчужденно. Но вскоре от их отчужденности не осталось и следа. Едва в коридоре раздавались шаги возвращающегося со службы Ислама, дети с радостным криком выбегали ему навстречу, обвивали своими ручонками его шею.

Как-то ночью, когда маленькая Маржан, положив свою пухлую ладонь на смуглую щеку отца, спала безмятежным детским сном, Забия хлопотала по дому. Покончив с домашними делами, поправив на детях одеяла, она села передохнуть. При виде спящего мужа с ребенком ей невольно вспомнилось тяжелое детство, юность. Забие отчетливо представилась небольшая глинобитная лачуга со слепыми стенами в родном селении. В ней и днем при солнечном свете было сумрачно, как в лесной чаще. Отца и матери у Забии не было. Они умерли, когда девочка была еще маленькой. После смерти родителей она жила у бабушки.

Однажды весной в дом зашел дядя — брат матери Забии, седой, угрюмый старик. До этого Забия видела его всего несколько раз. Едва поздоровавшись со стару-

хой, дядя приказал девочке последовать за ним. Забия постеснялась спросить: куда, зачем?

И вот она очутилась в доме дяди. На третий день, когда Забия беспечно бегала по двору с соседскими ребятами, к ней с сердитым видом подошла жена дяди.

— Не подобает невесте играть с детьми, тем более с мальчишками,— произнесла она, потянув ее за руку.

В тот же день девочку-подростка с побоями и угрозами отправили в другое селение, к жениху, которого она ни разу не видела в глаза. Спустя год Забия узнала, что дядя продал ее за большой калым.

Муж был в три раза старше Забии, груб с ней, открыто угрожал расправой, если она вздумает бежать от него. Да и куда ей было бежать. Бабушка вскоре умерла, а дядю она теперь ненавидела всей душой.

Через пять лет муж Забии умер, оставив на руках юной жены трех маленьких детей.

«Какое счастье, что в самое трудное время моей жизни я встретила этого доброго и сильного человека», — глядя на спящего Ислама глазами, полными любви и благодарности, подумала Забия.

... Мы сидим с супругами Магомедовыми в их скромной, чисто убранной квартире. Забия, опустив руки на колени, задумчиво смотрит в окно.

— Но были и такие, которые хотели отравить наше счастье,— с обидой в голосе вспоминает она. «Зачем замуж вышла за него, ты совсем голову потеряла, Забия, — говорили мне некоторые односельчанки.— Ведь он аварец, а ты кумычка, у тебя дети, к тому же. Ислам всё равно бросит тебя...» А ему,— Забия указывает рукой на мужа, — некоторые родственники тоже нашептывали: «Отвяжись от нее, Ислам. На что она тебе нужна. Ведь у нее трое детей. Всю жизнь будешь ищачить на чужих детей...»

Исламу, видно, не по душе то, что сейчас говорит жена.

— Не надо, зачем вспоминать об этом,— тихо, с укором говорит он ей.

— Ах, Ислам, разве я говорю об этом, чтобы, не дай аллах, упрекнуть тебя хоть сколько-нибудь,— ласково, с любовью глядя на мужа, улыбается она, а потом, снова обращаясь ко мне, добавляет: — А он, знаете, что им сказал в ответ: «Для меня, говорит, все люди одинако-



вы: будь то аварец, кумык, даргинец, русский или армянин. А то, что я буду любить и растить «чужих» детей, это для меня не позор, а честь». Слышали, как он сказал! Мой Ислам и тогда был настоящим человеком, коммунистом...

— А вы разве в партии с 1929 года? — спрашиваю у Магомедова.

— Нет, — отвечает он, — с 1940.

Но Забия очень хочется, чтобы Ислама считали коммунистом с того памятного незабываемого для нее дня, когда он стал ее мужем и усыновил ее детей.

... Шли годы. Семья Магомедовых жила скромно, но дружно. Ислам по-прежнему работал в милиции, а Забия — то в столовой официанткой, то на рынке санитаркой. Дети любили отца не меньше, чем мать, гордились им.

Когда началась война, в Хасавюртовский детский дом стало поступать много осиротевших детей. В те дни Ислам Магомедов нередко возвращался домой со службы не только усталым, но и очень расстроенным. Тревожные вести с фронта, продвижение вражеских войск в глубь страны, смерть многих друзей и знакомых, которых он провожал на войну, горе и слезы близких, потерявших сыновей, отцов и братьев — все это растревляло душу, вызывали жгучую ненависть к заклятому врагу. В такое время, когда Родина находилась в опасности, он считал своим долгом патриота, коммуниста с оружием в руках быть там, на фронте, вместе с теми, кто сражается на линии огня с фашистскими захватчиками. Но ему приказывали оставаться служить в рядах милиции, ссылаясь на то, что его служба тоже очень важна и нужна для победы, для борьбы с врагом.

— Чего, Ислам, ты такой невеселый? — как-то спросила Забия за ужином мужа.

— А отчего мне быть веселым, — с некоторым раздражением ответил обычно спокойный Ислам. — Враг уже подошел почти к Грозному, каждый день на фронте погибают тысячи людей, сиротеют дети.

Несколько минут оба молчали.

— Знаешь, Забия, — прервав тягостное молчание, тихо произнес муж, — сходи завтра в детский дом, возьми одного или двух сирот на воспитание. Как-нибудь прокормимся.

Забия ничего не сказала.

За время супружеской жизни у Ислама не было ни одного ребенка от жены. Но Ислам и Забия за последние годы взяли на воспитание троих сирот: семилетнего Бексултана, пятилетнего Сулеймана и шестилетнюю Нуржан.

На следующий день Забия, наспех поужинав и накинув на плечи теплую шаль, направилась в детдом. В его просторном помещении, действительно, находилось много детей. Некоторые из них были худые, изможденные, не по-детски грустные. Видимо, пережитое наложило тяжелый отпечаток на их неокрепшие детские души, и они еще не успели забыть своих родителей. Но было и немало таких, которые беспечно предавались играм, забавам.

Каждый ребенок по-своему прелестен. Сказать, что этот хороший, а этот плохой, этот красивый, а этот — некрасивый, может только холодный, бесчувственный человек. Поэтому Забия, очутившись среди детей, лишенных родительской ласки и любви, чувствовала себя, как человек, который пришел в поле, пестреющее различными цветами. У каждого из них свой цвет, свой аромат, и не знаешь на ком из них остановить свой выбор. Но одна из девочек особенно приглянулась Забие. Ей было года четыре.

Узнав от воспитательницы имя девочки, Забия подошла к ней поближе и произнесла ласково:

— Мадина, дочь моя, иди ко мне!

Девочка, услышав голос Забии, встрепенулась. В ее карих глазах отразились одновременно восторг, удивление и испуг. Но ребенок не сделал ни шагу вперед. Видимо, девочка, хоть и смутно, но все же помнила свою мать.

— Я же твоя мама, почему ты не идешь ко мне?! — позвала ее Забия, протянув к ней руки.

Девочка колебалась. Глаза ее смотрели жалобно. Весь ее вид будто спрашивал: верить или не верить?

— А почему тебя не было так долго, если ты моя мама?

Комок подступил к горлу Забии.

— Я же долго болела, дочь моя, поэтому не могла прийти за тобой. Теперь я поправилась и пришла, — с трудом сдерживая рыдания, произнесла Забия.

Девочка поверила. Она сорвалась с места и с криком «мамочка!» бросилась к женщине. Девочка обвила ручонками ее шею и, прижавшись к ней всем тельцем, дрожащим от внезапно охватившей ее безмерной радости, с минуту замерла, словно боясь оторваться от нее, вновь потерять свою бесконечно дорогую маму.

Вскоре сюда пришел и Ислам. Когда они собрались было уходить со своей новой приёмной дочерью, другая девочка, почти такого же возраста, как Мадина, со смуглыми круглыми щечками, черными блестящими глазами и копной черных курчавых волос подбежала к ним. Она ухватила обеими ручками за подол Забии и доверчиво прильнула щекой к ее руке и не хотела отпустить от себя эту женщину с таким открытым добрым лицом и ласковым голосом.

— Давай, жена, возьмем и ее тоже, — произнес растроганный до глубины души Магомедов.

Забия склонилась над девочкой и, целуя ее в щечки, с радостным «удивлением» воскликнула:

— Вай, как же мы с папой тебя, доченька, сразу не заметили?

Супруги Магомедовы рассказали мне обо всем этом без тени самовосхваления. Они даже не упоминали о том, как было им трудно на свои скромные заработки прокормить такую семью.

Почти все сыновья и дочери Ислама и Забии Магомедовых выросли, стали самостоятельными. Одни поженились, другие вышли замуж. У каждого из них теперь свои заботы и радости. Шитий пошел по стопам отца, служит в милиции, у него трое детей. Сулейман — рабочий совхоза, у него тоже есть дети. Имеют свои семьи дочери: Маржан, Мадина, Мака, Нуржан. Они постоянно переписываются с родителями, делятся с ними своими заботами и радостями, приезжают к ним.

— Один из моих зятей — русский, — говорит Забия.

— Не русский, а украинец, — поправляет муж.

— Не скрою, я не очень хотела выдать дочку за него замуж, — продолжает она. — Думала, увезет ее в Россию, бог знает, как она с ним будет жить. Да и обычай у нас, сами знаете, другие...

— И как он, ваш русский зять? — спрашиваю у Забии.

— Алексей? Самый хороший, заботливый,— с улыбкой говорит она.

Во время нашего разговора в коридоре хлопнула дверь. В комнату быстро вошла светловолосая девочка лет десяти. В правой руке она держала школьную сумку, набитую учебниками и тетрадками. Слегка вьющиеся волосы, лицо, одежда были мокры от дождя.

— Здравствуйте!— весело сказала девочка.

— Здравствуй, Зухра! Здравствуй, дочка,— ласково ответили ей родители.

Отец вынул из кармана два последних номера «Пионерской правды», купленные им накануне в киоске, и бережно разгладив их, с улыбкой протянул дочери...

1964 г.



**ПОКОЙНИК  
СРЕДИ ЖИВЫХ**

КОМЕДИЯ

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

~~Гадаши~~ колхозник с частнособственнической психологией,  
— 50 лет.

Сифо, его жена, — 25 лет.

~~Рашид~~ сосед Гадаша, — 42 года.

~~Аснат~~ колхозница, соседка Гадаша, — 60 лет.

~~Абрахим~~, ~~Иван~~ колхозный кузнец и плотник, — 40 лет.

Гулам рыночный спекулянт-перекупщик, — 33 года.

Азиз — 55 лет

Шемей — 35 лет

Селим — 45 лет

} Колхозники, члены звена.

Старуха.

Уборщица.

Покупатели.

Действие происходит в наше время в одном из селений Южного Дагестана.

## ПЕРВЫЙ АКТ

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Летний вечер. Обширный двор колхозника Гадаша, обнесенный аменной оградой. В глубине двора — густой, ухоженный сад. Перед домом веранда. На двух передних столбах, подпирающих крышу веранды, висят веревки чеснока, красного перца, початки кукурузы. На стене — счеты. В середине стены — дверь, ведущая во внутренние комнаты дома. На полу, на пестром ковре — накрыты скатерти, на них тарелки с закусками, бутылки с водкой, графинь с вином. Издали доносятся веселые звуки зурны и барабана, многоголосый шум, возгласы. Из комнаты на веранду послешью выходит Рахмон. Он на минуту останавливается посредине веранды, прислушивается.

Рахмон. Невесту веду! Свадьбе уже конец. Надо печь. *(Смотрит на скатерти.)* Нужно убрать все это поскорее. *(Поворачивается в сторону двери.)* Тетя Аснат! Эй, тетя Аснат! *(Короткая пауза.)* Тетя Аснат, ты меня слышишь?

Голос Аснат *(из комнаты)*. Слышу! слышу! Сейчас выхожу!

Из комнаты выходит Аснат, пожилая, кружная женщина, в цветастом фартуке с широким карманом. На голове, поверх шелкового платка, у нее чалмой закручен еще один платок. Полное лицо ее ослеплено от лета. Аснат что-то торопливо жует, вопросительно уставившись на Рахмона.

Рахмон. Слышишь, тетя Аснат, идут!  
Аснат *(продолжая усердно жевать и слегка икая)* Идут, слышу.

Рахмон (*указывает на скатерти*). Давай уберем здесь тоже. Вот-вот сейчас возвратится наш (*с иронической усмешкой*) прекрасный же-е-е-них с молодой невестой.

Аснат (*кивает головой, икая*). Давай, сынок!

Пока они убирают комнату, звуки зурны и барабана, шум, возбужденные голоса, дружное хлопанье в ладоши доносятся все сильнее. Потом на время шум, музыка умолкают.

Несколько раз Аснат второпях спотыкается и с трудом удерживается на ногах. Она на минуту исчезает в комнате, потом выходит оттуда, держа в руке чайное блюдо, наполненное медом

Рахмон (*показывая глазами на блюде*). Это зачем, тетя Аснат?

Аснат (*удивленно*). Как зачем? Да чтобы тетя Аснат была жертвой за тебя, ты, что ли, не знаешь, сынок, зачем это? По обычаю, когда невеста входит в дом жениха, ее пальчики обмакивают вот так в мед (*она запускает свои пальцы в мед*), и потом этим медом обмазывают притолоку двери; чтобы жизнь невесты в доме мужа была такой же сладкой, как этот мед. (*Она кладет в рот пальцы, с видимым удовольствием качает головой, весело смеется.*) Вот для чего это. А это... (*старуха запускает руку в карман, достает горсть пшеницы*) — пшеница. Когда жених и невеста, дай бог им долгую жизнь, будут танцевать (*она шутливо раскидывает руки в стороны, как бы собираясь танцевать*), я разбросаю зерно над их головами, чтобы у них было столько же потомства, сколько зерен в моем кулаке. (*Насмешливо.*) Понял, глупец этакий?

Рахмон смеется сперва тихо, потом громко. Аснат смотрит на него с недоумением и обидой.

Аснат. Чего ты расхохотался, как сумасшедший? Что тут смешного?

Рахмон (*с трудом подавляя смех и немного сконфуженный упреком старухи*). Тетя Аснат, ты, ради бога, не обижайся на меня. Я смеюсь вовсе не поэтому.

Аснат (*недоверчиво*). А почему же?

Рахмон. Сказать тебе правду, я смеюсь потому, что сомневаюсь, очень сомневаюсь: будет ли у молодой жены Гадаша сладкая жизнь с ним в этом доме. Вы же



знаете, какой он ужасный скряга. Я даже удивляюсь, как он решился на расходы на свою вторую свадьбу.

Аснат (*спокойно*). Ничего, может, молодая жена исправит его характер. Знаешь, сын мой, муж в руках умной и любимой жены это все равно, что воск, из которого можно вылепить, что хочешь. Да, да! (*Она слегка бьет себя по груди.*) Это я по себе знаю. То-то!

Рахмон (*с сомнением качает головой*). Гадаш такой трудный человек, что, мне кажется, кривое дерево легче выпрямить, нежели его характер.

Аснат (*недовольно*). Тебе все кажется... кажется...

Рахмон. Да, знаешь, тетя Аснат, Гадаш всем встречным и поперечным говорит, что он был вынужден разойтись со своей первой женой за то, что у него от нее не было детей. (*С усмешкой.*) Может, зерна, которые ты разбрасаешь над его головой, помогут ему на старости лет обрести потомство?

Аснат (*с укором*). Э-эх, язык у тебя злой, Рахмон, да простит тебя всевышний. Нехорошо смеяться над чужим несчастьем. При том, какой же он старый? Пятьдесят лет мужчине — разве это старость? Знаешь поговорку: если бы козел не надеялся на свой желудок, не стал бы есть желуди.

Рахмон (*серьезно*). Что ты, что ты, тетя Аснат! Упаси бог, я скорее отрежу себе язык, чем позволю себе смеяться над чужой бедой. Я это просто к слову сказал. А если хочешь знать, люди совсем другое говорят, почему Гадаш разошелся со своей старой женой.

Аснат (*недоверчиво*). А что они говорят?

Рахмон. Они говорят, что Гадаш разошелся со старой женой не потому, что у них не было детей, а из-за того, что она не слушалась его, не ездила в город на базар торговать фруктами, овощами, маслом, сыром... Вот, что.

Аснат (*с укором*). Если ты веришь тому, что другие говорят, почему же пришел помочь ему на свадьбе, а?

Рахмон. Почему пришел?

Аснат (*сердито*). Да, почему пришел?

Рахмон (*оправдываясь*). Во-первых, милая тетя Аснат, я, как и ты, — его сосед, к тому же работаем в одном звене. Он меня просил, и я не смог отказать. Во-вторых, я не знаю, так ли это на самом деле, как люди

говорят. Если бы я был уверен, что он именно из-за этого разошелся со своей старой женой, клянусь тебе, ноги моей не было бы здесь.

Вновь раздаются звуки зурны и барабана, хлопанье в ладоши, шум веселой толпы. Слышатся чьи-то шаги у калитки.

Аснат. Хвагит, жених идет!

Аснат и Рахмон устремляются вперед, но тут же останавливаются в изумлении. В калитке сначала показывается голова деревянного чучела, потом — пощелкает цыган Абросим.

Аснат (Абросиму). Это ты?

Абросим (сердито). Я, конечно, а кто же еще?

Рахмон (разочарованно, с мрачной улыбкой). Я думал жених с шафером вошел в свой двор, оказывается, это ты с чучелом, хе-хе!

Абросим (хмуро). Да, я с чучелом, как видишь.

Аснат (неприветливо глядя на цыгана). Для чего ты притащился в такое время с этим чучелом? Кому оно нужно?

Рахмон (с усмешкой). Может, он решил Гадашу виденья его свадьбы сделать достойный подарок?

Аснат (сердито косится на Абросима). Слушай, брось свои цыганские шутки! Убирайся вон со своим дурацким чучелом!

Абросим (ставит чучело на пол. Раздраженно). Ты, старая, пожалуйста, на меня не кричи. Я тебе не непрощайка какой-нибудь, а трудовой честный цыган, такой же колхозник теперь, как и вы. (Тычет пальцем в ее сторону, а затем — Рахмона.)

Рахмон (примирительно). Это мы знаем, Абросим, очень хорошо, но зачем ты это чучело притащил сюда, когда мы с минуты на минуту ждем возвращения жениха с невестой.

Абросим (показывает свободной рукой на чучело). Вы это чучело видите?

Аснат (нетерпеливым голосом). Не слепая слава бабу!

Рахмон. Видим, ну и что?

Абросим. Вот это самое чучело я изготовил по заказу Гадаша, да чтоб холера его взяла. «Сделай, говорит, Абросим, мне деревянное чучело под человека, чтоб

поставить его в моем саду». Он обещал заплатить мне за него тридцать рублей. А когда я принес готовое чучело, он стал скупиться, больше трехки не хочет давать. «Большого, говорит, оно и не стоит. Твое чучело, говорит, выглядит очень добрым, веселым, ни птица, ни мальчишки пугаться его не будут». Который раз кожу к нему с этим чучелом, христом-богом молю — все напрасно. (Гневным голосом.) Сегодня или взыщу с него мои тридцать рублей или (указует обими руками чучело) разобью это чучело о его лысую голову!

Аснат (испуганно пятится назад). Вай, ты что, с ума сошел?! Хочешь свадьбу человека превратить в его похороны?! (Торопливо кладет блюдо на пол, подходит вплотную к Абросиму и обеими руками толкает его в грудь.) Вон! Вон, отсюда со своим паршивым чучелом!

Абросим перекидывает чучело на плечо и с обиженным, недовольным видом смотрит на старуху.

Абросим. Ладно, уйду, но я ему когда-нибудь припомню это, обязательно припомню!

Абросим уходит. Свадебная процессия останавливается у калитки. Жених и невеста в сопровождении Селима, Умиды, Шемей и других гостей ступают на веранду. Гадаль, улыбаясь во весь рот, самодовольно олаживает усы, коротко остриженную бороду. Аснат проворно поднимает с пола блюдо с медом, с радостной улыбкой на лице подходит к Сибю. Свободной рукой она берет ее за руку, подводит к двери. Аснат обмакивает пальцы невесты в мед, держа ее руку в своей, дотрагивается ею к притолоке двери.

Аснат (громким, торжественным голосом). Да чтоб жизнь твоя, доченька, была такой же сладкой в этом доме, как этот мед!

Топая криком «ура!» Аснат берет опять невесту за руку, подводит ее к дверям, прижимается талочерать с ней. Гости дружно хлопают в ладоши.

Голоса гостей. Машаллах, тетя Аснат! Да чтоб горе и пламя не коснулись тебя, о тетя Аснат! Честное слово, богатырь, а не женщина! Теперь жениха в круг! Жениха в круг!

Гадаш, поправляя на себе пиджак, папаху, входит в круг. Раскидывая руки в стороны, он неуклюжей, тяжелой походкой **начинает танцевать**. **Пронзительно звучит зурна, грохочет барабан**, энергично хлопают в ладоши гости, подзадоривая танцующих. Аснат запускает руку в карман фартука, достает оттуда горсть пшеницы и энергичным жестом разбрасывает ее над головами Гадаша и Сибо. Гости один за другим суют невесте в руки деньги.

Жених и невеста выходят из круга, музыка умолкает.

Аснат (*обращаясь к гостям, громко*). Мои дорогие, мои любезные! Спасибо вам! Теперь, как говорится, «невеста пришла — свадьба кончилась». (*Лукаво улыбаясь*.) Пора всем нам расходиться по домам!

Гости шумно расходятся. Вместе с ними уходит и Рахмон. Аснат подходит к невесте, целует ее в лоб на прощание, потом с улыбкой поворачивается к Гадашу.

Аснат (*шутливо грозит ему пальцем*). Ну, Гадаш, смотри мне. (*Гадаш принужденно улыбается*.) И мне тоже пора идти. (*Тихо, склоняясь к уху Гадаша*.) А то мой старик, чего доброго, рассердится на меня, подает на развод и тоже женится на молодой. (*Оба понимающе глядят друг на друга, смеются*.) Ну я пошла, будьте счастливы.

Гадаш (*церемонно кланяясь*). Премного благодарен тебе, тетя Аснат, большое спасибо за твои труды и заботы.

Аснат уходит. Гадаш с вымученной улыбкой на лице смотрит на жену.

Гадаш. Иди, дорогая, приготовь постель, а я немного посижу тут.

Сибо уходит.

Гадаш. Валлах, я так устал, так устал, будто черти на мне горох молотили. Ах, как я устал!.. (*Надувает щеки, глубоко вздыхает, снимает с головы папаху, старательно вытирает ею лысину на голове, лицо, шею, затем опять водружает на место. Подходит к стене, тяжело опускается на пол. Недовольно, ворчливо*.) Э-эх, говорил же я матери своей невесты, чтобы ей пусто было: «Не надо мне этой свадьбы!» Зачем мне во второй раз, да еще в таком почтенном возрасте на потеху людям

надо было играть вторую свадьбу. *(Подражая матери Сибо, как бы передразнивая ее.)* «Хм-м-м, не-е-т, джан Гадаш! Моя дочь первый раз замуж выходит, без свадьбы я ее из дома не выпущу, хоть она и сирота». Ду-ра! Зато в какие расходы вогнала меня вся эта кутерьма со свадьбой, в копеечку обошлась. *(Словно о чем-то вспоминающая, притрагивается пальцами ко лбу.)* Ага! Да, да! Давай на самом деле подсчитаю, сколько я потратился на эту свадьбу. *(С мрачной ухмылкой на усталом лице.)* Как говорится: сначала дело, а потом — развлечение. *(Поднимается, снимает со стены счета, садится и кладет их перед собой.)* Сперва я подсчитаю, сколько денег ушло у меня на этот захриман для гостей, то есть на эту проклятую водку. *(Начинает щелкать костяшками.)* На мясо... на рис... на наряды невесте... на подарок — платок тете Аснат... на кишмиш. *(На минуту убирает руку со счетов, испуганно смотрит на них и хватается за голову.)* Вай, аман, аман! Сколько денег ушло, сколько денег! *(Вдруг приосанивается, на лице его появляется совершенно другое выражение.)* Ничего, ничего! Я ее так запрягу, так запрягу в дело, что сторицей окупятся все эти расходы. Она молодая, здоровая, раторопная, не то, что моя бывшая жена, доходяга... *(Протяжно зевает, наморщив лицо, чешет подбородок. Его начинает клонить ко сну, голова постепенно опускается на грудь; сквозь дрему медленно, растягивая слова.)* Сто-сто-сторицею оку-окупятся... Она мо-ло-о-да-а-я-я, здо-ро-ва-я-я... *(Перестает бормотать, начинает храпеть, то и дело надувая щеки и выпячивая губы.)*

Из комнаты выходит Сибо. Она медленно подходит и молча останавливается перед мужем. Лицо у нее задумчивое, печальное, брови постепенно сдвигаются на переносице, глядя на громко храпящего Гадаша.

В калитку с деревянным чучелом на плече решительным шагом входит цыган Абросим. Сибо не видит Абросима, поскольку она стоит спиной к нему. Абросим, заметив спящего Гадаша и безмолвно стоящую перед ним невесту сразу останавливается, горестно, с презрением качает головой, язвительно улыбаясь в черную бороду.

Абросим. Хе! Тоже мне жених называется... Тьфу, да чтоб ты провалился!

З а н а в е с

## КАРТИНА ВТОРАЯ

Городской рынок. У входа на рынок висит большая вывеска: «Городской рынок. Добро пожаловать!» За стойкой под навесом стоят рядом Сибб и Гулам. Перед Гуламом на стойке лежат горки мандарин, пучок зелени, а перед Сиббом — пучок зелени и пучок петрушки. По тому, как Гулам и Сибб непринужденно держатся за стойкой и время от времени притворливо и понимающе улыбаются друг другу, чувствуется, что они здесь не новички и близкие знакомые. По базару мимо стойки проходят покупатели.

Гулам (*наставительно*). Сибб-ханум, смотри, один пучок зелени — тридцать копеек! И ни копейки меньше! Мы еще с утра, как собрались на рынок, так условились со всей нашей базарной братией. Как бы покупатель ни нажимал на тебя, ни возмущался, ни стыдил, ты не уступай. (*Щипливо*.) Держись твердо, как скала. Ты слышала, а?

Сибб (*с улыбкой кивает головой*). Хорошо, Гулам, тридцать копеек и ни копейки меньше.

Гулам (*дружески подмигивает Сибб, с довольными нотками в голосе*). Машаллах, Сибб-ханум, ай машаллах! Мы теперь с полуслова стали снимать друг друга. (*И тут же начинает громко кричать на весь базар*.) Ай лу-у-уки! Что за лук! Не лук, эй, а кишмиш! Пех! Пех! Ароматная кинза, душистая мята, пушистая петрушка, сочные мандарины! Лез-зет! Идите, добивайте!

К стойке подходит старуха с кошелкой в руке. Она берет пучок петрушки и вертит в руке.

Старуха (*Гуламу*). Сколько петрушка стоит?

Гулам (*с готовностью*). Тридцать копеек, бабушка.

Старуха (*прелестно ладом ж уху*). Сколько?!

Гулам (*чуть насмешливо улыбаясь*). Тридцать копеек!

Старуха (*взвешивая, глядя на Гулама*). Тридцать?!

Гулам (*решительно*). Да, да, тридцать. А что не нравится?

Старуха (*обиженным, взволнованным голосом*). Тридцать копеек за две зелени! (*Трясет пучком петрушки перед носом Гулама*.) Совесть у тебя есть?

Гулам (*насмешливо*). Совесть?

Старуха (*все больше распаяясь*). Да, да, совесть? Есть ли она у тебя или нет, спрашиваю?

Гулам (*спокойно, с усмешкой*). При чем тут совесть, бабушка? Ее нигде не покупают и не продают. Видно, спроса на нее нет. На лук, на петрушку, на мяту (*показывает рукой на них*) покупатели есть, а на совесть нету, честное слово, нету. (*Наклоняется вперед, говорит тихо, с притворной любезностью.*) А скажи, бабуся, по секрету: где вы видели эту самую штуку — совесть? Какая она на вкус, на цвет, на вес, дорого ли стоит или дешево?

Старуха поняла, что Гулам подтрунивает над ней, швыряет петрушку ему в лицо, голова её мелко трясется от возмущения.

Старуха. Тридцать копеек на старые деньги — это три рубля, да чтобы тебя трижды гром поразил, блинжал!

Гулам (*притворяясь обиженным, оскорбленным*). Ай бабушка, ай дорогая, зачем сердчать, обзывать? Мой товар — твои деньги, хочешь бери, хочешь нет, я как-никак гражданин Советского Союза, зря оскорблять меня никому не дано права.

Старуха безнадежно машет рукой, подходят к Сибю

Старуха (*Сибю*). А у вас сколько стоит пучок петрушки?

Сибю (*нерешительно*). М-м-м, тридцать копеек!

Старуха смотрит на Сибю, молча, с осуждением, поворачивается и уходит с трясущейся головой, что-то бормоча про себя. А Гулам как ни в чем не бывало опять начинает громко и весело зазывать покупателей.

Гулам. Ай лу-у-ук! Что за лук! Не лук, а кишмиш. Пех! Пех! Ароматная кинза, душистая мята, пушистая петрушка, сочные мандарины, лез-зет! Идите добирайте.

Покупатели один за другим подходят, покупают у Гулама, у Сибю зелень, вишни, мандарины и уходят.

Мимо стоек, не глядя ни на кого, держа на плече огромный веник с длинной деревянной ручкой, проходит рыночная уборщица.

Уборщица (*громко*). Кончается базар, начинается уборка! Кончается базар, начинается уборка! (*Уходит.*)

Гулам (*с сожалением в голосе*). Ничего не поделаешь—надо собираться. (*Точно вспомнив о чем-то, поворачивается к Сибо.*) Ах да, Сибо-ханум! Видела, как старуха окрысилась на меня! У нее на лице было столько возмущения, я думал она вот-вот, как разъяренный дэв, съест меня заживо вместе с потрохами. Скажи, пожалуйста, а тебе не жалко было бедного Гулама?

Сибо (*со смущенной улыбкой*). А я за себя боялась, думала, как бы она меня саму не оскорбила, не плюнула в лицо.

Гулам (*тяжело вздыхая*). Эй, милая, сколько раз мне в глаза плевали. А один контуженный старик даже тросточкой меня по голове трахнул. (*Снимает кепку, трогает голову рукой.*) Целый месяц с шишкой на голове ходил. Да, что и говорить, народ не любит нас — спекулянтов. Ты думаешь, здесь на вашем рынке все честные люди торгуют? Клянусь бородой своего деда, добрая половина из них все такие, как я, спекулянты-перекупщики. А настоящие, честные колхозники, скажу я тебе, работают у себя в колхозе. Они сюда мало показываются. (*Шутливо.*) Хм, как ты думаешь, Сибо-ханум, коль я занимаюсь самокритикой, то, видать, не такой уж я потерянный, бессовестный человек, как эта старуха думает, а?

Сибо (*обиженно*). Выходит, по-твоему, я тоже спекулянтка.

Гулам (*мягко шлепает себя по щеке, оправдывается*). Сибо-ханум, дорогая, честное слово я этого не говорил. Но другое у меня давно вертится на языке, что я хочу сказать, но не решаюсь, немножечко боюсь.

Сибо (*шутливо*). Не бойся, Гулам, скажи!

Гулам. Я хочу сказать, как-й должен быть твой муж (*стучит себя пальцем по лбу*) охмох — дурак, без души и без сердца, чтобы постоянно посылать за много километров в город на рынок такую красивую, такую молодую, такую прелестную жену целыми днями торчать за стойкой и торговать этим разным хапур-чапуром, всякой-всячиной. (*Презрительным жестом показывает на лежащий перед ней товар.*) Я бы такую жену, как ты, держал бы все время возле себя, холил бы, ле-



леял (делает умиленное лицо), говорил бы ей разные красивые слова. (Разочарованно машет рукой.) Э-эй, откуда свинье знать, что такое фиалка, а ослу, что такое шербет, хе-хе...

Сибо (притворяясь обиженной). А ты знаешь?

Гулам (серьезно, задумчиво). Я тоже не знал, дураком был, ослом был. Иначе жена не ушла бы от меня. Милая была, умная, красивая, интеллигентная, учительницей работала. Я когда ударился в спекуляцию, начал разъезжать из города в город, скитаться из одного рынка на другой, она отвергла меня, ушла, сочла все это за оскорбление.

Сибо (с откровенным любопытством). Где она теперь?

Гулам (тяжело вздыхает). Вышла за другого парня, не за такого, конечно, болвана, как я.

Голос уборщицы. Кончается базар, начинается уборка! Кончается базар, начинается уборка!

Гулам (с решительными нотками в голосе). Нет, я брошу это дело. Валлах, временами сам удивляюсь: откуда у меня влечение к этому паршивому занятию перекупщика-спекулянта. В роду у нас вроде спекулянтов не было и нету. (Мечтательно.) Эх, поеду на какую-нибудь большую стройку, буду работать в большом коллективе, учиться заочно в институте. (Оглядывается вокруг.) А это разве дело: перекупать у колхозников плоды их труда, потом стоять целыми днями здесь, видеть осуждающие взгляды покупателей и покупательниц, слышать разные оскорбления от них и, разинув рот до ушей, кричать. (Передразнивая самого себя.) «Ай лу-у-ук! Что за лук! Не лук, а кишмиш! Пех, пех! Ароматная кинза, душистая мята, пушистая петрушка, сочные мандарины, лез-зет! Идите добирайте!..» Тьфу!

Сибо звонко смеется. Появляется уборщица.

Уборщица (громко, сердито). Вам говорят: кончается базар, начинается уборка, а ты покупателей зазываешь? Мало, что ли, наторговал, бесстыжий!

Гулам. Ханум-начальник, сейчас. (Оправдываясь.) Честное слово, я, ханум-начальник, не покупателей зазывал, а репетировал, готовился к завтрашнему базару.

Уборщица (подходит вплотную к Гуламу, трясет веником перед самым его носом и одновременно сердито

косится на Сибо). Вам здесь не театр, а базар, идите репетируйте где хотите, а не здесь! Мне надо убираться! Марш отсюда!

Гулам (сделав испуганный вид и заслоняя лицо от её метлы). Слушаюсь, ханум-начальник. Только, пожалуйста, убери подальше свою метлу, а то ты её суешь мне прямо в нос, как будто это не воюющая базарная метла, а букет ароматных роз! (Вскрывает в глазах уборщицы настоящую ухаживательницу.) Уходим, уходим, уходим...

Сибо, глядя на них, продолжает громко и весело смеяться. Из репродуктора раздаются слова популярной песенки «Ты и я».

Те места, где ты прошла,  
Я глазами целовал.  
Каждый путь твой, каждый шаг  
Я цветками осыпал.  
Только ты мою любовь обходилась стороной,  
И при встрече вновь и вновь  
Ты смеялась надо мной.  
Мы ведь разные с тобой,  
Ты одна, а я другой...

### З а н а в е с

## ВТОРОЙ АКТ

Зеленая лужайка на краю поля. Посредине её стоит развесистое дерево. Под ним глиняный кувшин. Вдали виднеются колхозные бахчи. То и дело сверху раздается птичье щебетание. Сначала, неся на плече мотыгу и вытирая рукавом пот со лба, появляется Азия. Следом за ним Селим, Шемей, Аснат. Садятся. Мужчины принимаются курить. Появляется Абросим. У него в правой руке ящик с инструментами.

Абросим (приветливо). Здравствуйте, люди добрые, бог в помощь!

Голоса колхозников. Здравствуй, Абросим, здравствуй!

Азия (Абросиму). Ты это куда, Абросим, со своими инструментами?

Абросим. Да за мной в кузницу прислали человека. Граррит, здесь недалеко от вас косят сено. А в сенокосе зубы, что ли, поломались. Иду чинить.

Селим. Да, да! Это, действительно, недалеко, вон за тем перелеском.

Шемей (Абросиму). Слушай, Абросим, раз инструменты при тебе, может, заодно возьмешься чинить и зубы нашего Селима. А то он часто жалуется на них. Препадает человек.

Селим (с иронической улыбкой). Зубы мои лечить не надо. А вот ему (показывает на Шемей), этому насмешнику, кое-какие части и винтики в голове не мешало бы закрутить. (Все смеются вместе с Абросимом.)

Абросим кладет свой ящик на землю, подходит к кузшину, легко поднимает его и жадно пьет воду. Потом ставит кувшину на место, берет ящик и торопливо уходит.

Короткая пауза.

Аснат (поправляя на голове платок, с повеселевшим лицом). Когда я пошла сорняки, на одной из грядок видела дыню, которая уже начинает созревать.

Азиз. Скоро перестанем есть огурцы, будем кушать дыню. Как говорится в пословице: «Созрела дыня — делай огурцы!»

Шемей. Если хотите знать, вкуснее, ароматнее и полезнее дыни нет на свете другого плода. Она — царица всех плодов.

Селим (с лукавым любопытством). Откуда, Шемей, тебе известно, что дыня полезнее всех плодов?

Шемей. Кто много дынь ест, у того щеки розовеют, желудок отлично работает, да простит мне тетя Аснат, у человека бывает охота больше пошутить, побаловаться с женой.

Аснат (Шемейю, с лукавой усмешкой). Ты что это, Шемей, на себе, что ли, испытал?

Все смеются, смотрят на Шемейю с дружеской насмешкой. Короткая пауза.

Селим. Что то нашего зещевца Рахмона долго нет.

Азиз. Его же сегодня вызвали на заседание правления и партийного бюро колхоза. Сегодня подводятся

итоги социалистического соревнования между бригадами и звеньями за второй квартал. Передовой бригаде-победительнице будет вручено переходящее знамя правления и партийного бюро колхоза, а передовым звеньям в каждой бригаде — переходящий вымпел.

Ше м ей. Интересно бы знать, получит ли наше звено переходящий вымпел за этот квартал?

А з и з (с сомнением). Кто его знает, придет наш звеньевой — расскажет. (Услышав чьи-то шаги, сразу поворачивает голову в ту сторону, бодро восклицает.) О, вот и звеньевой сам идет, легок на помине.

Появляется Рахмон, видимо, он чем-то расстроен, недоволен.

Ра х м о н (обращаясь к колхозникам, угрюмо).  
Добрый день!

К о л х о з н и к и (выжидающе глядят на него).  
Добрый день!

Рахмон тяжело опускается.

Ра х м о н (вздыхая, Ше м е ю). Дай покурить!

Ше м ей (протягивая ему сигарету). Нам не присудили переходящий вымпел?

Ра х м о н (сердито). Ты что, смеешься?! О каком вымпеле может идти речь, если наше звено позже других в бригаде справлялось с поливом и прополкой бахчевых. И дисциплина у нас плохая. Сколько мне упреков пришлось выслушать там от правления и партийного бюро.

Короткая пауза. Колхозники молча, с виноватым видом переглядываются между собой.

Кстати, где Гадаш? Больше всего за него ругали нас, черт бы его побрал. (В сердцах давит дымящуюся сигарету в траву.)

Колхозники одни пожимают плечами, другие неловко улыбаются, молчат.

С е л и м. Утром он был с нами. Но после первого перекура куда-то исчез и после этого не появлялся. (Встает, смотрит в разные стороны, сложив ладони трубкой, кричит.) Гадаш! Эй Га-даш! Га-а-даш! Да чтоб змея

ужалила тебя! *(Разочарованно.)* Нету его, точно сквозь землю провалился.

Селим садится на место. Аснат делает вид, будто она дремлет и не слышит разговора мужчин. Но время от времени она на какой-то миг открывает то один глаз, то другой, прислушиваясь к тому, что они говорят.

Рахмон *(с обидой и возмущением в голосе)*. Ведь сейчас разгар полевых работ. И так у нас не хватает рабочих рук. Мало того, что жена Гадаша, молодая, здоровая женщина постоянно торгует в городе на рынке всякой всячиной, и сам он работает в колхозе кое-как. Часто даже на работу не выходит, личным хозяйством занят. Звание колхозника для него ширма, чтобы наживаться за счет своего личного хозяйства.

Селим. Да, так оно и есть.

Азиз. Верно говорит звеньевой. Гадаш потерял совесть.

Шемей *(оглядывая товарищей насмешливым, испытующим взглядом, запальчиво)*. Почему вы и я вместе с вами не говорим об этом ему прямо в лицо. За глаза мы все — смелые, говорим, что угодно и сколько угодно о действительных и даже мнимых недостатках товарища, а вот говорить прямо в глаза о его недостатках — духу не хватает. Привчаемся лицемерить... Почему тетя Аснат, пожилая женщина *(на миг все смотрят в сторону Аснат; она только что было открыла один глаз, чтобы посмотреть на Шемей, но, заметив на себе взгляды колхозников, сразу же закрывает глаз, притворяясь спящей)* может и должна работать в колхозе, честно выполнять свой долг, а молодая жена Гадаша торговать на базаре?

Селим *(Шемею)*. Хорошо, что ты предлагаешь делать с ним?

Шемей. Что я предлагаю? Обсудить его поведение среди товарищей, наказать. Если не исправится, то на первых порах поставить вопрос перед правлением колхоза — лишить этого новоявленного единоличника и лжеколхозника половины его приусадебного участка. А дальше видно будет.

Рахмон *(одобрительно)*. Мы так и сделаем, Шемей. Все, что ты сказал, — правильно, хорошо сказал, молодец!

Рахмон наклоняется, протягивает руку к кувшину, подносит его ко рту. Чувствуется, что в нем нет воды. Он тут же опускает кувшин на землю. Аснат сразу «просыпается».

Аснат (Рахмону). Ах, воды нету? Я сейчас, сынок, пойду к арыку принесу воды. (Встает, берет кувшин.)

Рахмон. Не надо, тетя Аснат, я пойду сам за водой.

С места быстро вскакивает Шемей и подходит к Аснат.

Шемей (Аснат). Тетя Аснат, я моложе всех тут, пойду я.

Аснат (не выпуская кувшин из рук). Нет, нет, дети мои, вы курите, я схожу, арык-то недалеко.

Аснат уходит. Шемей садится. Рахмон берет напыльник, точит штыгу и тихо напевает. Все слушают, как он поет. Но вдруг раздаётся громкий, пронзительный крик старухи Аснат.

Г о л о с А с н а т. Вай, вай! Горе мне! Вай!!!

Все сразу вскакивают с мест; с недоумением и беспокойством смотрят в ту сторону, откуда слышен крик. Появляется Аснат без кувшина. Вид у нее очень напуганный, взволнованный. Она с трудом дышит, хватая ртом воздух.

Рахмон. Тетя Аснат, успокойтесь! Что случилось?

Аснат (громко, с криком). Не спрашивай! Покойник! Покойник! Ужас! (В полном изнеможении опускается на землю. Ей дурно.)

Мужчины окружают её.

А з и з. Где покойник, что за покойник?

Рахмон. Где?

Шемей. Откуда тут взялся покойник?

Аснат правой рукой хватается за сердце, а левой показывает в ту сторону, откуда она прибежала.

Аснат (от волнения с трудом выговаривает слова). Там, там, мои родимые, у арыка, в кустах вадяется! Голый совсем. Босые ноги торчат из кустов. Быки и коровы боятся подойти к водопою. Завидев покойника, они шарахаются в сторону... Так бывает, когда в кустах

гайтся зверь или лежит мертвец. *(Плачушим голосом.)* Как-то злодеи убили, раздели, потом бросили несчастного в кусты.

Все бегут с рыку. Аснат, точно на похорожах, начинает хлопать себя по коленям, громко причитать, медленно покачиваясь в такт плачу.

Аснат, Может, там лежит бездыханное тело отважного юноши, не познавшего еще радость супружеской жизни, а любимая проглядела, проплакала светлые очи свои, ожидаячи его... кх, кх, кх... А может, там лежит краса и гордость своего рода, мудрый пахарь, добрый советчик, опора джамаата, утешитель сирот и вдов... кх, кх, кх... А может, дома его ждут малые дети, и они, как еще неоперившиеся птенчики в осиротевшем гнезде, зову-у-ут и недозо-ву-т-ся любимого отца, кормильца своего. *(Очень громко.)* Ох, горе мне, старой Аснат, вай!

В это время подталкиваемый Рахмоном и его друзьями на лужайке появляется заспанный, сконфуженный Гадаш. Он в одних трусах и майке. Под мышкой он держит смятую одежду.

Рахмон *(строго)*. Тетя Аснат не плачьте, не расстраивайтесь. Покойник, по которому вы плачете, — вот он, перед вами, полюбуйтесь на него! Это он лежал в кустах.

Аснат проворно встает, вытирает краем платка слезы и со смешанным чувством удивления и радости смотрит на Гадаша.

Аснат. Это ты был Гадаш?

Гадаш *(угодливо улыбаясь, суетливо поправляя одежду под мышкой)*. Я, я, тетушка Аснат. *(Оправдываясь.)* Ты же знаешь, я не балуюсь табачком. Курить табак — это зря жечь деньги и здоровье. Монеты на дороге не валяются, а здоровье потерять легче, чем восстановить его. И вот, когда ребята *(показывает рукой на колхозников)* вышли на перекур, я потихоньку встал, отошел в сторону и решил немного полежать в кустах, в тени, немного прохладиться. Так незаметно и уснул...

Рахмон *(сердито)*. Днем он на колхозной работе отсыпается, чтобы потом до третьих петухов копнеть в своем саду, в своем хозяйстве.

Гадаш (*вежливо, невозмутимо*). Случается и так, товарищ звеньевой, случается. Я, как честный человек, врать не стану, случается. И вот почему это случается. В колхозном хозяйстве, дай бог ему добро, семьсот трудоспособных членов? Семьсот! А в моем хозяйстве (*поднимает указательный палец кверху и корчит жалостную физиономию*) я один. Один, как перст. Ведь никто же, кроме меня, в моем хозяйстве работать не будет (*указывая пальцем на всех*): ни ты, Рахмон, ни ты, Азиз, ни ты, Селим. Так зачем же меня упрекать за это?

Селим. Правильно товарищи говорят: колхоз для тебя только ширма. Прикрываясь званием колхозника, ты раздуваешь свое личное хозяйство, все свое время отдаешь ему, и жену превратил в рыночную торговку. Не так, что ли?

В это время, неся в руке ящик с инструментами, возвращается цыган Абросим. Он с любопытством и недоумением смотрит на собравшихся, прислушиваясь к их разговору.

Шемей (*запальчиво*). Неизвестно, для чего живет на свете этот человек. Только под себя гребет, все для себя, ничего для людей. Рвач, хапуга!

Гадаш (*рассердившись*). Ну-ну, придержи язык! Не на суде я здесь. Никого я не убил, никого не грабил. Хм, подумаешь преступление — спал в кустах, напугал своим храпом телят и коров. Хе-хе-хе! Ну что из этого?!

Рахмон (*с гневными нотками в голосе*). Да ты со своей ненасытной жадностью, пожалуй, за пару черешен и человека можешь убить.

Абросим. Ей богу, может! Клянусь, может. Очень нехороший человек, знает. Он мне заказал деревянное чучело, обещал дать тридцать рублей. А теперь, когда всю работу я сделал, больше трешки не дает. Хожу к нему, господом-богом молю, прошу — и все без толку. (*С гневом на Гадаша.*) У-у-у-ух, мучитель!

Одни улыбаются, другие смеются.

Гадаш (*разгневанный словами Абросима*). Говорится же: «Пристал, как цыган на ярмарке!» (*Абросиму.*) Тебя еще тут не хватало! Не тебе, бродяге, судить обо мне: хороший я человек или плохой. Пошел к черту!

Абросим (*с обидой*). Я не бродяга! Я — честный,



трудоу цыган. *(Чуть приподнимает ящик с инструментами, с гордостью показывает глазами на него.)* Я — колхозный кузнец. А ты — шкура!

Гадаш, приняв воинственную позу, бросается с кулаками на Абросима, но колхозники бесцеремонно хватают его за руки и толкают назад.

Рахмон *(резко взмахнув рукой)*. Довольно! Хватит! На первых порах давайте, товарищи, решим так: попросим правление колхоза, чтобы оштрафовали Гадаша на пятнадцать трудодней. Если это не поможет ему исправиться, будем требовать, чтобы его лишили половины приусадебного участка.

Шемей *(с деланно трагическим видом, кивая головой и оглядывая всех)*. Если этот несчастный и после этого останется таким же Гадашем *(тычет пальцем в его сторону)*, каким мы знаем его сегодня, вчера, что тогда нам делать с ним?

Рахмон. Тогда? Будем судить его джамаатским — общественным судом и поставим вопрос об исключении его из колхоза!

Селим. Давно бы так!

Азиз. Правильно! Сорную траву с поля вон!

Абросим. Люди добрые, как мне взыскать с этого человека, будь он не ладен, свои тридцать рублей? Пусть возьмет свое чучело, а мне вернет мои деньги.

Гадаш сразу теряет свой вызывающий, нагловатый вид. Он, спортившись, пугливо и растерянно смотрит то на одного, то на другого.

Гадаш *(умоляющим, дрожащим голосом)*. Не надо, прошу вас, не надо этого делать. Пятнадцать трудодней! Шутка сказать! Где же правда?! Где справедливость?! С одной стороны, вы меня упрекаете, грозите, что я не вырабатываю минимума трудодней, а с другой — отнимаете у меня сразу пятнадцать трудодней. Ведь это деньги! *(Обращается к каждому.)* Рахмон, Азиз, Селим, Шемей, прошу вас, сжальтесь надо мной, не отнимайте у меня мои трудодни.

Рахмон *(обращаясь к колхозникам)*. Пойдемте, товарищи, приступим к работе. Хватит с ним возиться! И так сколько времени потеряли из-за него.

Каждый берет свою мотыгу, собираясь уходить. Гадаш видит, что колхозники решительно настроены против него, подходит к Аснат.

Гадаш. Тетя Аснат! Ты всегда была добра, ласкова ко мне. Скажи этим людям, пусть не отнимают у меня мои кровью и потом заработанные трудовни. Я не переживу этого. *(Видит, что Аснат молчит, хватая её за рукав.)* Умоляю тебя, тетя Аснат, заступись за меня, скажи, чтобы не отнимали у меня пятнадцать трудовней.

Аснат с отвращением выдергивает свою руку, сурово оглядывает Гадаша, стоящего перед ней в покорной, угодливой позе.

Аснат. Ты что здесь торчишь у меня на глазах! Столым пупом да еще паясничаешь, как шут?! Сначала вернись к тому месту, где храпел чуть ли не целый день, натяни на себя штаны, а потом посмотрю — захочу ли я за тебя замолвить слово перед твоими товарищами, которых ты подводил, срамил! *(Видя, что Гадаш не отходит, продолжает стоять перед ней в той же покорной, угодливой позе, она сильно возмущается. Громко.)* Ну, не испытывай мое терпенье! Уйди с моих глаз!

Гадаш, опустив голову, исподлобья, враздебно оглядывая всех, поворачивается назад и медленно уходит.

### Занавес

## ТРЕТИЙ АКТ

Декорация та же самая, что в первом акте. Летний вечер. В саду поют соловьи. Абросім без шапки и пиджака, настороженно оглядываясь по сторонам, торопливо покидает веранду. Откуда-то доносится грустная мелодия, заглушая соловьиные трели, видно, кто-то играет на гитаре. Но вскоре музыка умолкает. Тишина. На веранде появляется старуха Аснат. Она двигается очень медленно в направлении к двери, то и дело останавливаясь. Лицо у нее озабоченное, встревоженное. Остановившись у двери, она, опустив голову, долго молчит, что-то раздумывая. Наконец, подняв голову, она окликает Гадаша.

Аснат. Га-а-да-аш! *(От волнения голос у нее срывается, и она качается, поворачивается спиной к двери, и рассуждает вслух.)* Может быть, пока не надо гово-

речь ему, что его жена сбежала с зеленишником. Сегодня в селе была свадьба. Гадаш тоже был там. Не хочется расстраивать его. Ведь это какой удар, какой позор, когда жена убегает от мужа с другим. *(С сожалением.)* Э-э-эх, не зря же говорится в пословице: «Свадьба старика — веселье для молодых». *(Подходит, устало опускается на краю веранды.)* Зачем надо было ему, старому дураку, выгонять старуху и брать молодую. Да еще из-за своей ненасытной жадности заставлять ее целыми днями торчать на базаре рядом с разными там луги-пути, гуляками-пройдохами. Не муж, а лопух! *(Опустив голову, сидит с минуту молча. Потом встает, энергично качает головой.)* Нет, не скажу ему ничего сегодня. Пусть спит. Завтра скажу. *(Собирается уходить. Но сделав несколько шагов, она опять останавливается. Лицо постепенно приобретает строгое и решительное выражение.)* Нет, клянусь богом, скажу! Вот мы все время его шадили, ничего ему не говорили, а он творил, что хотел, обнаглел совсем, потерял совесть. Клянусь жизнью своих детей, я сейчас позову этого бесстыдника и скажу ему прямо в лицо: «Горе тебе, несчастный! Твоя жена-красавица сбежала от тебя с каким-то спекулянт-ом-зеленишником и покрыла твою голову позором. Это, слышишь, божья кара за то, что ты выгнал свою первую жену, старую, больную женщину, за твою ненасытную жадность!» *(Подходит ближе к двери и кричит во весь голос.)* Эй, Га-даш! Камень на твою голову! Слышишь?! Жена твоя, говорят, сбежала с каким-то зеленишником-меленишником. Эй!, *(И тут же, испугавшись собственных слов, с криком поворачивается назад, бежит.)* Ва-а-ай! Что я сказала! *(Останавливается посредине веранды, с опаской смотрит в сторону двери, прислушивается.)* Облегченьно! Наверно, он или еще не вернулся со свадьбы или нализался как следует этого захримана — водки и спит без задних ног. Пусть спит! Потом видно будет. *(Уходит.)*

В саду опять поют соловьи. Вероятно, тот же самый человек играет на таре, на этот раз танцевальную мелодию, звуки которой несколько приглушены расстоянием. На веранду выходит Гадаш, широко размахивая шагом и останавливается на краю веранды. Он с гордым видом обозревает двор, сад и с пьяной улыбкой, слегка покачиваясь, прислушивается к слованным трелям.

Гадаш (*блаженно улыбаясь.*) Ах, какая ночь, как мои соловьи поют в моем саду. (*Короткая пауза. Потом, будто вспомнив что-то, оборачивается к двери.*) Сибо! Эй Сибо! (*В сторону.*) Наверно, опять не приехала, не успела продать все, что отвезла на рынок, поэтому опять осталась ночевать у своего дальнего родственника. (*Короткая пауза.*) Ничего-ничего, пусть торгует. (*Довольно потирает руки, пьяно улыбаясь.*) Надо всегда, чтобы деньги шли к деньгам. Она, чтоб не сглазить, молодец баба. Это не то, что моя бывшая жена. Иногда легче было бы другого снарядить на Луну, чем заставить ее поехать торговать на рынок... (*С мстительной ухмылкой.*) Пусть теперь пеняет на себя, дура!

Звуки тара умолкают, лишь время от времени слышатся трели соловья. Гадаш заходит в комнату. Из-за забора показывается голова Абросима и тут же исчезает. Гадаш вскоре выходит из комнаты, осторожно, крепко прижав к груди обеими руками широкий глиняный горшок, завязанный сверху темной салфеткой. Лицо его выражает радость и напряжение. Гадаш подходит к стене, медленно опускается на пол, осторожно ставит горшок перед собой между вытянутыми ногами.

Гадаш (*слегка вздыхая*). Хоть и оштрафовали меня гяуры на пятнадцать трудодней, но зато у меня, слава богу, все в целости и сохранности: четверть гектара собственного прекрасного сада, пятнадцать овец (*наклоняется вперед, как бы желая кому-то сказать по секрету и плутовато подмигивая*) — это для сведения сельсовета, а в действительности их у меня, — благодарение богу, — двадцать пять штук. Две молочные коровы, а курей-гусей, чтоб не сглазить, не счесть, хе-хе-хе... Это все мое личное, собственное! (*С гордостью бьет себя в грудь.*) Поэтому и горшок мой туго набит... (*Быстро наклоняется, сдирает с горшка салфетку. В отверстии видны туго завязанные пачки денег. Берет их и гладит рукой.*) В жизни самое главное — деньги. За деньги можно купить все, даже такое, казалось бы, неподкупное — любовь! Да, да! Иначе разве вышла бы за меня, пожилого, некрасивого, моя Сибо, такая молодая, красивая, будь бы даже она трижды сиротой. (*Самоуверенно.*) Конечно, нет! Вот, что значат деньги. Сила! (*Короткая пауза.*) Жена моя сокрушается, что у нас нет детей. А на что они, дети. Какая от них польза родителям? Дети только и говорят: «дай, дай, дай», а слова

«на» от них не услышишь. Да и если на то пошло, сын, становясь взрослым, женится на чужой девушке и сам становится чужим для родителей, а дочь выходит замуж за чужого сына — и он становится ей ближе и дороже отца и матери. От них, от детей, кроме напрасной траты денег, потери покоя и здоровья — ни толку, ни проку родителям. *(Опять смотрит на горшок, набитый деньгами, с волнением и гордостью.)* Да, да! Самое главное в жизни — это деньги! *(Берет две пачки денег, прижимает их к щекам, к глазам, к сердцу.)* Деньги! От вас весело на душе, тепло на сердце, свет в глазах. *(Кладет обратно обе пачки, затем бережно подхватывает горшок с деньгами, крепко прижимает к груди, ласково трется щекой о его бок.)* Объятие с вами я не променяю на объятие самой красивой женщины, хе-хе-хе! *(Вдруг заметив в саду кого-то, внезапно умолкает. Он сразу опускает горшок на пол. С лихорадочной быстротой снимает с себя пиджак, прикрывает им горшок, с тревогой и злобой косится в сторону сада. С беспокойством в голосе.)* О, горе! В сад как будто пробрался вор и стоит под вишневым деревом, смотрит прямо сюда, в мою сторону. Он, конечно, да чтоб ослепнуть ему, увидел мой горшок. *(Торопливо, прерывисто дыша, подхватывает горшок, завернутый в пиджак, и поспешно уносит в комнату. Через минуту он выходит оттуда с двухствольным ружьем в руке.)* Эй, кто ты, что делаешь в чужом саду?! Отпусти ветку, говорю, и убирайся вон! Не для того я вырастил черешню, чтобы ты их лопал даром. Вишня к вишне — это целая кучка, а каждая кучка на базаре стоит рубль. *(Короткая пауза.)* Я тебе говорю или вот этому столбу? *(Стучит кулаком о подпорку веранды.)* Клянусь небесами, всажу сейчас пулю тебе в брюхо, проклятый! *(Вскидывает ружье, прицеливается.)* В последний раз спрашиваю: уберешься ты по-добру-поздорову или?..

Короткая пауза, за которой следует оглушительный выстрел. Из-за забора быстро показывается голова Абросима и тут же исчезает. Гадаш минуту стоит, как вкопанный, не шевелясь, точно еще до конца не осознал то, что он наделал.

Упал... без единого звука упал. Наверное, в самое сердце угодило. *(Словно опомнившись, он роняет ружье, прикрывает лицо руками.)* О горе! Что я натворил! Про-

валился мой дом, пропало мое добро. Что теперь делать? Может, это был какой-нибудь мальчишка-сорванец, забрался в сад полакомиться черешней, а я его убил. Убийца-ил!

За сценой слышна встревоженные голоса Аснаг, Рахмон и еще каких-то мужчин. Гадаш со страхом прислушивается к ним.

Голос Аснаг. Вай, Гадаш! Что ты наделал? Зачем ты так вступил?

Мужской голос. Может, он еще жив, давай попробуй, тетя Аснаг.

Гадаш *(бегая по веранде)*. Горе мне, пропало, пропало все. *(В великом отчаянии ударяет себя кулаком по лбу, плавающим голосом)*. Куда мне теперь провалиться, что теперь мне де-е-лать! *(Плачет, качаясь из стороны в сторону. Потом, услышав звуки приближающихся шагов, он поднимает ружье и бегом скрывается в комнате.)*

Входят взволнованные Аснаг, Рахмон, Азиз, Шамей, Салим.

Аснаг *(глядя в закрытую дверь)*. Гадаш! Ой, Гадаш!

Рахмон. Гадаш!

Аснаг. Нет, кто-то другой, видно, сообщил ему о бегстве жены с этим проклятым землепашником, чтобы кишки его высохла, поэтому он от сильного расстройства и позора покончил с собой, застрелился. *(Хватается за сердце, обращается к мужчинам.)* Я не могу. Вы — мужчины, у вас сердце покрепче. Идите, посмотрите. Может, он еще дышит!

Мужчины выносятся в комнату.

Ах, Гадаш! Вай, Гадаш! Горе твоей матери, Гадаш! *(Бьет себя руками по груди.)* Одиноким, покинутым, с горем на сердце, со свинцом в груди ушел ты из этой жизни. Ах, Гадаш, вай, Гадаш!

Мужчины, поддерживая под руки еще живого Гадаша, вытаскивают его на веранду, осторожно опускают на пол и принимаются осматривать его со всех сторон, чтобы найти рану.

Зачем ты это сделал, Гадаш-джай? (Со слезами.) Неужели тебе жить надоело? Разве можно из-за этого решиться на такое дело?

Гадаш (в полном изнеможении, плача). Я сам не знаю, тетя Аснат, как это получилось. В порыве гнева я это...

Азиз. Это все от того, что ты, да простит тебя бог, не слушался нас, наших добрых советов, жил не так, как надо.

Гадаш (умирающим голосом). Теперь поздно об этом говорить, поздно! Пропал я... м-м-м...

Аснат (сокрушенно). Ну, убежала она, твоя жена с этим торговцем зелени, ну и черт с ней. Разве можно из-за этого стреляться? Упросим твою старую жену, и она вернется к тебе. И вправду говорят: «Одежда хороша пошла, а друг — старый». Теперь покажи где твоя рана?

Гадаш закрывает глаза, совершенно обессиленный.

Рахмон (продолжая щипать тело Гадаша). Покажи, где?

Шемей (с досадой и волнением в голосе). Куда же попала пуля? Крови не видно. Это очень плохо. Кровь, наверно, вся во внутрь пошла. (Смотрит в закрытые глаза Гадаша.) Он уже теряет сознание.

Рахмон (Шемей). Сбегай за врачом! Скорее!

Гадаш (усиливая голос Рахмона, открывает глаза, сильно мотает головой и горько ревет). Не надо, Рахмон, не надо, дорогие. Я не стрелялся. Я человека убил, человека. У-у-у!

Взвизгивают, гогочат, визжат от него удивленные, пораженные.

Селим. Человека убил?

Рахмон. Человека, говоришь, убил?

Шемей. Зачем ты это сделал?

Аснат. Где этот несчастный?

Азиз. Где он?

Гадаш (словно не слыша их, хлещет себя обеими руками за голову, плачет). Что же теперь со мной будет? Провалился мой дом. Рухнул мой очаг! Никто мне этого не простит, не пощадит. Горе мне!

Рахмон (*строго*). Не морочь нам голову своими причитаниями. Об этом надо было раньше думать, прежде чем выстрелить в человека. Скажи, где лежит убитый?

Шемей (*раздраженно*). Чего молчишь, скажи скорее! Может, он еще жив и мы сможем спасти его.

Гадаш (*качает головой; тем же плачущим голосом*). Нет, нет... Уже поздно. Как я выстрелил, он сразу упал, без единого звука. Наверное, в сердце попал. Он рвал вишню с ветки.

Рахмон (*с негодованием, потрясая перед ним кулаком*). Я еще тогда говорил: из-за пары черешен ты, жадина, способен выстрелить в человека.

Все бегут в сторону сада. Гадаш сидит, низко опустив голову, разбитый, опустошенный.

Голос Рахмона за сценой: Идите кто-нибудь поскорее за врачом и милиционером.

На веранду быстро вбегает цыган Абросим.

Абросим (*кричит колхозникам*). Не надо никуда ходить. Я сейчас все объясню. (*Быстро шагает туда, куда ушли колхозники.*)

Гадаш сидит в той же позе с закрытыми глазами. В глубине сада вдруг раздаются удивленные голоса и дружный хохот. Через минуту все возвращаются на веранду. Рахмон несет на руках деревянное чучело. На нем пиджак и темный картуз Абросима. Он швыряет чучело перед Гадашем.

Рахмон (*с язвительной насмешкой*). Эй ты, живое чучело, бери своего собрата. Ты стрелял в него. (*Угрожающе.*) погоди, мы отныне будем разговаривать с тобой совсем по-другому.

Гадаш (*осторожно трогает чучело руками; с радостным удивлением*). Ха-ха! На самом деле это чучело! (*Абросиму, почти дружески.*) Это же твое чучело?!

Абросим (*недовольно*). Нет, не мое, а твое. Оно мне не нужно. Отдаю его тебе даром. Только верни мне мой картуз и пиджак.

Шемей. Хорошо, что это оказалось чучело. А если бы это был человек?..



Гадаш *(словно опомнившись, обеими руками хватает чучело и прижимает крепко к груди; с безудержной радостью)*. Чучело! Чу-чело! Я спасен! Какое счастье! *(Склонив голову над чучелом, громко, противно хохочет.)*

Аснат *(презрительно, в сторону Гадаша)*. Прах на твою голову, безумный! *(С язвительной насмешкой)*. Обними, обними покрепче его, свое чучело, обними вместо жены, детей, друзей, которых у тебя нет. *(Строго, с гневными нотками в голосе)*. Не человек ты, а покойник среди живых. И смердишь, как труп. Тьфу-фу!

З а н а в е с

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие . . . . .	5
-----------------------	---

### I. Новеллы о хитроумном Шими Дербенди

Поздоровавшись с водкой, прощайся с умом	11
Частица бога . . . . .	12
Капканы . . . . .	16
Дружба наполовину с водой и наполовину с уксусом . . . . .	17
Шайтан . . . . .	18
Шими Дербенди на службе у царя . . . . .	19
Плач по ослу . . . . .	22
Заокеанский кунак Шими Дербенди . . . . .	23
Подарок жене . . . . .	26
Человек и обезьяна . . . . .	27
Скромность Шими Дербенди . . . . .	29
Ум и богатство . . . . .	30
Бог поэзии . . . . .	31
Шими Дербенди в роли ревизора . . . . .	34
Первоапрельская шутка . . . . .	35
«Тот же осел, но сбруя другая» . . . . .	37
Хитрость Шими Дербенди . . . . .	38
Как Шими стал наполовину мужчиной и на- половину женщиной . . . . .	49
Мечь . . . . .	40
Счастливый конец . . . . .	41
«Чужой покойник спящим кажется» . . . . .	42
Интересная идея . . . . .	44
Как Шими Дербенди замещал бога . . . . .	45
Предусмотрительность Шими Дербенди . . . . .	49
Средство от ожирения . . . . .	50
Новогодняя индюшка . . . . .	52
Кинжал и хлеб . . . . .	53
Капитальный ремонт . . . . .	54
Жертвенный петух . . . . .	54
Как Шими купался в борще . . . . .	56
Божьи шутки . . . . .	57
Любовь и борода . . . . .	59
На брыканье осла не обижаются . . . . .	64

## II. Рассказы

Как я воскрес . . . . .	67
Как Муза стала Марусей . . . . .	71
Сосед мой — враг мой . . . . .	75
«Жених» бабушки Фатьмы . . . . .	80
Муж двух жен . . . . .	86
Черные слезы . . . . .	91
Хабар и хинкал . . . . .	96
Телефон . . . . .	101
Козлиный смех . . . . .	106
Совбол . . . . .	110
Пишкеш . . . . .	114
Встреча у родника . . . . .	119
Жертва иносказания . . . . .	125
Любовь по объявлению . . . . .	129
Женская профессия . . . . .	135
Мастер красоты . . . . .	142
Как я писал диссертацию . . . . .	146
Старики . . . . .	152
Сказание о любви . . . . .	158

## III. Повесть

Возмездие . . . . .	175
---------------------	-----

## IV. Очерки

Сильнее смерти . . . . .	337
Русская сноха . . . . .	347
Чужие дети . . . . .	351

## V. Пьеса

Покойник среди живых. Комедия . . . . .	361
-----------------------------------------	-----

*Авшалумов Хизил.*

А 22      **Сказание о любви.** Избранные произведения. Махачкала, Дагкнигиздат, 1972.  
392 с.

С (Даг)

Редактор *Н. Шалбузова.*

Художник *Л. Брузгин.* Худож. редактор *В. Логачев.*  
Техн. редактор *А. Семендуев.* Корректор *С. Темирханова.*

Сдано в набор 5.IX-1972 г. Подписано в печать 21.XI-1972 г.  
Форм. бум. № 2 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. л. 6,125. Печ. л. 12,25. Усл.  
печ. л. 20,09. Уч.-изд. л. 19,78. С 03428. Тираж 10 000. Цена 58 коп.  
Переплет 12 коп.

Дагестанское книжное издательство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР  
Махачкала, ул. Маркова, 55. Зак. 651.

Типография им. С. М. Кирова Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров ДАССР  
Махачкала, ул. Маркова, 51.